

Б е р л о г а

Л е т о п и с ь

“БЕРЛОГА – *нем.*, медвежье логовище, под колодой, под буревалом и снегом, или в яме, пещерке.”

*Толковый Словарь
Живого Великорусского Языка
Владимира Даля*

“Берога это дом в которой живет медведь.”
Неизвестный ребенок

1979-2000

ПРИВЕТС ТВИЕ ЧУДАКУ РАСКРЫВШЕМУ ЭТУ КНИГУ

О человек, взявший в руки мою Берлогу! Знай:

- если у тебя с утра беспричинно легко на душе;
- если ты ежедневно поднимаешься по лестнице своего дома, словно шествуешь по дороге в рай;
- если жена (или муж, если ты не мужчина) и начальство души в тебе не чают, а любовницы (или, соответственно, любовники), равно как и подчиненные, обожают;
- если ты удовлетворен(а) работой, правительством, погодой, домработницей и вообще всем;
- если ты ни на минуту не сомневаешься в том, что твоя жизнь удалась;
- если ты пробуждаешься с улыбкой на устах и ложишься спать с уверенностью, что совместными усилиями людей на земле счастья во вселенной за день прибавилось –

НЕ ЧИТАЙ *БЕРЛОГУ*, ЗАКЛИНАЮ ТЕБЯ!

Поспешి положить книгу туда, где лежала!
Иди в спортзал и бассейн!
Лети в Лос Вегас и на Багамы!
Займись бизнесом и прыжками с шестом, сексом и мордобоем!
Греби!
Ходи под парусом!
Преумножай количество детей на этом свете!
Вдыхай аромат любимого табака, любимого жеребца и любимого ресторана!

Делай все, что угодно –
кроме одно:

НЕ ЧИТАЙ!

По крайней мере мою Берлогу.

Однако:

- ◆ Если в гармонии твоей бессмертной души наличествует диссонанс. Или:
- ◆ Если твоя жена (муж) не ангел, а возлюбленные не безупречны. Или:
- ◆ Если ты не в восторге от правительства, или от начальства, или от жизни, или от себя самое, или от всего этого вместе взятого. Или:
- ◆ Если твоя лестничная клетка пахнет не розами и не ландышами, а чем то более прозаическим –

ЧИТАЙ МОЮ БЕРЛОГУ, ДРУЖИЩЕ!

Прочти ее от корки до корки, а потом перечитывай: избранные места и раскрыв наугад!

Не рыскай по интернету и телевизионным каналам в поисках смысла жизни – читай!

Не уходи от себя в плавательный бассейн и баню – читай!

Не пей до самозабвения, не прыгай с одиннадцатого этажа и не занимайся сексом с

компьютерными сетями - а читай, читай и **читай!**



Считаю необходимым и своевременным сделать

**СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тому, Кто Тверд в Намерении
Перевернуть Первую Страницу Берлоги,
Чтобы Прочсть Вторую:**

Категорически противопоказано до- и во время чтения Берлоги откупоривать шампанского бутылки (как советовал Автор “Евгения Онегина ” читателю “Женитьбы Фигаро”), а также коньяк, бренди, виски и джин, равно как употреблять внутрь коктейли, аперитивы и прочие изыски. А расположись как ты, братец или сестренка, не в мягком кресле и не улегшись на кожаный диван поудобнее – упаси Бог, а на какойнибудь лавке, пне, стуле или табурете, в крайнем случае, на тахте с вытирающими из матраца пружинами, и прими ка для разогреву души отечественного напитка и никакого другого. Только, пожалуйста, не более ста грамм за один прием – ровно столько, сколько необходимо тебе, чтобы войти в Нашу Кондицию – и ни граммом больше!

А теперь самое главное, Господин Читатель:

Войдя в Наше Основное Состояние, ты должен оставаться в нем стационарно, добавляя внутрь для устойчивости оногo того же напитка – вплоть до завершения чтения. Упаси тебя Бог протрезветь до такой степени, чтобы предметы и мысли приобрели четкость. Или наоборот – опьянеть так, что слова отделятся от того, что они должны означать. Не забывай: дозированная неопределенность всего на свете является квинтэссенцией Нашего Бытия, благодаря которой Мы столь непобедимо сильны.

Федор Тыков
мая двадцать шестого года двухтысячного.
Пятница.

ЭПИЛОГ

Лишь много лет спустя, когда уже

- ни Берлоги,

- ни Квартиры, в которой находилась Берлога,

- ни Города, в историческом центре которого на третьем
этаже красовалась эта Квартира,

- ни Страны, одной из столиц которой некогда значился этот Город,

уже не было

- ни на картах мира,

- ни в телефонных справочниках,

- ни в видимой части вселенной,

а только в воображении и памяти – я понял, за что я любил эту Берлогу.

За то что

*это было единственное
место на земле, где
Никому
Никогда
Не было
До меня
Дела.*

КНИГА ЦАРСТВ

В Берлоге было шесть комнат: Тайга, Раек, Предбанник, Пещера, Музейчик и Малая Берлога. А также Корridor, корridorчик, Чистилище, Сакральная Зона (впоследствии поделенная на Сакральню и собственно Зону) и Тронный Зал, располагавшийся между ними.

Тайга Над Землей

В Тайге, которая простерлась от входной двери налево, проживал (не только на искомой жилплощади, но и самое жизнь) народный умелец Толя, с супругой. Толя был великий мастер вырезать ложки. Не выплавлять из серебра или мельхиора, не высекать из мрамора, не лепить из глины, а именно вырезать. Толя творил ложки из дерева. В его руках деревянные чурки оживали, как Буратино, родившийся из-под рук папы Карло (а не из под-руг папы Карло, как ехидно каламбурил Толя отзываясь о работе незаслуженно, по его мнению, прославленного коллеги). Ложки у Толи были произведениями искусства и по этой причине меж ними, как среди русский церковей, не было двух одинаковых. Объединяло их только то, что с их, если можно так выразиться, утилитарного конца можно было хлебать. Противоположные же утилитарному концы Толиных ложек, а именно те, которые держат в руке, напротив – были исключительно разнообразны. Взяв любую из них в руку, каждый, даже самый заgrубелый, бандюга чувствовал, что (как тогда говорили) “*Маешь вещь*”. Из под рук Толика выходили – и немедленно попадали в мою коллекцию – ложки увенчанные шутами и чертиками, лицами красоток и ликами куросов, физиями дебилов и членов политбюро, а также самых разнообразных животных, птиц и чудищ, которые по ночам глумливо подмигивали и ухмылялись – и подмигивют и ухмыляются мне со стен до сих пор.

Особое место в творчестве Толи занимали ложки увенчанные частями рук человеческих, в частности: открытыми для гадания ладонями, кулаками и дланями полусогнутыми для рукопожатия (причем настолько готовыми к нему, что порой, особенно в полнолуние, я чувствовал – и продолжаю чувствовать до сих пор - что деревянная ложка работы Толика, взятая мною, вдруг пожимает мою держащую ее руку – а это, знаете ли, пугает). Однажды Толя изваял ложку с моим скульптурным портретом - таким точным, что можно было разглядеть волосы на бороде, которые при увеличении под лупой шевелились (к моему вящему ужасу, так что после этой единственной попытки проникнуть в тайну своего *Альтер Его* с помощью линз я наслаждаюсь лицезрением этого *Альтер Я* исключительно невооруженным глазом).

Чаще же всего ложки Толика были увенчаны фигами, как русские избы – петушками. Рискну высказать мысль, что Толик был

Великим Мастером Фиг,
Гением Фиг,
Рафаелем Фиг,
Королем фиг,
Великим Магистром Фиг,
И прочая, и прочая, и прочая,

равного которому не было в видимой невооруженным глазом Вселенной. Как впрочем, не было в видимой части Вселенной и другой такой страны, которая бы с большим успехом, чем наша тогдашняя (а, впрочем, и нынешняя) показывала фиги своим гражданам.

Началом всякого творчества является самоограничение. Греки начали с фриза, бог – с создания законов природы, Толя говорил с миром на языке ложек и никакого другого языка в искусстве не признавал. Было в этом подходе нечто глубоко русское, что нельзя выразить словами. Ибо главное свойство нашей идеи (которая все еще продолжает рождаться через много лет после того, как охватила собой четверть мира, и до недавнего времени распространялась по земле со средней скоростью *княжество Монако в час*) отличающее ее от любой другой состоит в том, что, как только ее полностью или хотя бы частично удастся сформулировать, она немедленно умирает, как начавшее жить брошенное в землю зерно.

Жену Толи звали Нонной. Она была очень похожа на Одесских бандерш какими я представлял их в своем воображении. То есть на всех сразу (подобно тому как идея Платоновой кровати была похожа на все ее воплощения в настоящем прошлом и будущем ¹), только уменьшенных раза в полтора, как греческий оригинал по сравнению с его римскими копиями.

Крепкая.

Смачная.

Склонная к монументальности.

И с отличительным атрибутом.

Как для Посейдона – трезубец, а для Гермеса – крылатые сандалии (которые Бог торговли, повидимому, не снимал даже ложась спать ибо они были созданы вместе с его божественными ступнями и неотделимы от них) атрибутом Нонны была папироса, прилипшая к краю рта. Казалось, она была рождена с папиросой на нижней губе. Никто никогда не видел, чтобы Нонна зажигала спичку или меняла выкуренную папиросу на новую: папироса в ее рту всегда была зажженной и дымилась. Также никто не видел, чтобы Нонна стряхивала пепел рукой, и вообще прикасалась к папиросе чем либо кроме рта. Похоже на то, что остаться без папиросы во рту даже всего лишь на мгновение Нонна почитала за срам, подобный испытываемому по отношению к людям девственницей у которой бесстыдный ветер задрал юбку выше чем она запланировала, или по отношению к Богу праведным евреем, по той же причине оказавшемуся на мгновение без кипы. А зажечь спичку на людях для Нонны, вероятно, почиталось приблизительно таким же бесстыдством, как для героя роман-поэмы Москва-Петушки Венички Ерофеева – пукнуть.

Во время попок, которые в Берлоге происходили ежедневно и еженощно (не тут, так там: утверждать это можно было с такой же уверенностью, как и то, что в любой отдельно взятый момент времени где-нибудь в Советском Союзе идет дождь) Нонна –

¹ Интересно, что бы Платон сказал об идее более сложной, чем кровать, например, телевизора или реактивного самолета? Существовала ли идея телефонной станции до ее создания многолетними усилиями коллективов из тысяч людей, как и идея кровати? Мог бы Сократ, например, припомнить идею всех будущих компьютеров – всех, какие появятся в третьем и следующих за ним тысячелетиях? Если да, то это был бы бесценный метод создания новых технологий – сиди себе под кипарисами, кирай и вспоминай вместо того чтобы выдумывать и пробовать. Однако этот вопрос выходит за рамки не только материалистической философии, но даже идеализма, и мы отложим его рассмотрение до более подходящих времен

отдадим ей должное - всегда оставалась трезвой. И знаете почему? Потому что никогда не брала в рот ни одной капли спиртного. А не брала она в рот ни капли спиртного по какой такой причине, ну как отгадайте? Правильно – потому что один раз, как раз незадолго до моего появления в Берлоге, ее уже вылечили от алкоголизма.

Обычно Нонна стояла в красном углу деревянного королевства, неподвижная и монументальная не смотря на свой более чем средний рост, и только периодическое перемещение папиросы из одного края рта в другой – из бездны в бездну, из конца в конец, но никогда в середину зияющую (как у всякого истинно русского человека) между этими двумя безднами и ни на миллиметр от конца-края – напоминали, что она не выстрогана Толей из дерева, что она не Буратино и не Мальвина, и не одна из его ухмыляющихся с конца ложек на окружающий их мир рож, а существо рожденное жить и дышать.

Тридевятое Небо

Во второй комнате слева по Корридору (вход в которую, так же как и в комнату номер три, был устроен судьбой не из главного Корридора, простирающегося от входной двери до сортира, а из маленького корридорчика, сооруженного, очевидно, при перестройке квартиры после Великого Октября специально для входа в ванную) обитала мама Нюша с сыном Витей. В то время, когда я материализовался в Берлоге, Нюша была красивой русской бабой, о которой при одном взгляде на нее всякий русский человек скажет: ядреная! В то время ей было на взгляд лет тридцать пять. Сыну же ее Витьке было семнадцать, но в хождении в школу или иное учебное заведение он замечен не был. Был Витька плечист и белокудр, с круглым иконописным лицом не испорченным мыслями, и похож на Сергея Есенина и Илью Муромца одновременно, а также на ангелочка². Что бы он ни делал – готовил ли яишницу, возвращался ли с налета,

² Одна моя добрая (хотя и довольно желчная: то есть как знакомая она была добрая, а как женщина, откровенно говоря, порядочная сука – что, впрочем, к данному рассказу отношения не имеет ни малейшего) знакомая искусствовед, водившая экскурсии по Эрмитажу, поведала мне, как проводя группу школьников по залам французского искусства, она приблизилась к скульптуре ангелочка, и спросила школьников для того чтобы оживить общение с аудиторией: *Еак вы думаете, ребята, на кого похож этот ангел?* Вопрос был прямо скажем, не слишком замысловат – да чего еще ожидать от четвертой экскурсии за день? - и желчная эстетица ожидала (если вообще чего-то ожидала) услышать ответы типа: *“на маленького мальчика”, “ на хорошего школьника”* – что прозвучало бы, согласитесь, при всей адекватности с точки зрения педагогики, довольно дурчки... Однако ответ последовал совсем неожиданный.

Этот ангел похож на маленького Ленина – твердо сказал русоволосый мальчик в шелковом пионерском галстуке, аккуратно расчесанный от макушки на все четыре ветра. Доброжелчная искусствоведница, очумев и испугавшись одновременно (еще бы: сравнить вождя пролетариата с одним из лидеров Воинства Небесно!), поглядела на скульптуру – и обомлела: лицо ангелочка было точь в точь как у маленького Володи на каноническом семейном портрете семьи Ульяновых. После этого все ее друзья и друзья друзей неоднократно бывали в этой зале Эрмитажа с искомой фоторафией в руках – сходство было несомненно. Был ли действительно юный Ленин похож на ангела (в чем я откровенно говоря сомневаюсь, хотя вопрос о том, является ли лицо ангела смерти ангельским или наоборот – дьявольским - интересен сам по себе и представляет не только теологический интерес), или физию юного вождя пролетариата на фотографии подретушировали сталитские мастера на все руки, или же вся каноническая фотография от начала до конца была компиляцией – об этом знает только история.

Так или иначе, бандит Витя был похож на ангела – ангела Берлоги, превращенной в коммуналку из роскошной Петербургской квартиры начала века помянутым нами всеу Ильичем.

овладевал ли девицей, бил ли морду или говорил по телефону – лицо его (и тогда и впоследствии, когда он возмужал и поднялся в блатной иерархии) сохраняло детское, невинное и чуть удивленное выражение.

В то время Витек был еще просто рядовым хулиганом. Бандитом он стал позже.

У Вити, пока он был школьником, не было постоянной подруги. Поэтому (а может наоборот - потому что) девочек к нему приводили. Делал это доброе дело один и тот же человек, его старший друг, вождь и учитель Славка Башка (который был старше Витьки по возрасту и по всему остальному года на два). Приведенные девчонки как правило появлялись парами, как частица и античастица, и были как на подбор (да что я говорю – разумеется, именно на подбор) брюнетками с мощными ляжками и еще более мощными – не по летам - грудицами, в соответствии с вкусами Славки Головы – но отнюдь не Витька, представления о красоте которого, как показало время, были более каноническими. Поскольку найти отдельную комнату для любовных утех в то достопочтенное время было совершенно нереально, умная голова Славка пошел своим путем. Он просто-напросто на время менял законы природы в Райке (и только в нем) искривляя пространство, как проволоку, настолько, чтобы границы вселенной, воспринимаемой мамой Ньюшей, не выходили за пределы ее ауры. И временно увеличивал соотношение неопределенностей – все для той же мамы Ньюши, ибо это был театр одного зрителя – до тех пор, пока что либо далее метра не начинало восприниматься ею в абсолютном тумане. Голова Славка достигал этого чуда, которогe не всякому богу по плечу, простым но очень эффективным способом: приносил маме Ньюше бутылку ее любимого портвейна *три семерки*. Ньюша напивалась и отрубалась.

Когда же Витя немного подрос и получил аттестат какой-то зрелости, умный Славка Голова (который ныне ворочает банками и финансовыми пирамидами, и летает исключительно на персональных самолетах) принял новое бизнес-решение, в котором уже тогда можно было угадать будущего воротилу, слава о котором (о решении, а не о создателе банков и пирамид) быстро распространилась среди корешей. Вот оно: поскольку деньги на выпивку, которую пила мама Ньюша, пропадали впустую, а деньги нужны были позарез, дружбан Славка стал приводить в Берлогу не двух а одну девочку.

- И это все? – спросит удивленный читатель, возвращенный на махинациях Остапа Бендера и аферах с фальшивыми овизо.

- Все, – отвечу я.

- Так просто?

- Все гениальное просто,- отвечу я.

- Допустим, но где здесь бизнес решение, в котором угадывался будущий суперновый русский?

Не стану интриговать читателя по пустякам. Вместо того чтобы приводить двух девочек, одну для молодого хозяина дома, другую для себя, Голова Славка стал приводить одну девочку - для Вити, и одного дружбана - для мамы Ньюши. Причем этим дружбаном дружбана был сам дружбан, Славка Голова.

Ну как? Впечатляет?...

Комнату Вити и Ньюши в квартире называли Райком. И не зря. Если оттуда и раздавались крики, то радости, как будто кто то свыше, какой нибудь ангел хранитель

Советского Строя с зелеными крылышками и такими же зелеными погонами шарил на баяне девятую симфонию советского Бетховена – в просторечии Катюшу - под их окнами, чтобы оранжировать в соответствии с настроением оды нашей радости нашу жизнь.

Неверно будет однако думать, что мама Нюша была проституткой (занятие любовью, кстати сказать, по моим наблюдениям было и остается единственной профессией, в которой любителей уважают больше, чем профессионалов. Примечание автора, сделанное в 1977 году). Ни в малейшей степени, господа-товарищи. Она просто была очень добрая баба и очень близка к мать-земле. Она дарила добро, которым одарила ее природа, как сеятель – щедро разбрасывая его полной пригоршню и не задумываясь, кому именно и куда именно оно попадает, вот и все. И в то же время, как я с удивлением обнаружил по прошествии изрядного времени, происходило это сеяние исключительно избирательно, как если бы ее кто-то охранял и направлял свыше.

Однако нельзя сказать, что Нюша была совершенным человеком, без изъянов. Была у нашей магдалины одна маленькая слабость, на которую может быть обратил бы внимание один из тысячи обитателей рая или из миллиона – но все же она была. И вот в чем состояла. Больше всего на свете Нюша любила сидеть в квартирном сортире. Находился он в торце Корридора и был установлен старым поклонником Нюшиной красоты и доброты домовым водопроводчиком Кузей (в просторечии Домовым) в качестве подарка к празднику восьмого марта какого то доисторического, то есть до моего появления в райке, года, таким образом, чтобы унитаз возвышался над уровнем пола - как трон. Чтобы взойти на трон из Корридора, надо было подняться на три ступеньки, так что сидящий в нем возвышался над окружающими, что впрочем за плотно закрытыми дверями не привлекало внимания. Но стоило в сортир зайти Нюше, как он преображался, и из места, в котором человек мог удовлетворить свои основные потребности, как при коммунизме, превращался в тронную залу, светился и казался градом Китижем русских сказок. Но в этом свечении не было волшебства; свечение было делом человеческих рук. Дело в том, что Нюша неизменно вворачивала в галюне лампочку как минимум в двести свечей – и ни одной свечкой меньше.

Красавица Нюша шествовала в туалет царственной походкой, и поднималась к трону горделиво, с высоко поднятой головой. А если уж садилась, то не менее чем на час, и непременно оставляя дверь широко раскрытой!³ Подобно японскому самураю, сидела она на унитазе, крепко и широко раздвинув ноги, точь в точь как в фильмах Куросавы, но, в отличие от последних, время от времени попивала из горла свой коронный портвейн *Три Семерки* (которому никогда не изменяла) и горланила во всю мощь русские песни – притом заметье, без единой фальшивой ноты, с правильным чувством, ритмом и широтой. Талант ее был очевиден всем, кто ее слышал хотя бы раз. Однажды я тайно записал на магнитофон “*Что ты жадно глядишь на дорогу*” в ее исполнении, которое потрясло всех, кто его хотя бы раз слышал, много лет после того, как Нюши уже не было на свете. Только раздававшиеся в самые неподходящие моменты

³ Это свойство – держать двери постоянно открытыми – перекинулось от Нюши через океан, и если в России она уникальна в этом своем пристрастии, то в другой сверхдержаве, Америке, раскрытые двери являются стандартом, хотя по совсем иной причине: там мужчины боятся как бы их не обвинили в приставании к женщинам и всегда держат двери открытыми, хотя, конечно, не сортиров, а рабочих кабинетов.

откуда-то издали пьяные вопли, а также шум падающей в некоторых местах звукозаписи воды помешали фирме *Мелодия* сделать пластинку непосредственно с этой любительской записи. Ибо руководство Ленинградского отделения этой фирмы, выпивавшее в Берлоге не помню по какому случаю, и услышавшее Ньюшины песнопения через раскрытую дверь, пришло в неопишимый восторг. Однако пыл начальства умерился, когда я дал ему возможность не только услышать пение, но и узреть исполнительницу во время его, как в телевизоре. За сим начальство помрачнело. В молчании опрокинуло стакан внутрь. Очевидно, размышляя на тему о том, что покровительствовать народному искусству необходимо, но все же не настолько народному, а затем, порывисто налило второй, как бы вспомнив о чем-то, и с пафосом провозгласило тост за то, сколько талантов зарыто в русской нации и какое вечное светлое будущее ему по этой причине уготовано.

Нюша запросто могла бы стать Людмилой Зыкиной, если бы ее в девчачестве во-время заметили и затащили хотя бы раз в Музыкальное училище или хотя бы на конкурс Русской Песни на приз Райкома КПСС. Боже ж ты мой, какая там консерватория, какой конкурс песни в детдоме на Колыме!

Но вернемся к сортиру. Торопить Нюшу – и петь, и вообще – было совершенно бесполезно. Если кто то из гостей пытался это сделать по недоумию, Нюша – человек эстетический – не замечала его потуг до конца последнего куплета, и только тогда произносила одну и ту же фразу: “Вас кажется, ослепило, товарищ. Очко Занято”⁴.

⁴ Мне могут возразить, дескать описываемое мной – ФИ! - вульгарно и низко. Особенно, несомненно, будут возмужены дамы, притом самые эстетически ориентированные и образованные. Отнюдь нет, дамы и их господа, отнюдь нет. А вот и не низко, а вот и не низко! Чтобы низкое показалось высоким, достаточно переехать из дворца в хибару с низкими потолками. Чтобы верх стал низом достаточно изменить значение слов на противоположное (всего и делов!) или – еще проще – всего лишь поменять знак в силе общественного тяготения.

Фи фи фи! –с кажут однако же дамы, а также наиболее радикальные из их кавалеров – Это не автор, а какой то вульгарный славянофил. Почему бы ему не обратить свой взор к чистому Западу? К Публичной Библиотеке. К Европе в конце концов.

Обращу - отвечает автор. Немедленно обращу. И что же Европа? Разве описание нравов времен Людовиков, когда придворные испражнялись в Лувре прямо на пол только для того, чтобы показать слугам, спешно убравшим за господами (прошу прощения за упоминание низких предметов) кал и мочу, свое превосходство над ними – факт, приводимый всеми серьезными исследователями эпохи французского абсолютизма, эстетически выше описанного выше? Нет, вы только представьте этих элегантных мусье в килотах и мадмуазельей в кринолинах за этим занятием? Присмотр за функционированием королевского сортира был почетной должностью, и исполнял эти функции не *roture* (то есть человек из черни), а герцог! Недалеко ушла и Германия. Помню посещение замка на Рейне, в котором на высоте метров сорока до сих пор экскурсоводы показывают нависающую над пропастью часть апартаментов хозяина (искусствоведы назвали бы ее эркером) с отверстием, назначение которого представлялось мне загадочным до тех пор пока немецкая экскурсовод не объяснила что это был высочайший сортир. Пикантно, однако, что под этим сортиром, между стеной замка и пропастью, была дорожка шириной примерно в полметра, по которой вынуждены были ходить слуги. И стало быть если на голову им падало сами понимаете что – то это была судьба. Трудно представить себе более убедительный способ унижения одного человека другим – и ведь заметьте, замок этот тщательно реставрирован и эти его как бы их помягче назвать... достопримечательности с гордостью показывают экскурсантам. На месте барона замка я бы, пожалуй, запретил подданным, проходя по этой тропинке, ускорять шаг и смотреть вверх – чтобы полнее продемонстрировать свою власть над ними – и думаю не ошибусь если предположу что моя догадка верна. Так что же, эти истории возвышенной чем исполнение молодой женщиной народный песен, сидя на стульчаке в позе самоура в сортире с открытой дверью? Или наоборот: после них Берлога покажется просто будуаром королевы? Эстеты и историки однако мне могут возразить что в этом случае речь шла о давно минувших временах. Что ж согласен. Но что скажете, господа историки и эстеты, о дырке в карете

Как я узнал из бесед с Королевой Большой Берлоги, Ньюша искренне считала сортиры храмами, процесс очищения человека от экскрементов – службой, привычку жить в дерьме – религией, а себя – верховной жрицей этого культа. В ее представлении, впрочем, никогда не выраженном словами, что тоже, если задуматься, чрезвычайно по нашенски, истинно наших религий, то есть тех, которые народ не принял будучи уже половозрелым, а с которыми родился, и которые вечно борются друг с другом в Нашей душе, было две:

1. любовь к окружающему миру
и
2. стремление его не видеть.

Екатерины Великой, предназначенная для того, чтобы царица могла удовлетворять свои естественные потребности на полном скаку! - а при всех поездках императрицы, как известно из других источников – во время всех поездок просвещенной государыни за ней должны были неотступно наблюдать два арапченка?! А что скажете вы о сортире в дорогом ресторане в Атверпене, в котором перегородки находятся на уровне талии, и по одну сторону этой перегородки находится писсуар, а по другую умывальник, общий для мужчин и женщин, так что, будучи спрошенным в самый неподходящий – или наоборот подходящий в зависимости от точки зрения - для этого момент моющей руки дамой в сорока сантиметрах от моего лица, который час, я вынужден был ответить, временно оторвав руку от оригинала бесценного груза, который Маяковский в широких штанах носил дубликатом. Мне скажут: *Ну, куда загнул! Это французская культура, это пикантно, это другое.* А я отвечу: да господа, другое. Но и то что я набрался смелости описать, сиречь другое. То есть не нужник, не грязь и не хаос, а цивилизация. Но не та, которая подпадает под самое простое определение цивилизации, а именно: цивилизация это сообщество людей в котором двум людям вместе живется лучше чем порознь. В этом смысле Россия является, несомненно, культурой, но, вне всякого сомнения, не является цивилизацией. Достаточно вспомнить поэму Некрасова КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО с много раз повторяемым и заранее известным читателем ответом: НИКОМУ. Это цивилизация в смысле права наций на самоопределение, и определившая себя как ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЕРЬМА. В которой дерьмо лелеется, а не очищается, как Авгиевы конюшни Гераклом в древнем мифе, И национальное достояние предполагается не погребенным под ним, как в интерпретации этого мифа Дюренматтом, и засим смыв дерьма грозил бы не только уничтожением национальных ценностей, но и противоречил бы национальным интересам, так как оный смыв национального культурного слоя экскрементов мог бы поставить под вопрос не только существование этих ценностей в настоящем и будущем – с этим еще можно было бы какнибудь совладать - но и прошлым. А отсутствия прошлого нация, как и красивая женщина, перенести не может. Нет. господа-товарищи,: в этой ЦИВИЛИЗАЦИИ деньмо и есть национальное, более того – интернациональное - достояние. Которому поются оды и ставятся храмы. Которое является самоценным и самодостаточным. Производство и приумножение которого является самоцелью. Объем, или если хотите, уровень которого тождествен уровню жизни обреченного на счастье жить в этом дерьме населения. И которое не признает ни временных, ни государственных границ.

Да, господа-товарищи. В том российском ее воплощении, которое я набрался смелости описать, эта цивилизация Говна исчезла. Чтоб как феникс возродиться вновь во множестве осколков. Цивилизация Дерьма, канувшая в небытие, как сверхдержава и вечная, как память о ней, есть Вселенная, похожая по насыщенностью абсурдом на миры Эдрага По и Кавки, и отличающаяся от фантазмагии только тем, что я черпал инорфмацию о ее процветании и взлете не из извилин мозга, а из непосредственного восприятия, и заносил в дневник с датой. И уже одно то, что часть обитателей этой Вселенной сегодня принята в Кремле и салонах Парижа и Ниццы может служить лучшим доказательством этого.

Так что давайте не будем ханжесствовать, дамы и господа. Если надо употребить слово *экзистенция* или слово *акмеизм*, я употреблю именно их. Но говно я буду называть говном, мочу мочей, блядь блядью и хуй хуем.

“А разве (но это, подчеркивала Ньюша, мое лично мнение) чтонибудь может быть ближе к родной земле, чем то единственное, что человек естественным образом возвращает ей каждый день, хочет он того или не хочет? И разве может чтонибудь способствовать коллективному счастью в дерьме так эффективно, как хорошая выпивка?”

Между Витей и его мамой никогда не происходило ссор. Никогда! - ни после разборок с милицей, ни после перепоя, ни во время тяжелого похмелья - не видел я ни его, ни ее без беззаботной улыбки. Они жили блаженной жизнью, и что бы ни происходило в ИхКомнате- ИхКрепости, происходило к удовольствию всех, кто в ней находился, или даже всего лишь на мгновение переступал ее порог. Как я теперь только начинаю понимать, их громадная по советским меркам жилплощадь была раем, каким то заповедником счастья в стране, где никому не жить хорошо. Нашим земным Эльдорато, до которого однако, в отличие от рая на небесах, было рукой подать.

Предбанник

В третьей комнате справа (если считать от входной двери), жил между чистилищем и райком водитель троллейбуса со склонностью к натурфилософии Коля, с женой Аленушкой и дочкой без имени но уже лет шести. Коля много раз рассказывал мне что, когда у них родилась первенка, была большая пьянка, в которой пассивное участие принимала и роженица (святая кстати сказать, женщина, ибо ее терпение было бесконечно). Такая большая пьянка, что на радостях забыли записать младенце в документы имя. А когда протрезвели, надо было платить какой-то штраф за халатность и вообще было не до того, а потому так их и оставили как были. При этом рассказе лицо Коли оставалось непроницаемо хитрым, этакое русско-английское выражение физиономии, сочетавшее совершенную невозмутимость с со столь же совершенной хитрецей, так что если он и врал, то так органично, что ложь эта выглядела *Стопроцентной Колиной Правдой*. То есть Правдой в том же смысле, в каком бывали отличные друг от друга Центральная Правда, Ленинградская правда, Женская Правда и иже с ними, которые на английский язык можно было бы перевести лишь диким для европейского уха сочетанием неопределенного артикля “А” с существительным *TRUTH*. Единственное, что вызывало сомнения в “*A Truth Коли*”, было то, что знакомство с каждым новым человеком он начинал с этого рассказа о дочке без имени, неизменно завершавшегося показом ее метрик. Я не был исключением. В первое же утро нашего знакомства Коля, не смотря на мое активное сопротивление, показал метрики некоей особы, в которых в графе *Имя* стоял прочерк, как впрочем и в графе отец, хотя отчество Николаевна – имелось. Таким образом, Николаевной эта человеческое существо женского рода стала с самого рождения, однако по отчеству без имени (по образу и подобию Ярославны в Слове о полку Игореве) ее никто не звал; а, пожалуй что и жаль: в этом была бы величавость, придающая происходящему – причем не в прошедшем или очень прошедшем, а в самом что ни на есть настоящем времени, былинность. Николаевну все звали иначе, и, пожалуй, не менее значимо - Ночная Рубашка – прозвище в духе американских индейцев до вмешательства в их бытие бледнолицых. И для этого тоже были основания. Николаевна, и тогда и впоследствии, когда ей уже было лет десять-одиннадцать, в хождении в школу, равно как и в выходе за двери квартиры вообще,

замечена не была. Она была на удивление молчалива, но если раскрывала рот, то только для того, что отпустить не по годам меткое замечание или изречь пророчество, причем, в отличие от Кассандры и Пифии, делала она это буднично, что вообще говоря, свойственно именно русской культуре и русским пророкам. Вспомним хотя бы Василия Блаженного, но не таким, каким он был увековечен после смерти, а при жизни, голодным и полуголым в любое время года, бросавшего правду матку в лицо царю-батюшки у дверей будущего храма своего имени; или Чаадаева, объявленного сумасшедшим (книг которого, кстати сказать, я до сих пор не могу найти ни одном книжном магазине, хотя теперь, вроде издано все. Примечание сделано автором в 2000 году), чтобы согласиться с этим утверждением и порадоваться ему.

По коридору девочка болталась всегда – то есть в любое время дня и ночи - в одной и той же одежде, а именно в ночной сорочке, в которой, по всеобщему убеждению, родилась и с тех пор не снимала. Казалось, Ночная Рубашка даже росла вместе с этой рубашоночкой, потому что и через два года, и через четыре она ей не становилась мала. Когда наутро после переезда в Берлогу, я вышел на кухню приготовить яшницу и я вежливо поздоровался с симпатичной женщиной, которую принял за ее ту же самую маму Ночной Рубашки, которой был представлен накануне, девочка немедленно, неожиданно, и главное – совершенно беззвучно – явившись, пришла мне на помощь, чтобы внести ясность в путаницу в моей голове:

Вы наверное думаете, что это все еще мама? А это уже тетя Тоня ⁵.

Сказала – и исчезла. При дальнейшем выяснении обстоятельств оказалось, что мама и папа Ночной Рубашки среди ночи поспорили о чем-то, в результате чего под глазом у Аленушки появился синяк и она ушла спать к подруге, а подруга –также среди ночи – пришла жить к папе Коле. Подобные рокировки в семье Николая происходили уже не первый раз и из всего населения Берлоги поражали только меня, да и то только первое время.

Корридор

Посреди Берлоги проходил корридор, которому отнюдь не за то, что в нем происходили всяческие несуразницы и безобразия на манер корриды (хотя нечто подобное регулярно раздражалось), а за то, что он был главной дорогой Мира, наподобие аллеи сфинсков в Карнаке (ведущей, правда, в отличие от последней, не к Храму, а к Трону) была оказана честь на библейский манер. А именно: буква “р” в его названии была удвоена и он стал именоваться Корридором.

Тронный Зал

Корридор заканчивался (или если хотите, начинался) сортиром с унитазом на возвышении (три ступеньки вверх), называемым – и совершенно справедливо – Троном.

⁵ Помню, как меня тогда поразило, что ребенок без видимого усилия прочел мои мысли. Но поскольку это происходило более или менее регулярно, со временем я привык к Чуду и почти перестал замечать его. Напротив: вскоре я стал удивляться, когда чудо не происходило.

Чистилище

Налево от трона простирался корридорчик, в который открывались три двери из трех миров: Райка, Предбанника и в Чистилища. В углу между Райком и Предбанником лежали двухпудовые гири, которые Леха по прозвищу Геракл каждые утро и вечер выжимал до умопомрачения. В ванной же, возведенной населением Большой Берлоги в ранг Чистилища, не было особых примет, если не считать репродукции с картины Сурикова “Утро Стрелецкой Казни”, в которую были забиты крюки для повешения полотенец.

Сакральная

Кухня, с легкой руки Коли именованная Сакральной, находилась в непосредственной близости от Тронного Зала, то есть вправо (если смотреть из корридора) и далее по диагонали. Она венчалась (или, если вам будет угодно, завершалась) забитой крест-накрест двумя досками дверью в черный ход, который, впрочем, был не таким уж черным, а вел на мраморную лестницу, которая некогда несомненно была очень даже парадной. По какой причине и кем лестница эта (как и сотни других парадных лестниц в Петербурге) была наглухо заколочена, то есть не только двери, но и окна, осталось для меня тайной навсегда ⁶.

Обстановка кухни была спартанской. Там стояли шесть столиков – по числу комнат. Три табурета полуторной высоты – работы Толика-с, которые перемещались от с-толика к с-толику по мере необходимости. Два холодильника Саратов, стоящие друг на друге. И две газовые плиты, между которыми, в красном углу кухни, Аленушкой была повешена иконка.

Берлога + Берлога = Берлога

Такова была Левая Половина Берлоги. Приступим к описанию правой.

Правая, если смотреть от входной двери, половина Берлоги, также состоявшая из трех комнат, отличалась от левой, как правые партии в Думе от левых партий, или (если принять относительность правого и левого в России за данность), как меньшевики от большевиков.

Музейчик

В средней комнате глядя из Корридора, которая называлась Музейчиком, жила ответственная съемщица Галина Васильевна с сыном Лешей. Весь Музейчик была уставлен мраморными и бронзовыми скульптурами, а также множеством бронзовых часов и изделиями из саксонского фарфора. Продав любую из вещей своей коллекции –

⁶ Могу только высказать робкое предположение, что причиной этого вандализма быта полная невозможность – хоть плачь! - сделать лестницы такими же коммунальными, как квартиры. По своему устройству они были фундаментально неделимы. Привести парадные входы в соответствие с идеалами социалистического быта не представлялось возможным даже самой рьяной революционной фантазии. Контраст между коммунальными квартирами Ленинграда и доставшимися в наследство от Петербурга дворцовыми лестницами, ведущими в них, в недалеком прошлом был так разителен и велик, что жильцам было просто нестерпимо подниматься по мраморным ступеням в свои занюханые каморки, и, чтобы не тревожить представление народа о гармонии мира, парадные лестницы постепенно как бы заколачивали себя сами. Таково мое мнение. На котором я, впрочем, настаивать не могу.

без какого либо криминала, просто отнеся на комиссию в Эрмитаж или хотя бы в комиссионный магазин, Галина Васильевна без труда могла бы купить кооперативную квартиру и жить ни от кого не завися. Когда я, обжившись, осторожно намекнул ей на такую возможность, Галина Васильевна обиделась:

- Что вы, Федор Федорович, я же к ним привыкла.

В перегородке в одну доску толщиной между Музечиком и Малой Берлогой стояла скульптура Геракла, не то римская копия, но то более поздний отечественный оригинал. То самое изваяние мужчины с феноменальной мускулатурой и фиговым листком размером с пальмовую ветвь, копии которой под названием *Отдыхающий Геракл* украшают Парижский Лувр и Ленинградский Александровский сад⁷. Геракл Вмурованный в Берлогу если и уступал луврскому, то разве что размером и ничем более, по крайней мере Галина Васильевна так непререкаемо считала. А вмурованным наш домашний Геракл был потому, что стоял, как живой, таким достославным образом, что в Музечике находилась только передняя половина скульптуры, тогда как из стены в смежной с ней комнате выступала исключительно задняя. То есть из перегородки в Музейчик выступали лицо, грудь, нога ниже бедра, рука с бицепсом, а также орган, с помощью которого Геракл совершил свой тринадцатый подвиг. А в комнату смежную с музейчиком – затылок, пятка, плечи и задница. В целом горельеф этот (а точнее, два горельефа, по одному с каждой стороны стены) смотрелся достаточно фантазмагорически, особенно ночью, и с непривычки мог напугать кого угодно.

История горельефа была такова. Некогда вся правая если смотреть от входной двери половина Большой Берлоги представляла собой одну залу с дорическими колоннами (которые ныне частично выпирали в Сакральню из примыкавшей к ней пещеры). В соответствующем и наиболее естественном (как казалось в то время, когда строился дом) месте этой залы, деля ее в пропорции золотого сечения и между окнами, чтобы быть выигрышно освещенной, стояла скульптура Геракла. Вокруг которой, надо полагать, происходили интриги, танцы, объяснения в любви и еще много чего. Когда же роскошную петербургскую квартиру стали приводить в передовой вид и делить на клетушки, выяснилось, что провести перегородку иначе как между окнами невозможно, а уничтожить или хотя бы переместить национальное достояние в другое место нельзя, ибо оно числится на балансе. А потому, не мудрствуя лукаво, перегородили залу прямо по телу великого экспоната. Что последний вот уже около полувека сносил с завидным стоицизмом, которому позавидовал бы и Сенека.

Жильцы менее щепитильные к культуре, чем Галина Васильевна, давно бы перетащили этого памятника к себе в музейчик, или наоборот – расколошматили ломом к чертовой матери. Отвечая на мой вопрос, почему она так нерешительна, Галина Васильевна всплеснула руками: Что вы, Федор Федорович, он же охраняется государством!

⁷ Дабы предупредить возможность возникновения каких либо ассоциаций, которые могут возникнуть у читателей сставшими фольклерными рассказами о метаморфозах фаллоса статуи Геракла, считаю себя уполномоченным заявить, что ничего общего с их сюжетом упоминание о аналогичной скульптуре в Берлоге не имело и не имеет. Она просто стояла, и назвать ее, например, статуей Алякса Теламония только для того, чтобы избежать судебного преследования в планиате за употребление словосочетания *Скульптура Геракла*, мне не позволяет правдивость летописца. То, что в Берлоге стояла именно скульптура Геракла а не какого бы то ни было другого персонажа - это исторический факт, против которого не попрешь.

Так и стоял полубог с развоенной личностью, наводя на всякого, кто его видел хотя бы раз, на философские раздумья о социалистическом бытии. Которое, как известно, определяет не только сознание, но иже с ним и самое жизнь.

Мистический антураж, в котором вырос сын Галины Васильевны Алексей, несомненно, повлиял на карьеру последнего. По многу раз в день, а нередко и ночью, с самого раннего детства, он сравнивал свою мускулатуру с выступавшей из стены согнутой в локтевом суставе рукой над детской кроваткой, которую с каждым годом приходилось менять по мере неуклонного роста самого Алексея. И сначала мальчик, а потом отрок и юноша не успокоился до тех пор, пока его и великого героя древней Греции бицепсы не стали похожи, как если бы принадлежали близнецам-братьям. С каждым днем увеличивающееся сходство сына с Гераклом навеивало на начитанную Галину Васильевну грустные ассоциации с ее любимой книгой – *Портрет Дориана Грея*. Однако в данном случае, в отличие от шедевра, созданного Оскаром Уайльдом, менялось не произведение рук человеческих, а сам человек. И это несколько успокаивало.

Огромный, как гардероб, Алеха отличался тем, что при ходьбе держал голову совершенно прямо, а спину даже откидывал назад, будто уравнивая что-то спереди, а также и тем, что в семнадцать лет стал членом юношейской сборной страны и взрослой сборной Ленинграда. Впоследствии, уже став студентом, он прославился тем, что на спор сдал всю сессию отвечая на все вопросы на всех экзаменах совершенно одинаково и лаконично, а именно: “Я Член Сборной Советского Союза по академической гребле”. Геракл Леха отличался какой-то совершенно невообразимой выносливостью (встречающейся, по утверждению влюбленного в своего воспитанника тренера, в одном спортсмене на миллиард), которую он еще более увеличивал постоянными тренировками, и даже смотря телевизор, ни на секунду не переставал выжимал гири, как иные жуют резинку. Амбал ростом два метра и три сантиметра, с мышцами, которые вызвали бы уважение даже у Шварценегера, он мог бы раскидать всех обитателей квартиры и их гостей, речь о которых ниже, как цыплят. Вместо этого наш домашний Геракл перемещался по Корридору исключительно по стеночке, чтобы когонибудь нечаянно не покалечить (в эти мучительные минуты он парадоксальным образом напоминал балерину в танце маленьких лебедей), и исключительно по трем маршрутам: к телефону, к ванной (и иже с ней туалетом), и к входной двери (она же, разумеется, выходная). Никто никогда не видел его разговаривавшим с кем либо из соседей. Никогда не заходил он в Сапкральню. И вообще никогда не вступал ни с кем ни в контакт ни в конфликт.⁸ Впрочем, тогда Геракл Леха был еще очень юн, и его двенадцать подвигов, а также упорные тренировки нацеленные на повторение тринадцатого, при совершении которого древнегреческий плейбой, как известно, якобы овладел в одну ночь пятидесятью дочерьми царя Фестия, были еще впереди.

⁸ Сейчас Саня впрочем сильно переменялся и заматерел. По слухам, ныне он руководит процветающей охранной фирмой.

Пещера

По левую руку от Галины Васильевны (если смотреть из того же Корридора), в комнате, которую называли Пещерой, и в которой, по всеобщему убеждению, водились духи, жила учительница французского языка на пенсии. Все (кроме Ньюши) почему то звали ее *Наша Ведьма* и она не обижалась, так что в конце концов и я привык звать ее столь же фамильярно. Наша Ведьма круглый год выходила на улицу в одном и том же пальто, таком засаленном, что, казалось, она купила его в эпоху военного коммунизма. Помимо пальто, была у старухи еще одна достопримечательность, точнее две: громадные черные кошки, размерами и повадками скорее напоминавшие рысей. Два раза в день старая женщина водила гулять на поводках своих любимиц, от которых (а возможно, и от всей троицы) встречные и попеченые шарахались; при этом она разговаривала не то с кошками, не то сама с собой исключительно по-французски, от чего нашему домовому Кузе неоднократно делалось не по себе. По четвергам же старая женщина вместе с своими Черными Кошечками (а может быть, Черные Кошечки со своей старой женщиной??) запиралась в ванной. Кошки страшно орали. Из-за закрытой двери доносились и другие нечеловеческие звуки. Но, не смотря на то, что добрая половина обитателей берлоги (за исключением Ньюши, а также примкнувшего к ней меня) при этом на ципочках ходила под дверью и прислушивалась, чем они со старухой (или старуха с ними??) занимались в Чистилище так и осталось неясным. Это было священнодействие, и Берлога уважительно затихала, а Аленушка и Галина Васильевна крестились. Когда же в Большой Берлоге происходили очередные и внеочередные безобразия, Наша Ведьма бормотала стихи, в которых я, к собственному своему немалому удивлению, слышал обломки знакомых или полужнакомых строк: то Пастернака, то Бальмонта, то Гумилева - начинавшихся и кончавшихся, однако, в совершенно неожиданных местах и потому напоминавших не столько поэзию сколько римские руины. Когда же даме из ненашего мира становилось совсем уж не в состоянии, она сердито кричала что-то (то есть это ей казалось, что кричала; в действительности она бормотала) хлопала дверью (то есть это ей казалось, что хлопала: куда ей, старой, хлопнуть чем либо в нашу эпоху, в которую скрежет токарного станка по металлу кажется всего лишь шепотом природы, вроде листопада), садилась за свой старый, с треснувшей декорацией, рояль *Бехштейн* и начинала играть седьмой вальс Шопена. Что делало честь как ее музыкальному вкусу, так и постоянству этого вкуса.

Малая Берлога

В шестой комнате, в просторечии именуемой также Малой Берлогой, ближайшей по Корридору и справа если войти в квартиру с лестницы и через дверь, жил физик и лирик, программист и водолаз, горнолыжник и теннисист, отшельник и женолюб, человек тонкий, непримиримый, пылкий, деликатный, ренессансный и пронизательный. Это я.

Промежуточный Финиш

Такова была Берлога, точнее Берлога в Берлоге, в которую занесло меня волею судеб. Никого не должно удивлять, что в, казалось бы, обыкновенной квартире на третьем с половиной этаже обыкновенного Ленинградского дома, обыкновенного Союза Советских Социалистических Республик, раскинувшегося по нашей обыкновенной земле-планете так широко, что, когда бы на нее ни посмотреть с Луны, невозможно не увидеть хотя бы один ее военный округ, были свои государства, леса, болота, пещеры, сакральные зоны, замки и небеса. Существуют же государства в государствах и вселенные на кончике иглы; существуют же боги, которые могут обратиться то змеем, способным сожрать весь мир, то невинной гусеницей, ползущей по зеленому листку, а то и тем и другим одновременно. Тем более имеют право на существование не только квартиры в государствах, но и государства в квартирах.

Во многих уважающих себя сказках королевства обнесены забором. Если у государств есть границы по горизонтали, почему бы им не быть по вертикали? Убежден, что суверенные страны в следующем тысячелетии будут устроены более многопланово, чем в предшествовавших ему. В частности, страны будут иметь не только стены, но и полы, и потолки – и не в народной фантазии, а на географических картах. В чем же тогда состоит прогресс, черт побери, если не в возведении преград там, где их никогда не было?

Берлога, повторяю и настаиваю я, была планетой, расположенной на третьем с половиной этаже обыкновенного дома в центре обыкновенного Ленинграда. И если вы считаете, что в этом утверждении содержится внутреннее противоречие, то вы заблуждаетесь.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Культпоход в Рай

Я сидел и работал за столом. Верочка читала, раскачиваясь в венском кресле-качалке, купленным еще моим дедушкой, согласно семейной легенде, именно в Вене. Раздался стук. Вошла женщина в расцвете русской красоты.

- Меня зовут Ньюша. – сказала она, как мне показалось, церемонно. – Я ваша соседка. Хочу пригласить вас с вашей девушкой на чашку кофе в восемь вечера. Моя комната напротив ванны, а не рядом с ней, так что не перепутайте.
- Я Федя. А это Верочка. – представил я.
- Очень приятно.
- Нам тоже. Спасибо за приглашение. Непременно придем, – столь же церемонно ответил я, согласившись за нас обоих. А грациозная Верочка взялась за краешек платья и сделала очаровательный книксен, светло улыбаясь.
- Надо купить цветов, – сказала Верочка, посерьезнев, как только женщина с славным русским именем Ньюша вышла, – как никак первый поход к соседям в гости. От первого визита обычно много зависит.

Она была права. Я сбегал за цветами и бутылкой шампанского. Оделся парадно. Верочка тоже прихорошилась. И мы пошли в гости.

Когда я постучал, женский голос ответил на стук хорошо поставленным голосом: “входите”.

Первой я, естественно впустил в дверь даму. Деликатное создание почему то сказало АХ! и застряло в дверях. Я мягко протолкнул Верочку в комнату и вошел следом.

Изобразу ль в картине верной уединенный кабинет? У дальней стены стояла широкая кровать. Под потолком зеленый абажур с лампочкой. Между двух широких окон – стол. Справа от двери тахта. Перед тахтой – журнальный столик, на котором аккуратно стояли чашки с дымящимся кофе. Кроме того, на нем можно было увидеть сахар, высыпанный на блюдце. Полбанки варенья. Колбаску. Хлеб. Просто полбанки. И маленькую. Казалось бы, ничего особенного? Ошибаетесь. Через месяц после этого кофе суждено было подорожать, как мы теперь знаем и помним, ровно в четыре раза, и оно было большой редкостью в магазинах, ибо власти его придерживали. Помню, как недели через две после описываемого визита, ко мне пришел Юкра Га., писатель, ныне лауреат престижных европейских литературных премий, проживающий в Швейцарии. Ко мне же он явился с маленьким бумажным пакетиком кофе, который он всыпал себе в чашку, не зная, что Ньюша Щедрая Душа, работавшая в вокзальном буфете, по дружбе подарила мне к тому времени целую банку. Но это было потом. В описываемый же мною момент кофе был одной из достопримечательностей стола, которую оценить и понять правильно может только русский человек, да и то не любой, а из тех сверхдержавных бедолаг, кто в те годы уже ходил по свету обеими ногами.

Но банка кофе не была единственной достопримечательностью комнаты, в которую нас пригласили. Как это правильно сказать на современном русском: *кровать была расстелена* или *кровать была застелена*, если сверху на ней находится не покрывало, а одеяло и простыня? В какой то момент развития языка, мне мерещится, эти

два формально противоположных друг другу причастия поменялись значениями. Короче говоря, говоря без обиняков, тахта выглядела так, как будто на ней только что спали. То есть не в смысле объятий Морфея, а в смысле объятий Приапа. Но это не все. От кровати, как и от всей комнаты, исходил характерный запах, какой бывает в студенческих общежитиях... как бы это деликатнее выразится... после месяца бурной личной и общественной жизни перед сменой белья. Но и это не все. Все было бы хорошо, если бы на простынях никто не сидел. А на простынях именно сидел. И не ктонибудь, а мужчина. И одетый – догадайтесь во что? В костюм* Холодно. В рубашку и штаны? Холодно. В тельняшку? Вечная мерзлота. Не буду мучать. На мужчине были черные семейные трусы. И БОЛЕЕ НИ-ЧЕ-ГО! То есть совершенно ничего!

Описав одежду героя, следуя традициям английского романа прошлого века, перейдем к описанию его характера. Мужчина в трусах был очень мрачен. Ну то есть более мрачное лицо трудно было себе вообразить. Если бы Хичкоку понадобился актер на роль призрака, он выбрал бы этого мужика, и дал бы ему играть без грима. Кроме мрачности, была на этом лице еще одна примета. Рот. Все зубы мужчины – все до единого! - были металлические. То есть такого я никогда не видел, чтобы вообще все! (Что случилось с их естественными предшественниками: то ли дружно выпали, то ли их оптом выбили – я так никогда и не узнал, ибо спросить впрямую не считал возможным). Обращала также на себя внимание татуировка мужчины. На левой груди в профиль был изображен, разумеется, Иосиф Виссарионович. Глазом вождя, что также совершенно естественно, был сосок. То есть зрачек не был прорисован, он торчал. Таким образом, око было видно отовсюду в фас, как если бы вождя смотрел на тебя упор; такая смесь фаса и профиля была характерна для древнеегипетского искусства, но не думаю, что неизвестный, очевидно тюремный, художник думал о формальном сходстве его стиля изображения вождя с фараоном. Скорее, он творил по вдохновению, оно же наитие.

С правой же половины груди упор на вождя народов смотрела красавица, глаз которой, что также совершенно естественно, был вторым соском. Пышные волосы девицы натурально уходили по туловищу мужика далеко вниз, в черные семейные трусы, и продолжались на обеих ногах под ними. Заставляя зрителя невольно задуматься о том, что именно находится под трусами и какие страсти там бушуют и разыгрываются.

Мужик несомненно был произведением искусства. Но не соцреализма. И не того, которое устраивают по праздникам во дворце Съездов. И даже не нонконформистского. А лагерного. Которое до сих пор изучено гораздо меньше чем следует. Хотя, судя по влиянию выходцев из него на экономику и финансы, давно пора.

Но что же это я описываю колоритного персонажа, как будто веду по нему экскурсию с указкой в руках? Пора вспомнить о краеугольном камне европейской цивилизации – чувстве меры, и переходить к действию, пока не наскучил читателю окончательно, потому что если описывать сидевшего перед нами с Верочкой мужчину в семейных трусах во всех деталях, то из этого одного мог бы получиться роман средних размеров.

- Это мой Валя – сказала Нюша. – А это Федя с Верочкой. - И указав на стол, предложила с присущей ей щедростью: Угощайтесь, ребята. И садитесь, а то стоите как на допросе.
- Верочка посмотрела на меня, заморгала и ... села. Присел и я-с, с – сознаюсь - обычно не свойственной мне робостью.

- Мы сегодня выпускной день Валентина отмечаем, – с предельной непринужденностью объяснила Нюша, разливая по стаканам национальный напиток.
- То есть выпуск был раньше, в прошлую среду, но он только сегодня до меня добрался. Так что давайте за это дело и выпьем.
- С удовольствием – сказал я. - А откуда выпуск?
- В каком смысле откуда?
- Из какого учебного заведения?
- Ну и шутник же ты, Федя. Конечно, не из университета.
- Не из университета? – переспросила деликатная Верочка.. – А откуда же?
- Из тюрьги. Откуда еще? – мрачно сказал Валентин не поднимая глаз от пола и рук от колен.
- И по какой статье вы сидели? – спросил я чтобы поддержать светскую беседу. Нюша хотела что то сказать, но Валентин ее остановил.
- Я не убийца. Я непредумышленный убийца. Так что не путайте.
- Ну что вы, - сказал я слегка обалдело. – Да разве такое спутаешь...

Опять наступила тишина. Положение было идиотское. Мы с Верочкой, нарядившиеся как на выпускной вечер, непредумышленный убийца в семейных трусах (в этих трусах и более ни в чем Валентин обычно ходил не только по Райку Нюши, но и по всей Большой Берлоге, а также курил на лестнице. Впрочем были у Валентина и другие трусы, парадные, синего цвета, которые он сам утюжил и надевал по большим праздникам вроде Первого мая. Впрочем, из обитателей квартиры, как вы успели заметить, непредумышленный Валя отнюдь не был самым раздетым или экставагантым, так что его наряд поразил меня только при первой встрече. Да и то ненадолго) и Нюша в халате на голое – подчеркиваю – совершенно голое! – тело, халате, который не был застегнут ни на одну пуговицу и как бы невзначай то и дело распахивался. От чего каждый раз Верочка менялась в лице и рефлекторно говорила: АХ!

- Начнем пожалуй, - пропела Нюша удивительно певуче и мощно. И взяв стакан, сказала: - За то, чтобы ты больше туда не попадал. Смотри у меня.

И чмокнула Валентина в люб. Причем мне показалось, что из глаза Валентина при этом скатилась слеза.

Мы чекнулись, выпили. После чего наступило молчание. Если бы я был один, я бы, конечно, поддержал беседу, но присутствие эфемерного существа - Верочки - меня сковывало, как кандалами. Заметив, что до сих пор держу бутылку шампанского на коленях, я поставил ее на стол. Где она смотрелась ничуть не менее дико, чем на коленях. Опять тишина. Валентин к беседе был явно не расположен.

- У меня что-то голова разболелась – сказал Верочка наконец. - Извините. Я пойду прилягу.
- Бедненькая! Ты ложись на тахту, – заботливо сказала Нюша с беспредельной естественностью, – а я тебе пока медовуху соображу. Ну ка подвинься, Валя.
- Спасибо, я лучше у нас в комнате, – пробормотала застенчивая Верочка. Встала. И вышла легкой походкой девушки у которой за спиной семь лет занятий бальными танцами. Причем, перед тем, как исчезнуть, от растерянности сделала реверанс.
- Она у тебя всегда такая старорежимная? – спросила Нюша обалдело.
- Бывает, – ответил я неопределенно. Потом пришел в себя и отдал Нюше букет. Она зарделась.

- Валек только в среду вышел, – извиняющимся голосом сказала Ньюша, - Пока в поезде ехал, то да се, еще не оттаял. Так что ты, Федя, не обращай внимания, что он молчит. От только с виду такой угрюмый. Когда я его отопрею, он у нас будет, как зайчик!

- Да да, конечно, - быстро согласился я и встал. – Именно как зайчик.

И не слушая дальнейших уговоров, вышел вон.

Царь-Фига

Ровно в полдень на Петропавловке бабахнула пушка. И одновременно с выстрелом раздался стук в дверь. Это была Нонна, явившаяся, как вестница: не то императора, не то бога. То есть, стало быть, не то фельдегерем, не то Меркурием соответственно. Вошла молча и поманила меня пальцем – возможно потому, что рот ее, битком набитый прокуренными зубами, был занят папиросой, зажатой в щели между ними. Я перешел через Корридор – Всего четыре шага в ширину! – и попал в другую вселенную. В Тайгу. Я понял это по тому, что ноги мои перестали свободно передвигаться. Они испытывали сопротивление, как если бы я входил в реку с песчаным дном. Удивившись, я не сразу догадался поглядеть вниз чтобы понять причину этого феномена. Весь пол, в остальной квартире (как вероятно и здесь) паркетный и инкрустированный, в Тайге был покрыт стружками. В центре комнаты нежно прижав головы друг к другу, лежали собака и кошка. Они были примерно одного размера, и, если бы не знание предистории отношений между этими Монтекки и Капулетти класса млекопитающих, можно было бы подумать что они – Ромео и Джульета. Эти два существа в паре были настолько самодостаточны, что их существование замечалось только в первый момент, а потом о них забывали. Впрочем, о них мы еще поговорим в другом, более подходящем для этого месте.

Стены Тайги были обклеены пожелтевшими и затвердевшими газетами времен окончания отечественной войны, по которым впоследствии я с интересом узнал многое дотоле неизвестное мне о славном пути страны недавно победившей фашизм – вплоть до смерти Вождя Народов и расстреле Берии, ибо позднейшая история накладывала многослойную ретушь на факты точно так же как и на лица престарелых вождей на их ритуальных портретах. В нескольких газетах, которыми были обклеены стены, имелись, как потом оказались, и фотографии хозяина Тайги, с орденами и медалями, покрывавшими его выгнутую дугой грудью целиком. У большого венецианского окна в полстены – единственного в комнате - стоял верстак, за которым сидел мужиченка и ковырял каким то неизвестным мне до того инструментом в зажатой в тисках деревяшке. В другом углу, укрытая от нескромных глаз тюлевой занавеской, стояла кровать, в которой сквозь дымку, как сквозь вуаль, угадывались подушка и одеяло, но не было малейших признаков наволочки или простыни. А в углу у окна, который до революции назвали бы красным углом, а после революции более скромно и уничижительно – красным уголком – не было ни иконы, ни сублемировавшего ее функцию Бюста Владимира Ильича, а красовалась вертикально повешенная громадная ложка длиной – точнее высотой - в полтора человеческих роста. Конец царь-ложки плавно и незаметно превращался в человеческую руку увенчанную фигой величиною с утюг. В четвертом и последнем углу комнаты стоял патефон на котором крутилась

старая заезженная пластинка, как говорили в старину, на ребрах, ностальгически не столько певшая сколько скрипевшая голосом Петра Лещенко:

“Татьяна, помнишь дни золотые....”

Я подошел к ложке и принялся ее разглядывать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Царь-ложка эта, не смотря на внушительную величину, была сделана с редчайшим мастерством, с узорами и рисунками на всем протяжении, а Царь-Фига на ней к тому же и с незаурядным натурализмом (я бы даже, пожалуй, сказал соцреализмом, если бы фигура венчавшая ее, не вызывала в начальниках любого ранга подозрение и неприязнь, так что изделие это ни при каких условиях не могло бы пройти художественную комиссию чтобы попасть в число национальных культурных достояний). Царь-ложка с фигой, или Царь-фига с ложкой, как вам будет угодно – вплоть до линий на видимой части ладони – была выполнена столь дотошно, что Майор Пронин мог бы установить с кого она была выстругана, если бы необходимость узнать это возникла.

- Ваша работа? – спросил я восхищенно глядя на ложку.
- Моя – скромно сказал мужиченка не отрываясь от работы.
- Вы мастер – сказал я. Не просто для поддержания разговора, как после просмотра спектакля хлопаешь по плечу приятеля-режисера и говоришь ему “Ты гений, старик”, – а искренне отражая впечатление которое она на меня произвела.
- Какой я мастер... Так, подмастерье, – пробурчал мужиченка, искоса поглядев на меня, но при этом ни на секунду не переставая строгать.

А он непрост, – подумал я машинально. И сказал:

- Ну, если вы и подмастерье, так у господ Бога. Что в общем не возбраняется. И протянул руку. Прежде чем принять предложенное рукопожатие, мужиченка внимательно осмотрел мою ладонь со всех сторон, потом так же долго и внимательно изучал мои глаза, и только после этого, тщательно вытерев обе руки о грязную тряпку, протянул мне десницу.
 - Я Толик – сказал он просто. - Для идиотов и сволочей я Анатолий Михайлович. Но для тебя Толик. Запомнил?
 - Он Толик а я Нонна – эхом уточнила женщина, не вынимая изо рта с папиросы.
- А я Федик – ответил я в тон. – Но только для избранных. А для остальных, Федор Федорович, как положено по протоколу.

Так это было. И так это началось. И была ночь. И было утро. День первый.

Онегин, Мой Сосед

После полудня в Берлогу постучали. “Входите” - разрешил я и слегка – не скажу удивился: оторопел. За дверью стоял отец Ночной Рубашки. Отец как отец, даже бритый и, насколько я помню, трезвый. Только вот одет он был несколько нестандартно. По крайней мере, на мой еще неадаптировавшийся к берлоге взгляд. Может быть, вы, господа-товарищи, более толерантны, чем я, и не обратили бы внимание на некоторую несообразность в одежде этого худосочного мужчины. Мне же сразу бросилась в глаза вольность и нестандартность его туалета. Дело в том что Отец Ночной рубашки был раздет. То есть не совершенно раздет, но почти раздет. Можно сказать, на девяносто пять процентов раздет. На нем были только плавки с тесемками завязывающимися сбоку – в стиле пятидесятых годов – и сигарета *Друг* в зубах. И больше ни-че-го.

Так что я полагаю, что, будь вы на моем месте, читатель или читательница, то и вы слегка удивились бы, или (если вы выходец Итона или выходка Пансиона Благородных Девиц) хотя бы подняли брови.

- Что-то у них в семье не густо с одеждой, – подумал я почему-то, вспомнив ночную рубашку. – Это у них родовое или как?

- Тебя как зовут? – спросил Онегин, цикнув краешками губ, как если бы хотел сплюнуть, но только из уважения ко мне не сделал этого.

- С утра Федей звали. А чо?

- А я Онегин, ваш сосед.

- Как это?

- Фамилия у меня такая. О-Не-Гин. Не веришь? Паспорт показать?

- Покажи.

- Не покажу. Ты лучше скажи: у тебя спички есть?

- Лови – бросил я коробок и углубился в формулы.

Онегин поймал коробок, чиркнул спичкой и закурил.

- Спасибо – говорит – а то я как дурак: курить есть а огня нет.

И аккуратно положил спички на стол. Не отреагировав и как бы не замечая провокации (а впрочем, кажется у меня в голове успело промелькнуть что то вроде: “Счастливец! Этот парень кажется чувствует себя дураком только изредка. А не постоянно, как я”), я продолжал думать, а кажется (как мне теперь все более и более кажется) даже в самом деле сосредоточился и улетел мыслями в мир формул, не зависящий от воли людей и их политики. Онегин же (напоминаю, в плавках с тесемками на голу жопу) подошел к пианино и осторожно нажал на клавишу. До диез – машинально отметил я.

- А у этого нудака есть музыкальное чутье – подумал я через минуту, констатировав, что, хотя играть он несомненно не умеет и никто его этому делу никогда не обучал, подошел к инструменту мужчина правильно. В голове у меня почему то зазвучала тема из Венгерского танца Брамса, исполнявшаяся как бы на старом патефоне, и я мысленно улыбнулся.

- Слушай, Онегин, а зовут то тебя как? – спросил я.

- Онегин, – ответил молодой отец к моему вящему изумлению в такт моей внутренней мелодии, как будто он ее слышал.

- Он чувствует музыку жизни! – с удивлением отметил я – а это так редко бывает. Не только среди людей не знающих что такое седьмая ступень, но и среди музыкантов.

- Слышу что Онегин, а имя у тебя есть?

Онегин удивился.

- Зачем мне имя, если моя фамилия Онегин? Думаешь, Брежневу имя Леня чтонибудь добавляет?

Толково, – подумал я.

- Так я пойду, что ли? – спросил Онегин, переминаясь с ноги на ногу. Внутренняя музыка умолкла, как если бы патефон выключили из сети.

- Как хочешь. Хочешь сиди хочешь иди. Хочешь пей, хочешь совей. Хочешь ликуй, хочешь кукуй. Мы люди свободные.

- Это точно что свободные! – обалдело согласился Онегин и направился к двери. *Как дэнди лондонский одет* – подумал я четырехстопным ямбом почему-то.

- Слушай, Онегин, а чего ты в плавках приперся то? – спросил я, когда он уже совсем понял было, что обречен исчезнуть из поля моего зрения. И правильно сделал что спросил – похвалил я себя. Онегин очень хотел этого вопроса.
 - Да понимаешь, лежу в ЦПКО, курить охота, а спичек нет. Забыл я спички. Вот и пришел домой, – сказал он с заранее подготовленной беззаботностью.
 - Постой. ЦПКО же отсюда через полгорода.
 - Ну!
 - Через Кировский проспект! По Мостам! Трамвайным путям! И сквозь кордон Конной милиции при выходе из парка! –
 - Город знаешь, – двусмысленно похвалил меня Онегин в свойственной ему манере.
 - А ты в плавках и босиком?
 - А чего? С утра вроде не холодно было.
 - И никто тебя не остановил?
 - А кто меня остановит в моей стране? – удивился (или якобы удивился) Онегин.
Ну ты даешь, мужик, - говорю. И некоторое время смотрел на мужчину, пытаюсь что то понять, да так и не поняв ничего (как я теперь понимаю) спросил, в унисон с упрямо вертевшейся в голове темой из Венгерского танца Брамса:
 - А у тебя закурить есть? А то я сижу как дурак: огонь есть а закурить нечем.
 - Затянуться хочешь? Если “Другом” не брезгуешь, держи.
Я затянулся и вернул новому другу окурочек данной мне сигареты “Друг”.
 - Тебе принести целую? – с, пожалуй, черезчур искренней готовностью предложил Онегин.
 - Сигарету или пачку?
 - Обижаешь, товарищ.
- Что то в его интонации мне показалось однако черезчур гармоничным, а значит, фальшивым. Как будто он аккомпанировал моей внутренней теме, увлекая меня куда-то.
- А где пачка то?
 - Как где? В ЦПКО.
 - А... Ну принеси, коль не шутишь.
 - Ну принесу. Жди.
 - Будь здоров – говорю. – Счастливой дороги. Буду ждать.
- И долго еще смотрел в закрытую дверь... А потом в окно. И увидел, как Онегин в плавках и босиком, с окурком в зубах, идет аккуратно обходя лужи, по саду, посаженному царским садовником, в направлении северо-запада, пересекая Кировский Проспект, где в километрах пятнадцати по компасу находился Центральный Парк Культуры и Отдыха, и о чем то говорит сам с собою, как звезда с звездой на ночном небе. Было в этом переходе Суворова через лужи что-то Бройгелевское, но одновременно и от Кафки, не без этого.
- А он непрост, этот Коля – подумал я – Ведь ни разу не оглянулся, сукин сын. Как Чингиз Хан, который начинал большие походы с маленькими отрядами: армия сама собиралась за его спиной, но предводитель никогда не оглядывался назад, а лишь скакал, скакал, скакал...
- Смотрел я, смотрел, а потом стряхнул оцепенение, потряс головой для этого, и опять начал работать. И забыл обо всем. Где я, когда я и в чем я...
- Часов в восемь вечера стук.
- Кто там?

- Онегин, ваш сосед.
И входит. В костюме и при галстуке. Блюки наглажены, туфли начищены. Аккуратный, как на похоронах.
 - Ты чего, Онегин?
 - Да вот сигареты принес.
 - Из ЦПКО?
 - Откуда ж еще. Ты ж просил.
 - Отлично. А я как раз устал думать, кирнуть собрался. Тебе налить рюмашку?
 - У тебя есть или за угол сбегать?
 - Для хорошего человека у меня всегда есть.
 - Ну давай по полстакана.
Мы дернули по стакану. Потом по другому
 - Слушай, Онегин - спрашиваю - Ты это действительно по зову души в плавках из ЦПКО притопал? Или дурака из меня делал?
 - А чего нам? Слабо?
 - Да я с первого взгляда понял, что тебе ничего не слабо. В смысле все не слабо.
 - Паспорт будешь смотреть? (и он действительно достал искомую и, так сказать, пурпурную паспортину из заднего кармана брюк, который, как я не выходя из Берлоги узнал впоследствии от профессионалов, профессией которых являются карманы штанов, называется жопником).
 - Зачем мне твой паспорт, если я тебе верю.
 - Нет ты все таки посмотри. Видишь: Онегин.
Я искоса глянул. И в самом деле в паспорте так и было написано: "Онегин". Без имени и отчества! Я слегка оторопел, пытаюсь восстановить причинно следственную цепь. Но поняв, что информации пока не достаточно, круто повернул разговор, как руль автомобиля на горной дороге:
 - А скажи ка ты, Онегин, честно: ты зачем в плавках ко мне притопал, а? Зачем тебе было через весь город полуголым шагать?
 - Зачем, зачем?- переспросил Онегин, оглядевшись по сторонам. – На вшивость проверял, вот зачем.
- Водка действовала. Раскололся!
- Ну и как? Проверил?
 - Проверил.
 - В таком случае, может быть ты сообщишь мне результат анализа. Только, ради Бога, без святой лжи: я вшивый?
 - Да вроде пока нет.
 - Спасибо.
 - Тебе спасибо.
 - Хорошо, пусть мне спасибо. Но кроме спасибо, у меня к тебе есть одна просьба, Онегин. Ты по Кировскому больше в плавках не ходи.
 - Это почему еще?
 - Потому что я с тобой не на нарах выпивать хочу, а дома.
Онегин мгновенно вскипел, как чайник, который поставили в доменную печь.
 - Ты что? Хочешь, чтобы я их бояться начал? Так ведь это надо только начать. – вскричал он с яростью - И с чего ты собственно решил, что я тебя на вшивость проверял? Может это я себя на вшивость проверял? Может я страну на вшивость

проверял? – и вдруг лицо его стало оттаивать, пока опять по обыкновению не улыбнулось улыбкой, которая была как бы нарисована на нем, вроде морщин. - Подумаешь, в плавках. Если надо, мы и нагишом по Невскому проковыляем. И ничего нам за это не будет. Хочешь на спор: весь Невский пройду в чем мать родила? От истока до устья! От Адмиралтейства до самой Лавры!

- Нагишом?
- Нагишом.
- Без трусов?
- Без них, родимых. Что, не веришь? Слабо, думаешь?
- Тебе то не слабо, и им не слабо.
- Кому им?
- Тем что руки за спину заламают.
- Ты за кого меня принимаешь? Мы же с ними одного генетического кода. Я их насквозь вижу, овчарок этих. Погляди, что у меня за дверью.

Я не поленился выйти и поглядеть. За дверью стоял ящик с водкой. Двадцать бутылок.

- То-то. Ты думал, я лапоть? А я стратег. Я пойду впереди, как Христос, с бутылкой и стаканом, а ты сзади на такси, вроде сопровождения. И как только мелуха приблизится, мы ему сразу нальем. От тебя только и требуется, когда бутылка кончится, другую дать.
- Это что? Спор?
- Конечно спор. Но не с тобой.
- А с кем?
- А вот это я тебе не скажу- сказал Онегин и подмигнул. -Одобрешь? Или все еще не веришь?
- Верю, Онегин, верю. Тебе верю. Другому бы не поверил. Еще вчера бы ни за что никому не поверил что такое возможно. А сегодня – уже верю. А это знаешь ли, в наши годы, достижение. Мы ведь с тобой не мальчики.
- Это точно, что мы не мальчики, - задумчиво повторил Онегин, как эхо. А я смотрел на него и понимал, что он в самом деле ко всему готов, а не так, как юные пионеры. Постоял Онегин, мой сосед, постоял, переминаясь с ноги на ногу на сквозняке, подергал себя за галстук – и исчез за дверью.

Наша Ведьма

Примерно через неделю после приезда в квартиру я сидел на кухне при свете тусклой лампочки и в ожидании, пока закипит чайник, смотрел в окно, за которым угадывался сад. Быстро темнело, так что с дерев одна за другой, как листья, слетали детали, пока клены не превратились в собственные очертания.

В это время за спиной послышался шорох. Я обернулся и увидел очень старую женщину, в очках с двойными стеклами (делавшими их обладателей похожими на водолазов), с выдающимися вперед на худом лице носом и подбородком, в старом и толстом, казалось, сделанным из не то из валенка, не то из рогожи, платье. Она брела со свечкой, а вокруг нее кружили, вписываясь в траектории, описанные какими-то уравнениями, две огромные, совершенно черные и такие же худые как и их хояйка, кошки, оказавшиеся впоследствии котами. Божий одуванчик и сопровождающие ее кошки подплыл к столу, и не замечая, или как бы не замечая, меня, достал из за окна

кусочки мяса с косточкой и дал кошкам. Те принялись за трапезу, используя ладони старой женщины как блюдца, не по кошачьи чинно, словно на приеме в царском дворце.

- Здравствуйте. - Нарушил я молчание. – Я ваш новый сосед. Федя.
- Ведьма, – представилась старая женщина буднично, кивнув несколько раз головой.
- Простите, я не расслышал как вас зовут – переспросил я.
- Ведьма – сказала женщина громче.
- А имя и отчество?

Старая женщина улыбнулась.

- Меня все тут ведьмой зовут, так я и привыкла.
- А раньше как звали?
- Да я уже и забыла. Было ли оно вообще, это раньше? Да и зачем оно вам?
- А собственно и вправду: зачем оно мне? – подумал я. Но спросил совсем другое.
- Вы давно здесь живете?
- Давно ли я здесь живу? – переспросила старая женщина задумчиво. – Вроде и не давно. Вроде только вчера как въехала. Но конечно, лет семьдесят живу.
- Позвольте... Так вы и до революции в этой квартире жили?
- Конечно жила. Но вот давно это или не давно – не знаю. Вам может показаться что давно, а мне так вроде и рукой подать.
- Так вы что же: и в блокаду здесь жили?
- В блокаду не жили, молодой человек, в блокаду выживали... Жила и выжила. Тут во всех комнате поумирали, а я выжила.
- И в тридцать седьмом вы... жили?
- Выжила. Из всей квартиры мы вдвоем остались: я и Маня. Но она потом в блокаду от голода умерла, а я все еще выживаю, как видите.
- И с кем же вы здесь жили?
- С мужем жила.
- А еще?
- На что вы намекаете, молодой человек?
- Я не намеаю, я спрашиваю: еще кто то кроме вас тогда в этой квартире жил?
- Да никто. Мы с ним вдвоем жили. Это наша квартира была. Пока его не забрали.
- А потом?
- А потом конечно, в каждую комнату семью поселили.
- А вас?
- А меня забыли забрать. Все ждала, что заберут – а они и не забрали.
- И что ж вы потому делали?
- Как что делала? Жила.
- А замуж вышли?
- Что вы такое говорите, молодой человек? Где ж это видано чтобы приличная дама два раза замуж выходила?
- Так вы и сейчас ему верны?
- Кому?
- Вашему мужу?
- Конечно верна.
- Он к вам приходит?
- Обязательно приходит. –сказала ведьма, и лицо ее осветилось изнутри. – Почитай, каждое полнолуние. Только вы этим не говорите.

Я вздрогнул. Черные коты тем временем закончили трапезу и замяукали на два голоса что-то отдаленно напоминающее полет Валькрий. Старушка наклонилась, вытерла своим любимцам мордочки вафельным полотенцем и все трое побрели из кухни, оставив меня в задумчивости. Я не сразу понял, что меня поразило больше всего. Не то, что сама старая женщина в рот ничего так и не взяла, буквально ни крошки (и я за все годы никогда не видел, чтобы она что либо готовила для себя – только для своих любимцев). И не то, что к ней является ее муж, встречаться с которым, каким бы хорошим человеком он при жизни ни был, мне почему то не хотелось. Больше всего меня поразило то, что старая женщина говорила со мной, так ни разу и не взглянув в мою сторону. Словно я был миражом, а реальным был кто то другой. Невидимый.

Многосильный Отрок

Когда, проснувшись в берлоге, я пошел в ванную, в коридорчике стоял парень, здоровый, как гардероб, и выжимал гири.

Я Алексей, – сказал он басом, и осторожно, чтобы не сломать ненароком, пожал мою протянутую ему руку.

Это были единственные слова, сказанные мне Алексеем за первые полгода моей жизни в берлоге.

Сиамские Антиподы

Как я уже говорил, у моего соседа свободного Коли был брат близнец по имени Вася. Проблема близнецов, волновавшая мыслителей от Шекспира до Эйнштейна, нашла свое воплощение в Коле и Васе настолько своеобразно, что, несомненно, в этой своей реализации была достойна пера первого и пристального внимания последнего. Когда Вася и Коля были маленькими, учительница в начальных классах различать братьев не могла, да кажется и не хотела. Они сидели за одной партой и на переменах частенько менялись местами, так что отвечал за обоих, как правило, Коля, который был бесспорно умнее. Но понемногу братья стали все меньше и меньше походить друг на друга – не столько внешне, сколько изнутри. Причем Вася стал отличаться от Коли значительно больше, чем Коля от Васи, отплывая от брата, как лодка от пристани. С каждым месяцем и годом Вася становился все положительнее и положительнее, в то время как Коля как был шелопаем в четыре года, так шелопаем и остался. Отметки у Васи, правда, после того, как его стали отличать от Коли, ухудшились. Видимо, природа при его создании все-таки чуть-чуть отдохнула, в отличие от самого Васи, который, казалось, не отдыхал никогда. С того самого дня, как его приняли в пионеры, он всегда и везде был вожаком и все возглавлял. Коля же с каждым годом все больше становился *не пришей кобыле хвост*. Занятия прогуливал, а когда приходил, то куролесил, ходил колесом, отпускал неуместные шуточки, дергал за косички порядочных девочек-пионерок и вообще срывал уроки всеми доступными ему способами, так что, если учителя, придя в класс, обнаруживали, что из близнецов на уроке наличествует только один, они облегченно вздыхали. В остальное же время юный Коля пил, курил, сочинял стихи и трахал одноклассниц (которые были такими же малолетками, как и он сам, и только потому статья за соблазнение несовершеннолетних ему не грозила. Как впрочем и девочкам.

Вообще, в эпоху равноправия полов кто кого трахает – это, как с каждым годом становится все более и более ясно, вопрос скорее философский чем юридический). В десятом классе Коля мог исчезнуть на неделю и появиться только на один урок – на контрольную, которую, правда, всегда писал либо на четыре, либо на пять – такой способный! - после чего опять исчезал из школы, потому что, как он изволил выражаться, *не хочет тратить время на ананизм*. Он даже поступил в институт, но продолжал в том же духе – то есть волочиться за студентками, играть в преферанс, хотить по пивным барам и прогуливать занятия. Первую сессию он, впрочем, сдал вполне прилично, и, несомненно, доучился бы до инженера, если бы не подал заявление о выходе из комсомола по собственному желанию, на том основании, что (цитирую) **НЕ ВИДИТ СМЫСЛА В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**. Когда брат Вася, бывший к тому времени, как вы догадались, секретарем того самого комитета комсомола, который должен был разбираться с его близнецом, прочел заявление, он для начала лишился дара речи на полчаса. А когда дар этот все же вернулся к нему, он произнес речь, в которой поносил близнеца матом два часа кряду, потому что антисоветский близкий родственник бросал на него самого такую несмываемую тень, что ее не мог ликвидировать даже прожектор пролетарского происхождения (папа-слесарь, мама – из сельской местности). Почти месяц Николая-негодника уговаривали по-тихому, вплоть до райкома комсомола и районного отдела госбезопасности, которые, не без содействия брата Васи, боролись изо всех сил, пытаясь спасти человека. Но, поскольку еретик Коля упорствовал в своем заблуждении, его в конце концов – нет, не сожгли на костре и не сослали в Магадан, времена были не те - а всего-лишь выгнали из передового отряда молодежи взашей (не по собственному желанию, конечно, а как недостойного носить эту высокую честь), а вскоре и из института. Потому что, как всем известно, академических знаний было для сдачи экзаменов в советском вузе, особенно по таким передовым предметам, как история партии и гражданская оборона, совершенно недостаточно. Ни на секунду не унывая, Коля прямо из деканата пошел работать грузчиком, потом ночным сторожем (сообразив, что работа это не в пример легче, а деньги те же), потом попал в армию, откуда вышел вполне сложившимся отщепенцем, который однозначно решил, что на советскую власть ишачить не будет никогда. Вася же свою стезю как выбрал, так и шагал по ней в Светлое Будущее (если не всего человечества, то свое собственное) не сворачивая. Жирное пятно, поставленное Колей в его анкете, заставило его повзрослеть в одну ночь, и он сделал свой правильный выбор раньше других, что в конечном итоге сыграло громадную позитивную роль. К тому времени, когда я появился в берлоге, Василий Онегин уже успел закончить учебное заведение, название которого не было принято публиковать в телефонных справочниках, поработать в нескольких загнивающих странах вроде Англии и Германии, и дорасти (как мне сообщила на ухо Нюша) до майора госбезопасности. Что было по престижу и другим привилегиям эквивалентно примерно полковнику ГАИ или мотострелковому генералу. Появлялся однако этот единственный в нашей берлоге представитель партии зеленых (не только в смысле цвета погон, но и в отношении заботы о сохранении и поддержании окружавшей его организацию среды, которой являлось все остальное население Страны Советов) всегда в гражданской одежде и обуви итальянского происхождения, и с бутылкой смирновской водки, и банкой крабов в портфеле типа ДИПЛОМАТ, что служило косвенным намеком на его причастность к кругам, в которые нам, смертным, вход был

наглухо заколочен. И потому напитки и снедь, приносимые Васей, поедались с ощущением причащения к культуре.

Впрочем, между братьями было таки одно различие, не фотографическое (на фотографиях, где они мальчишками играют в волейбол за команду школы, я близнецов различить не мог), а скорее в повадках. Вася смотрел на мир не поворачивая шеи. Если объект перемещался, за ним следили только зрачки (отчего лицо казалось несколько лупоглазым, особенно когда глядело исподлобья). Если поля зрения не хватало, Вася поворачивал туловище, как дискобол. Согласно наблюдению Надежды Мандельштам, неподвижность шеи было общим свойством внутренних людей в тюрьмах НКВД тридцатых годов. Может быть, у Васи это распределение подвижности между сросшейся с плечами головой и зрачками, работавшими в режиме слежения, было профессиональным качеством. Может быть, оно было генетически впитано им с молоком Матери-Родины. Но по неподвижности выи даже ночью Васю можно было отличить от любомудрого Коли, вечно вертящего башкой туда-сюда.

Однажды между братьями-антиподами вышел спор, быть судьей в котором они позвали меня. И чтоб легче судилось, первый стакан Смирновской мне налили еще до начала предварительных слушаний. Спор был о том, кто из братьев-близнецов – Коля или Вася - более русский (кто более советский, сомнений не вызывало).

- Я русский до такого предела, за которым уже просто ничего нет, – говорил Коля, качая головой при каждом слове. – Я просто не замечаю преград – а это самая русская черта из всех какие только бывают. Как Ермак Тимофеевич и иже с ним, которые Сибирь завоевали и не успокоились пока в Тихий Океан окончательно не уперлись лбами и не помыли в нем копыта коней, я прю до упора. Русский человек просто не умеет останавливаться на полдороге. Это ему претит. Только тогда остановимся, когда по башке ломом врежут, по себе знаю. И в этой нашей СВЕРХПРОХОДИМОСТИ наша сила вообще и моя в частности. Так что я самый русский из тех, какие только бывают. Тут двух мнений быть не может. Да их и не надо.
- Ты прав, друг, - сказал я Коле-сверхпроходимцу (по его собственному самоопределению, так что сказано это не в обиду ему). - Какой может быть спор? Ты самый русский из всех нас. – После чего мне налили второй стакан. Но не в качестве взятки, упаси боже, а просто для общего стимулирования.
- А теперь послушаем, что Вася скажет, – сказал Коля, выпил и приготовился слушать.
- Все, что сказал Коля, ерунда, - сказал Вася, - а больше и сказать нечего. Ему легко выступать, не имея никакой ответственности за державу, и даже за собственную жену. А кто-то же ее должен держать!
- Ты о стране или о Алenuшке? – спросила сменщица-Лена сидевшая тут же.
- Я говорю о державе. А об Алenuшке что говорить? – с Алenuшкой все ясно. Терпению ее предела нет, пока оно не лопнет с ужасным треском. А если задуматься о державе - кто-то должен же останавливать и хватать за руку! Кто-то должен же надевать смирительные рубашки и кидать в каталажку! Кто то должен же подстригать нашу клумбу, на которой то и дело сорняки самовольно вырасти из земли норовят! Кто-то должен же полоть наш огород! Державность – вот наша

исконная ипостась! Державность, которая позволяет нам держать в твердой узде других и себя. Это и есть наша генеральная линия, она и царя пережила, и коммунистов переживет, и социализм переживет, и капитализм переживет, и все и вся, что за ними последует, тоже переживет. Служение Державе – вот призвание настоящего русского. А не свобода болтать что вздумается и работать без определенных занятий. Если же поставить нас с Колей рядом и посмотреть, кто из нас более державный, сравнивать просто смешно. Разве не ясно?

- И ты прав, Вася. – сказал я. - Ты самый державный из вас двоих. А может быть, и вообще.

Тут Аленушка не выдержала и встряла. Хотя слова ей никто не давал. – Да что же это ты такое говоришь, Федя? Тоже мне Соломон Мудрый выискался! Да как же это может быть, что каждый одновременно более чем другой? Это как то очень по-русски получается. В смысле без полбанки не разберешься.

- Ты тоже права, женщина, –сказал я очень серьезно.

После диспута Аленушка отвела меня в сторонку и говорит: Мне эти споры о русскости напоминают лекции по психиатрии в нашей больнице. Зал у нас между прочим старинный, с дубовыми украшениями, и со сценой, как в театре. Если ты там не был, то постарайся попасть. Там такие студенки слушают – ты бы просто оттуда не ушел. Так вот, привел профессор наш Федор Измайлович, потомственный, кстати, отец советской психиатрии, больных, у которых была одна мания на двоих.

- Это как это? – не понял я.

- А это так это, что каждый из них считал, что он Моцарт. И по этой причине никого другого за Моцарта не признавал. Первым вышел на авансцену маниакальный Моцарт. Счастливый такой, маниакальный. Как будто только что сороковую симфонию написал. И говорит, становясь на носочки, словно как ангел, взлететь собрался: *Здравствуйте. Я Вольфганг Моцарт.* И тут второй со стула встает. Мрачный, в депрессии. Вроде как если бы в Реквием погрузился и не вылезти. Подходит к маниакальному Моцарту угрожающе и говорит: *Это не ты Моцарт. Это я Моцарт.* И так мрачно поглядел, что стало ясно: такой графином по черепу врежет и ничего за это ему не будет. Такая вот учебная лекция. Большой он был шуткарь, Федор Измайлович. Давал больным поговорить и не вмешивался. Только когда чтонибудь антисоветское происходило, тихонечно напоминал: это не я говорю. это больные говорят.

- Ну и к чему ты мне это? – спрашиваю.

- Сейчас поймешь. Смотрят друг на друга два Моцарта. Испепеляют можно сказать. И самоутверждаются в своей мании. Один говорит: я Моцарт. А другой говорит: Нет, это я Моцарт. Маниакальный Моцарт едва в воздух не взлетает, депрессивный порывается в морду врезать. Если бы не санитары, они бы друг друга поубивали.

Так и тут. Один говорит: я самый русский. А другой говорит: нет это я самый русский. А сами как близнецы. Да что я такое говорю как? Блинецы они и есть близнецы.

Послушаешь, вроде все нормально, А чуть копнешь да задумаешься - сумасшедший дом!

Самое интересное, что спустя несколько лет, начиная примерно с года восемьдесят шестого, братья Вася и Коля начали совместное дело. Причем это произошло так

естественно, что даже неясно, чья это была инициатива. Вася, естественно, был крышей и отрывателем пробивателем дыр в законах, а Коля придумывал комбинации и отвечал за их техническую реализации. Насколько мне известно, занимались они во первых, покупкой домов вокруг Невского, во вторых, импортом антиквариата, в третьих, экспортом леса. Когда Вася проезжает по Невскому на своем шестисотом мерседесе с двумя джипами сопровождения, Коля говорит: *Видите? Моя крыша поехала*. Таким образом, парадокс близнецов-антиподов разрешился сам собой. На заре пришедшей на смену перестройке эпохи загула, как и на заре жизни, Вася и Коля опять стали опять неотличимо похожи друг на друга, до того похожи, что было даже странно, как это они могли казаться противоположностями. То есть они как бы родились заново вместе со всей страной. Что опять таки было очень по-русски.

О том кто из дваждырожденных братьев-близнецов более русский, более вопроса не возникает. И без рентгена ясно: оба.

Очень Ответственная Съемщица

Когда, умывшись, я вышел на кухню поставить чайник, там уже стояла у плиты очень миловидная и очень спокойна женщина лет сорока.

- Галина Васильевна, – представилась она.
- Федя – ответил я, почему то считая себя и в возрасте Иисуса Христа молодым человеком.
- А по батюшке?
- И по батюшке Федор. У нас в роду, знаете ли, по отцовской линии все первенцы Федоры.
- Очень приятно, Федор Федорович. Я наша ответственная съемщица. Вот ваш столик. Вот ваша конфорка. Вот здесь будет стоять ваш веник. А вот в коридоре место для вашего холодильника.
- Нет у меня холодильника – сконфуженно признался я нашей ответственной съемщице. И добавил поспешно, чтоб меня не приняли за нищего бомжа или поэта, подбирающегося по мелочам – То есть пока нет.
- Тогда пользуйтесь моим, ради бога. Вот эта полка будут ваша – охотно и как то очень спокойно предложила Галина Васильевна. И замолчала, тоже совершенно спокойно. Следующий вопрос был задан только после того, как мой чайник вскипел: Вы, я слышала, на пианино играете?
- От кого слышали?
- Через стенку слышала. У меня теперь, знаете ли, будет не комната, а большой зал филармонии. За одной стенкой рояль, за другой фортепьяно.
- Вас это радует?
- Конечно, Федор Федорвич. Как же культура может не радовать? Мы ведь с вами ленинградцы.
- Культура не может не радовать, - повторил я слегка обалдело. – Я очень рад, что она радует нас обоих. Это просто поразительно.
- Да. Жизнь хороша! – искренне сказала Галина Васильевна и вдохнула воздух свой полной грудью. И замолчала. Молчала она так же естественно и спокойно, как говорила – редкое качество в наше нервное время.

- Вы наверно почувствовали, Федор Федорович, что у нас квартира в некотором роде историческая. – сказала она минут через десять.
- В каком смысле? - не без иронии спросил я, оглядывая грязную кухню – в смысле что ни дня без истории не обходится?
- В самом что ни на есть историческом, Федор Федорвич, без каламбуров. – ответила Галина Васильевна совершенно спокойно. – Этот дом был построен царским садовником, который кстати и сад за нашими окнами, выходящий на Каменноотсровский проспект, нынче Кировским называемый, разбил.
- Очень интересно, – сказал я, отметив легкость и правильность с какой Галина Васильевна строила предложения.
- В наших с вами комнатах когда то были залы, а там дальше через черную лестницу еще какая то анфилада, и комнаты для прислуги были, и для гостей, и много еще чего, чего мы с вами не знаем и наверно никогда не узнаем. Так что мы с вами, можно сказать, во дворце живем.
- Спасибо, Галина Васильевна, - сказал я иронически – теперь я лучше осведомлен.
- А тени к вам еще не приходили, Федор Борисович?- сказал Галина Васильевна столь же буднично и спокойно, как и все остальное.
- Кто? – переспросил я.
- Тени, – повторила женщина.
- В каком смысле? Вы собственно кого имеете в виду?
- Ах вы еще не знаете? Ну тогда и говорить пока не о чем.
- – и продолжила, понизив голос:
- У меня только один совет, Федор Борисович. Если они с вами заговорят, вы их не раздражайте нелепыми ответами. И вообще постарайтесь быть тактичным. Тогда все будет хорошо.
- Что будет хорошо? – переспросил я.
- Все будет хорошо, Федор Федорович.
- В ее безумии есть логика, – подумал я.
- А не влияет ли на астральный климат в нашей квартире то, что Кирова убили в доме через дорогу. Как вы думаете? – задал я наводящий вопрос, слегка провоцируя.
- На этот счет у меня нет никакого мнения, Федор Федорович. И кстати, вот еще что. Вам будет полезно иметь в виду, что в нашей квартире не бывает проблем.
- То есть как это не бывает? Совсем не бывает? – обрадовавшись перемене темы живо заинтересовался я.
- Да я бы сказала, что совсем.
- Никаких и никогда?
- Никаких и никогда.
- Так это же прямо рай какой то!
- Рай не рай, а покой наличествует.
- Так таки и покой, – с сомнением покачал головой я, вспомнив известные слова о том, что покой нам только снится. Потом припомнил встречу с Онегиным в плавках. А также визит к соседке с непредумышленным Валей железные зубы. После чего информация о покоей в квартире показалась мне несколько преувеличенной. Вообще эта ответственная съемщица был очень была похожа на загипнотизированную.

- Абсолютный покой, Федор Федорович – повторила Галина Васильевна, прислушиваясь к крикам, доносящимся из ванной. Я тоже прислушался. Кричали два человека, голос одного из которых был женским, а другого – мужским.
- Драки бывают, пьянки бывают, а проблем не бывает. – закончила свою мысль Галина Васильевна очень спокойно.
- А, тогда понятно. В рамках вашего определение понятия ПОКОЙ проблем нет. – догадался я. – И быть не может.

Галина Васильевна всплеснула руками.

- А какие могут быть у нас проблемы, Федор Федорович? Ведь у нас в квартире что замечательно? Что никому ни до кого нет дела.

Я вздрогнул.

- Так таки никогда и никому?
- Никогда и никому. Подумайте, Федор Федорович: разве это не счастье?
- А ведь неглупо, – вдруг понял я. И спросил:
- Ну а как насчет коммунальных платежей?
- У нас все просто. Я до копеек вычисляю кому что и за сколько платить и вешаю вот на этот гвоздик. Все знают что я никогда не ошибаюсь, я ведь, Федор Борисович. бухгалтер. Так что каждый проверить может. А деньги все сюда кладут к двадцать девятому числу каждого месяца. Вот в этот ящик в моем столе.
- Так просто в открытый ящик? – внутренне ахнул я.
- Ну конечно. В общую кучку – кому сколько положено столько и кладет.
- Даже без конверта? Или хотя бы бумажки с именем?
- А зачем? Кто сколько должен тот столько и положит. А как же иначе?
- А если у кого то нет денег до получки?
- Значит, займет, Федор Борисович. У нас всегда у когонибудь есть деньги, иначе не бывает. Так что я всегда плачу за всех в срок.

Но я не отставал.

- Ну а не бывает такого чтобы ктонибудь... я не скажу из жильцов... но из гостей – деньги, как бы это сказать, позаимствовал из этого ящика...?
- Как это: позаимствовал?
- Ну чтобы отдать когда появятся. Или вообще не отдать. Вы может быть слышали, что в нашей стране пока еще есть нечестные граждане?

Галина Васильевна всплеснула руками явно обиженная возможностью такого предположения.

- Что вы Федор Федорович? У нас в квартире и не отдать?

Я не стал разочаровывать женщину.

- Ну что ж, отлично, Галина Васильевна. Значит и я буду класть деньги двадцать девятого числа каждого месяца. Вот в этот ящик. Ровно столько, сколько будет начертано под этим гвоздиком.
- Разумеется Федор Федорович. Только пожалуйста, по возможности без сдачи.

Тут Галина Васильевна закончила приготовление чего то и ушла с кухни. А я обалдело стоял и смотрел, как моя шипящая на сковородке глазунья превращается в сгоревшую черную массу – смотрел, не в силах пошевелиться.

Люди и Статуи

Утром нашего первого утра в Берлоге продрали мы с Верочкой, как выразился бы я о себе, если бы писал не летопись, а былину, ОЧИ СВОИ ГОЛУБИНЫЕ, и дружно, как птички, уставившись на задницу Геракла, как венецианский дож на Венецию, или парижский художник с Монпарнаса на Эйфелеву Башню, не в силах оторвать от нее глаз. Этот зад неизменно притягивал взор не только в первое утро и не только наш, но и всякого у кого он на него падал. Было в этом притяжении взгляда к заднице в этом что то хтоническое, уходящее не вглубь веков и даже не всего лишь тысячелетий (о, какой тонкий слой цивилизованности был нанесен на челвоеческий мозг со времен пирамиды Хеопса, если смотреть на него из подсознания! Напротив, глядя с зияющих вершин разума на подкорку именно он, разум, кажется вселенной, а подкорка всего лишь тонким слоем, под ним или над ним сказать трудно ибо зависит от состояния первого, но в любом случае чем то вроде масла на бутерброде. Это утреннее размышление, кстати пришедшее мне в голову во время созерцаия задницы основателя олимпийских игр, примиряет Эйнштейна с Фрейдом, теорию относительности с психоанализом и профессора с пахарем, и могло бы быть названо теорией относительности сознания, при котором собственное я, откуда бы ты на себя и на мир ни смотрел, кажется инвариантом). Взгляд человека на задницу несомненно является таким же рефлекторным и будящим нечто, как мужчины на сосок женщины, да и на женскую груди в целом. Не случайно, ох не случайно! что первым достижением цивилизации, задолго до дваждыдвачекрыре было сокрытие этой во всех отношениях достойной и удивительной части тела от глаз. Причем сокрытие это упорно и более повсеместно, чем женское лицо параджой. Чаплин ненароком заметил: если вы хотите вызвать рефлекторный смех, дайте человеку по заду и вы увидите, что будет с залом! Еще более удивительно то, что столь же рефлекторный смех вызывает даже не прикосновение, а простое упоминание о говне. Чему в этом повествовании у нас еще не раз будект возможность убедиться.

Думаю, никто за последние тысячу лет не смотрел на зад по утрам каждый день с такой регулярностью и упорством.

От мыслей, уводящей от истоков в глубины и наоборот, меня оторвала Верочка.

- Как было бы хорошо, если бы сейчас кто то принес кофе и этим кем то не была

бы я – мечтательно и лигквистически поразительно точно для пробуждающейся афродиты промолвила она, потягиваясь своими дивными тонкими ручками, увидев которые своевременно, Ботичелли – я в этом ни на минуту не сомневаюсь - оторвал бы для своего рождения Венеры с руками и ногами. Промолвила - и открыла рот. Потому что не успела она договорить эту фразу (!), как в комнату вплыла женщина в незастегнутом ни на одну пуговицу бардовом халате с подносом, на котором дымились две маленькие чашечки, несомненно с кофе а не с чаем или цианистым калием, потому что чашечки была маленькие а лежали в верочкой в то утро не в Японии самураев и не в Венеции Тициана. Кофейную церемонию дополнял граненый стакан с сахаром и поднос, при ближайшем рассмотрении оказавшимся кухонной доской, с фигой вместо ручки (тончайшей, кстати сказать работы!), подаренный, как я узнал впоследствии, Толей к Ньюшиному тридцатипятилетию. И произошло это явление кофе так внезапно и так мгновенно, как если бы кто-то там наверху (а может быть геракл в стенке, который сверчеловечесим образом мог слышать не только ушами?) организовал его нам.

Еще одна, точнее две, особенности явления женщины привлекли мое внимание. Она не шла, а, как сказали бы в древности на руси, плыла павой. При этом ни на одну пуговицу не застегнутый халат ее то и дело открывал и закрывал часть тела, столь же тщательно скрытую в цивилизованном обществе, что и удостоенная рассуждения в предыдущем абзаце, а также груди. Ее длинные волосы также летели следом за ней, как за летящей королевой из сказок – шлейф. Прекрасная и беломраморная, на казалась ожившей статуей, на которую по недоумию надели халат. И я не сразу сообразил, что не статуя это, а соседка, которую звали, как я не без усилия припомнил, Ньюша у которой только вчера вечером мы были на рюмке чая.

Только после того, как Ньюша исчезла, не только из комнаты, но и вообще, я осознал, почему она постоянно навеивала ассоциации с античностью и вообще язычеством. Длинные волосы отличаются от коротких так же, как тога от костюма, сшитого портным. Волосы уложенны парикмахером до новой стрижки, а драпированные одежды – как и длинные волосы – живут и меняются при каждом шаге. Их надо уметь носить! Это наблюдение в полной мере относилось и к манере Ньюши носить халат. И было в нем не только ощущение своей естественной связи с природой, которое поверхностным наблюдателем могло быть ошибочно принято за бесстыдство. Но и появление чего-то нового на каждом шаге, не такого, как при всех предыдущих. Опять таки рефлекторно притягивавшего взор, как море или созерцание огня в печке. Не удивлюсь, если модельеры, или как теперь говорят, кутюрье, ознакомившись с этим вполне впрочем научным моим наблюдением, сделают халат а-ля ньюша гвоздем какогонибудь весенне-летнего сезона. В таком случае я бы не отказался: не от лавров, а скажем, всего лишь от одного процента дохода с этого кутерьы.

- Я не помешала? – не то спросила, не то сообщила Ньюша с мягкой архаической улыбкой на краешках губ. За которой чувствовались – то именно чувствовались, не более, меланхолия самодостаточности и скрытая до поры до времени эротичность одновременно.

Ньюша подвинула к нашему ложу стул, поставила на него чашечки и сахар, погладила – сначала пододеяльник, потом меня, а потом и самое Верочку, но не вульгарно, а отстраненно, как наверно, гладил Психею Амур или Магдалину ангел, и медленно не то улетела не то уплыла из комнаты.

И после того, как Ньюша исчезла, за ней еще некоторое время летели ее волосы и ее халат. Куда там чеширскому коту, улыбка которого существовала несколько секунд после того, как остальное тело исчезла. Улыбка Ньюши никуда не исчезла. Она и сейчас со мной, хотя самой Ньюши давным давно нет. И все время, пока мы с Верочкой пили кофе, переводя глаза с чашечек на центр тяжести геракла, с него друг на друга, потом опять на чашечки, с нами был запах Ньюши, такой? Господи, ну как передать запах словами? Ну как если бы духи Шанель были созданы по рецепту Бородина.

БЕРЛОГА В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Милые Интеллигентные Люди

Под Новый год приехал ко мне из Риги друг по имени Илья. Огромный красавиц с спокойными плавными движениями (который, кстати, сам того не заметив, произвел неотразимое впечатление на мою кухню. Что случилось в первый, и, как теперь, спустя двадцать с лишним лет, стало ясно, последний раз в ее жизни. То есть ей, субливной петербургской девушке, разумеется, и раньше нравились существа мужского пола. Но это были все здоровые мужики с хриплыми голосами, как правило крепко пьющие, с, говоря словами поэтэссы, с набалдашниками лиц, при взгляде на которых рядом с ней становилось грустно и ясно, что против подсознания не попрешь. А тут впервые подсознание моей четвертинки (имевшей, как легко подсчитать, со мной четверть общей человеческой крови) переключилось и сработало как надо. Но Илья на этот протуберанец подкорки не отреагировал, кажется, даже не заметив его, как и самое мою безутешную кухню, и исчез: сначала из Петербурга, а потом и вообще). Действительно, от Ильи исходил свет - если не святого, то блаженного, который ощущали все, кто с ним соприкасался. Достаточно сказать, что по воскресеньям он с двумя друзьями приводил в порядок заброшенные могилы на кладбище, просто как доброе дело и совершенно бесплатно. Что у властей, естественно, вызвало сильное раздражение и подозрения в его умственной, политической и иже с ними психической полноценности. Засим, а также по совокупности подобных описанному преступлений, Илья лишился работы за идеализм и был на грани не очень мягкой посадки, но тут, как тогда говорили, завыли голоса из-за рубежа, и они вынужденно передумали, что дало возможность многострадальному Ильюше посетить меня, как выяснилось, на прощание, ибо больше никогда в жизни я его не видел и вообще потерял человека из виду. Как в воду канул.

Но это было, повторяю, потом. Тогда же приехал Илья в Ленинград вдвоем с другом на старом-престаром Москвиче отдохнуть от заботы, которой его его страна окружала щедро и неусыпно, да и просто пообщаться городом, далеко не самым худшим из существующих в мире – в самом деле, почему бы и нет, точнее, почему бы и не да?

После краткого завтрака, прошедшего в обстановке товарищества и полного взаимопонимания между нами троими, я отдал красавцу Ильюше ключи от Берлоги, объяснил где и чего, и предупредил (как делал это со всеми гостями, независимо от того, собирались ли они провести в берлоге пять минут или пять недель) что в этой квартире

бывает всякое, поэтому очень важно чтобы он ничему не удивлялся и по возможности ни во что не вмешивался. А в крайнем экстренном случае немедленно звонил мне по такому то номеру.

Через два дня, а именно ранним утром первого января Нового, одна тысяча девятьсот восьмидесятого года Илья, как и было запланировано, отбывал назад в свою Ригу, где его уже заждались - могилы и власти. Поутру первого января я приехал в Берлогу после праздненства во всех домах творчества поочередно, часов в шесть утра, как договаривались – проводить и посидеть на дорожку. Пока друг моего друга разогревал во дворе (в котором обычно стояла очень живая очередь со сдаваемыми бутылками, но поутру пункт был закрыт и двор был тих) *Москвич* и производил другие манипуляции пытаюсь заставить сдвинуться с места своего железного друга ⁹, мы с Ильюшей сошлись на завтраке, как человек и дельфин соприкасаются на мгновение над водой в подобии поцелуя.

Илья вернул мне ключи, с благодарностью и таким комментарием: “Не знаю, зачем ты меня предупреждал. Очень приятная квартирка. И жильцы как на подбор - милые, интеллигентные люди”.

Мне было приятно услышать мнение постороннего, да к тому же светлого и чистого душой человека о Берлоге. Я проводил ребят до машины, которая разумеется, завелась (Причем на мой одобрителный комментарий по этому поводу друг моего друга пробурчал: “Да что ж, мы не русские, что ли?) помахал рукой, вернулся в Большую Берлогу, за ней в мою, малую, лег – и сразу заснул, точнее провалился. Проснулся же я оттого, что меня кто-то гладил. Не как штаны утюгом, со всей силы, а нежно, едва касаясь, и именно такие прикосновения напоминают, что и на земле бывает рай, для обретения которого человеку нужно не так уж много. В то утро чувства возвращались ко мне по одному, и вторым после осязания я начал слышать. Где-то что-то еле слышно играло, и не чтонибудь, а маленькую ночную серенаду Моцарта. Третьей в то утро ко мне начала возвращаться способность мыслить. *Ночной эфир струит зефир* – подумал я, путая спросоня и с перепоя все на свете.

Четвертым номером в программе моего пробуждения было открытие глаз. Открыл я очи свои голубиные с бодуна, протер их, как близорукий очки, только, разумеется, не батистовой тряпочкой, а кулаками, и мало помалу узрел, что у моего изголовья сидит Нюша, как обычно, в бардовом халате на голое тело не застегнутом ни на одну пуговицу, смотрит на меня всего с нежностью, и гладит, гладит.

⁹ Автомобиль Москвич, несомненно, один из самых нелепых в мире. Достаточно сказать что трамблер у него помещен прямо под радиатором, как нарочно для того, чтобы его заливало дождем, что и происходило регулярно, и ,кажется, происходит с этими старыми проверенными железными клячами по сей день. Это местоположение зажигания оставалось неизменным на протяжении по крайней мере двадцати лет и при каждой очередной остановке по причине очередного дождя, чертыхаясь, я поражался одному и тому же: чем на этом заводе вообще занимаются инженеры). Русские народные умельцы нашли, разумеется выход, и стали надевать на трамблер резиновую перчатку, у которой, как известно, ровно пять пальцев, как раз на четыре фазы и главный провод. Что делает честь находчивости русских умельцев, обещающей поднять Россию на гребень цивилизации – но не ее конструкторам, работающим коллективами.

- Ты бы лучше водички попить дала, – попросил я, постепенно обретая последний по времени дар данный человеку богом, который, к сожалению, чаще всего пропадает даром, а именно – дар речи.

Попил из носика сами понимаете чего – и узнал от Ньюши, как Шархияр от Шарехезады, только не ночью, а поутру (и замечаю кстати во избежание кривотолков, не до и не после телесной близости, а вместо нее), что происходило за два дня и две ночи моего отсутствия в квартире, населенной, по определению Ильюши, *как на подбор исключительно милыми и интеллигентными людьми*.

В первую же предпраздничную ночь (с тридцатого на тридцать первое декабря) Витины приятели проголодались и обчистили холодильник Галины Васильевны стоявший в Корридоре, подчистую. Разумеется, они собирались вновь наполнить его под завязку при первой возможности, просто не довелось, не судьба. Но это была такая мелочь в потоке текущих событий, что Ньюша даже извинилась что упоминает о подобной чепухе. И загладила свою неловкость с удвоенной нежностью.

Вечером тридцать первого у ребятишек из Витькиной компании кончилась водка и они пошли на заработки на ночь (и не на какуюнибудь, а на новогоднюю ночь!) глядя. Но в тот год Витька был еще школьником, и дружки его были пока что сопляками, хулиганчиками чрезвычайно низкой квалификации (мафиозной группировкой, контролирующей один из центральных районов города, тогдашние пацаны, выросшие и окрепшие, стали лет десять спустя). Тогда же действовали они так непрофессионально, что впоследствии Витька не мог вспоминать об этом своем дебюте не покраснев (что, впрочем прибавляло его лицу не застенчивости, а румянца). На Кировском проспекте, в трех минутах от дома, детки сняли каракулевую шапку с какого то первого попавшегося им на пути танкиста-полковника. Шапку то они сняли, а убежать сумели не все. Полковник оказался не робкого десятка, схватил одного из мальчиков железной хваткой и держал до тех пор, пока не подросла милиция. Ребята действовали так любительски, что даже не порезали полковнику глаза – о чем потом вспоминали со стыдом. Дальнейшее происходило как в детективном фильме. У полковника, субя по всему, руки были не только крепкие, но и длинные. Потому что операция по отлову убежавших была проведена с размахом, образцово показательно, с выездом на патрулирование окрестностей всех имевшихся автомашин и выходом всего наличного перед новым годом состава. Мальчики почувствовали, что дело пахнет керосином, и попрятались кто куда мог. Кто-то из убежавших позвонил в Берлогу вопреки строгому запрету Сани, предупредить об опасности, и это было сделано чрезвычайно вовремя. Ибо в том момент, когда в входную дверь раздались решительные звонки, дверь на черную (а в действительности беломраморную) лестницу уже открывали заранее заготовленным ломом, и все слиняли через нее, причем отступавший последним, как капитан с тонущего корабля, Саня, закрыл ее снаружи на заранее заготовленный засов.

- Так что с вчерашнего вечера я живу без сына – сказала Ньюша грустно, - а в моей комнате – она, неожиданно перешла на шопот,

- в моей комнате... в моей комнате...

- Что в твоей комнате, Ньюша?

- В моей комнате сидит засада.

- То есть как? И сейчас сидит? – изумился я и от удивления сел – Не может быть.

- Пойдем, покажу.

- Ну, покажи, – согласился я, и приготовился надевать штаны. Но не успел. В это самое мгновение сквозь открытую дверь Берлоги, как в кинотеатре, я увидел сержанта милиции, ведущего по Корридору в направлении лестницы Леху, у которого я снимал комнату и которому исправно платил пятого числа каждого месяца сороковник. Сержант шел за Лехой и вел его, придерживая рукой сзади за горло и время от времени сдавливая оное и не давая нормально дышать. И в самом деле: право дышать не записано в декларации прав человека, так что никакого нарушения международных конвенций в Корридоре Большой Берлоги места не имело.

Лицо у Лехи было задумчивое и багровое. Если бы не мент, следовавший за ним, как тень за Гамлетом, можно было подумать что он погружен в глубокие раздумья о судьбах мира.

- Ну чего, пошли? – напомнила о своем существовании Нюша, ласково прикоснувшись ко мне, и не обращая внимания на тот факт, что штаны мои продолжали висеть на стуле. Надо отдать ей должное, Нюша была выше застенчивости. Ее прикосновения также были совершенно особенными, такими, которым обучить нельзя, этот дар у женщины или есть, или нет.

- Я решил поверить тебе на слово, Нюша – ответил я после некоторого раздумья. – Так будет лучше для нас обоих.
- Ну как знаешь... - Нюша опять села на кровать, и возобновила глажение меня, а я опять лег.

-И что же потом было, Нюша?

Ну, конечно, была кой какая заваруха. Санька дал ребятам пизды, дескать на дело ни одного из таких мудил в жизни больше не возьмет и даже не пошлет шестерками. И тут звонок в дверь. Потом стук. Потом грохот. Потом ломиться стали. Пока я открывала и отвлекала ментов халатом, который никак не хотел запахиваться, дети открыли по быстрому черный ход ломом и убежали.

- Об этом ты уже рассказала.
- Вот и хорошо что рассказала. Значит, не вру. Когда все ушли, так сразу тихо стало – как в Англии... Остались мы в комнате вдвоем с Валентином. Плюс два мента. Документы у нас проверили. Валентин вызвал у них подозрение, не столько даже справкой о выписке из тюрьмы, сколько своими сатиновыми трусами. Потом внимательнее комнату осмотрели, и сообщили, что будут в засаде сидеть до победного конца.
- А ордер предъявили? – спросил я.
- Какой там ордер? “Сиди, - говорят, - маманя и не чирикай”. Что тут поделывать? Сидим на тахте с ментами, как молодожены со свидетелями. Валентин, как обычно, в трусах. Я как, обычно, в халате. Менты с наручниками, дубинками и вот такими пушками на боку. А Новый Год все ближе и ближе. Куда уж дальше!
- И что же, так и встретили Новый Год с засадой? – спросил я, и подумал, что если бы Гололя на мое место, он бы непременно изобразил.
- Бог спас, – сказала моя Шехерезада и почему-то перекрестилась.- Входит вдруг Ночная Рубашка, и говорит: *идемте к нам. У нас хорошо.* Мы и пошли. Благо недалеко. Да уж куда ближе – дверь в дверь – пробурчал я себе под нос.

- Мой Валентин по случаю Нового Года даже штаны надел. И рубашку с галстуком. Взял магнитофон Астра под мышку для веселья. Мы и пошли.
- А у Коли и впрямь дым столбом. К нему братан- близнец пришел, такой на него похожий, что Валентин думал, что у него в глазах опять двоится от перепоя стало, как уже два раза было, сел и стал ждать появления чертиков. Но братан этот на Кольку похож только внешне, а вообще то он весь из себя положительный, семейный, в общем майор КГБ. Мой Валька когда понял, что трезвый и что не в глазах у него двоится, а природа-дура раздвоилась шутки ради, и что поэтому он может пить без проблем, воспрял и стал приставать к этому братану Васе что он сволочь. “Ах ты, говорит, компетентый орган, который даже назвать неприлично. Такие говорит, суки как ты, русскому народу жить не дают. И Нюшке жить не дают. И Кольке жить не дают. И Анатолию Михайловичу жить не дают. И мне жить не дают. И тебе, суке, жить не дают.” Братан и так его утихомиривал, и этак – а мой Валентин ни в какую.
- Погоди, - говорит мой Валька братану, - придет наш час – всех вас, лягавые, приговорим.
- Ну и как Нюша? Думаешь, придет такой час? –тревожно спросил я.
- Как же, жди... Это Валентин спьяну, да еще под Новый Год размечтался. А вообще то он у меня тихий, мухи под мухой не обидит.
- Знаю, знаю... Это они что же, значит, спорят о судьбах России, твой Валька отсидевший за непредумышленное и майор из органов, может быть, самолично его посадивший, а за стенкой засада ждет?
- Ага.
- То есть и сейчас сидят?
- А куда они денутся? У них, блядь, присяга.
- И... чего делают?
- Не знаю. Сейчас погляжу. – ушла и мгновенно вернулась, как не уходила. - В дурака режутся. И меня, предупредили, чтоб не смела сына предупреждать – такие паскуды. А то говорят, в такую тьму таракань тебя укатаем, куда Макар телят не гонял. А сами совсем еще мальчишки, пушок на щеках, ничего в людях не понимают. Особенно старший. Нашли кого тьмой тараканью страшать. Это просто смешно.
- В самом деле, очень смешно – подтвердил я. - Ну и что было дальше?
- Новый год был дальше. Бой курантов. Шампанское. Ну а потом по полной программе.
- А менты из засады? Неужели вы их не угостили?
- За кого ты нас принимаешь? Мы что, не русские, что ли? Колька всунул в райок морду и бутылку, менты и пошли за бутылкой, как лошади за сеном. По стопарику налили, как людям. А как же иначе?Потом все пошли к Галине Васильевне смотреть по ее телевизору спасскую башню, чтоб новый год ненароком не проморгать. Послушали поздравление Леонида Ильича. Выпили за Новый Год. Почекались. Пожелали друг другу счастья.
- А потом?
- Потом магнитофон Астра играл. Танцевали. А потом Колька вспомнил, что на восьмидесятый год при Хрущеве было назначено начало второй Стадии коммунизма. Которую Брежнев вроде не отменял. Сел перед экраном и стал ждать, что коммунизм объявят, и был наготове бежать первым очередь в магазине занимать с программой

партии в руках, потому что все должно было быть, согласно обещанию, по потребностям, а потребности у него большие. Но никто кроме Кольки об коммунизме не вспомнил. Заначили они коммунизм. Все об олимпиаде да об олимпиаде, а о коммунизме ни слова. Да и терминология у этих начальничков, скажу я тебе. *Вторая стадия коммунизма*. Звучит, как вторая стадия сифилиса. Ну никакой культуры!

- Ну а потом? После того, как открытие коммунизма заначили?
 - А потом менты извинились и ушли в засаду. “Извини, маманя, - сказал тот, что помоложе: здоровый, кстати сказать жеребец, - надо свой долг выполнять. Такая уж у нас судьба. У каждого из нас свой долг. У тебя свой, а у нас свой. Но, - говорит, - маманя, обещаем: пацану твоему ребра ломать не будем. Только скрутим и все. А вот за остальных – не ручаемся.”
 - Да какой говорю, разговор? Об чем – говорю, речь? Долг есть долг. Только, говорю, вы моего пацана с другими не перепутайте. А то я, как маманя, вам яйца оторву.
 - Ну и как им там их долг выполняется?
 - А чего им сделается, жеребцам? У меня батареи горячие, плюс нагреватель, тепло как в раю. Если б волкодавки не обезумели, могли бы в потолок плевать и жизнью наслаждаться.
 - Какие еще волкодавки?
 - Разве я тебе не говорила? Вчера притащил Славка Голова двух своих волкодавок. С которыми он все праздники справляет. Они говорит, мне, как сестры. Ну а когда ребята разбежались, и Славка, и Санька, все! - суки эти совсем обезумели. Они ведь людей чувствуют, не то что некоторые. Знают, кого за горло хватать и кому руку лизать, кому яйца отрывать а кому в глаза глядеть.
 - И что же волкодавки? Кусать ментов стали?
 - Зачем кусать? Они же, суки а не дуры. Тем более что менты их прикормили из Холодильника Галины Васильевны и с ее разрешения (Бедная Галина Восильевна! Как Христос семью хлебами, пол города из своего маленького холодильничка и своей маленькой зарплатой подкармливает, – подумал я – А тут еще и этих волкодавок впридачу!) Так что они никого не покусали, суки эти. Наоборот –в угол забились. Воют басом, но из комнаты не выходят. Не дуры, опять же, а суки.
 - Да это же просто позор на всю породу! – возмутился я.
 - Ничего не позор. Они умнее поступили. До того обезумели, что... что...
 - Что, Ньюша?
 - Что срать стали.
 - То есть как это?
 - Обнаковенно. Сначала по углам насцали, а потом в самом центре по куче наложили.
 - Центре чего?
 - Территории. Это у них так по собачьи положено: по краям нацать, чтоб пометить, а в центре - кучу. Чтоб уважали. У людей, как я заметила, это тоже бывает, не только у собак.
 - Да что же эта за территория, в центре и по краям которой они... то что ты сказала?
 - В центре моего райка, разумеется. А ты думал, в центре Ленинграда?
- Я рефлекторно расхохотался. Почему упоминание о человеческих экскрементах вызывает рефлекторный смех, не знаю, но это факт.
- Так менты что же, сидят в засаде, как в нужнике?

- Не в нужнике, Федя, а в говне они сидят. – очень серьезно поправила меня Ньюша. - Это большая разница. Ты нужник не обижай. Нужник это культура. Цивилизация.
 - И они терпят?
 - Ага. Даже в сортир не выходили.
 - Может и они в общую кучу добавили? – предположил я.
 - А чего ты смеешься? –удивилась Ньюша - Я даже на мгновение в этом не сомневаюсь. “Смешались в кучу кони, люди” –подумал я ни к селу ни к городу. И отогнав классическую параллель, как совершенно неуместную, для чего потряс головой, спросил:
 - И что дальше?
- Да куда ж дальше?
- И в самом деле: куда? Начиналась какая то совершенная фантасмагория. Ничего себе начало нового годика! Я огляделся. За окном безмятежно падал снег. Ньюша гладила меня по голове и другим частям тела. Заглушая Моцарта, как глушилка голос Америки, откуда-то слышался безумный вой нескольких собак сразу, внося свою лепту в Советскую гармонию, которая, как известно, не может существовать если в ней отсутствует диссонанс.
- Так засада что же, все, что ей на роду написано, нюхает и в дурака играет? – сам себя спросил я, не без удовольствия вообразив в картине верной уединенный кабинет.
 - И пусть нюхают. – злорадно сказала Ньюша - Я говно убирать за теми, кто моего сына на пол положить собираются, не нанималась. Но за ментов ты не бойся. Они приняохались, работа у них такая. Они поди и запаха то родной конюшни не замечают. Ассенизаторы развитого социализма! Человек это, я тебе скажу, Федя, такая приспособляемая скотина, которой нет равной в живой природе, потому и доминирует над всеми прочими, а вовсе не потому что он умнее. Насчет большого человеческого ума это вообще очень сомнительно.
 - А твоя комната случаем не провоняет после этой засады? Как жить то в ней будешь, Ньюша? – спросил я тревожно.
 - А мне чего? Пока что я у Коли поселилась. А там – где наша не пропадала?.
 - А потом, когда домой вернешься? Не век же засаде сидеть?
 - Мы люди русские, Федя и не к таким к запахам привыкшие – сказала Ньюша, почему то посерьезнев. - Тем более к натуральным. Меня ведь в зоне Королевой Говна звали. Еще когда совсем девченкой была. При всех на параше сидела. И при Берии, и при Абакумове. А горшок что? О горшке я и мечтать тогда не могла. Так что видно мне по гроб из говна этого не вылезти. А коллективно и всем нам. Включая, извини за откровенность, тебя.
 - Да чего там...Ну и было еще что нибудь интересное за ночь? Или это все? – спросил я, круто сменив тему после того, как обнаружил, что разговор приобретает несвойственный новогоднему празднику мрачноватый уклон.
 - Да пожалуй что больше и ничего. Часам к четырем утра все, натурально, перепились, и натурально брататься стали. Но мой Валька, конечно, маленько перебрал даже на фоне остальных, которые как ты знаешь, тоже не трезвенники.
 - Падаль вы все, – говорит мой Валька – Только один ты, Вася – человек, который на мужчину похож, остальные все падаль. Не буду пить с вами. Пиздец. Ухожу.
 - Останься с нами, Валентин, - остановил его было Братан Вася, но Валек только головой покачал.

- Фиг я с вами останусь.

Подошел к двери. И остановился.

- Чтоб я из двери вышел через которую вы, падлы, проходили? Да ни в жизнь! Ее теперь, как часовню, от вас очищать и освящать заново надо.

- Так куда же ты отсюда выйдешь? – спрашивает Коля заинтересованно. – или ты у меня прописаться собрался?

- Куда? В окно выйду.

Подошел к окну, раскрыл с треском и занес ногу. Тут все замерли, только Колька с братаном переглянулись, как два отражения – будто между ними невидимое зеркало вставили. А мой непредумышленный Валька тем временем становится на подоконник ко всему как бы готовый. Ну тут Колин братан, самый трезвый кстати, не даром в КГБ работает, их не пьянеть там, говорят, тренируют и бесплатно напиваться в интересах государства дают, говорит сдержанно, сквозь зубы:

- Валя, не дури. Выйди в дверь, как люди.

И глазами насквозь Вальку так и пронзает. Этому взгляду их там тоже обучают, рентгену этому. Они нутро видят, а наружность из поле зрения выпадает. Не лицо видят, а череп. И ему подобные внутренности. Другие люди!

- Ну а что Валентин? – спросил я, заметив, что беседа уплывает по волнам философии куда-то в сторону.

- А это ты нюхал? - спросил мой непредумышленный Валя, поднеся к самому носу Василия -близнеца кукиш. Довольно, кстати сказать, замусоленный. Васька до того обалдел, что кажется, и впрямь понюхал. Вот что с людьми страх делает! С ним, кагебешником, думаю, так круто с детского сада не разговаривали. Но он статью Валентина знает, понимает, что мужчина вспыльчивый, поэтому держится без возмущения, чтобы не спровоцировать. Потому что, если топором по голове хватят, красную книжечку и лацканы отворачивать будет некому. И выдержка чекисту помогла. А может быть, даже спасла. Валентин оторвал взгляд от Василия. Обнял Аленушку за груди. Мне кулак показал, держись мол, Нюшка. Поцеловал близнецов близнецов врасос. Может, чтоб никого не обидеть на прощание. А скорее чтоб быть уверенным наверняка, что не ушел с Колькой не попрощавшись. Потом опять обнял Аленушку Опять мне кулак показал. Поцеловал Васю. А Колю не стал. Наверно, ошибся спьяну. Помрачнел – ну прямо мрачнее тучи. А потом поднял голову как мне показалось горделиво, чего за ним ранее не замечалось, и занес ногу наружу...

- Куда? - переспросил я.

- Наружу.

- Наружу чего?

- Наружу окна. Неужели не понятно?

- Понятно то понятно, но я хотел уточнить. Больше отвлекать не буду, клянусь.

- На чем я остановилась?

- На занесенной ноге.

- Да. Занес, говорю, ногу. Наклонился, как будто по воздуху идти собрался. Тут Коля его остановить попробовал.

- Не искушай судьбу, Валька, – процедил он сквозь зубы. Ты же не Христос который по водной глади яко посуху.

- А сейчас посмотрим, Христос я или не Христос, – говорит мой Валька мрачно. - Всем вам , падлы, покажу, кто я. И кого не ценили.

Такая у него вдруг прорезалась не-поймешь-что: не то мания величия, не то комплекс дурацкой неполноценности. Совсем уже было собрался, казалось, уйти и полететь – но в последний момент опять замер.

- -Что я у вас забыл? Что то я у вас забыл? Ах да, магнитофон. Все заберу с собой, суки. Ничего после себя не оставлю!

Вернулся в комнату. Взял магнитофон Астру с тумбочки под мышку, поднялся на подоконник и вышел в окно.

- Куда вышел? – переспросил я.

- Я же говорю, в окно.

- Да у нас же третий с половиной этаж, и в каждом потолки считай метров по пять – в ужасе констатировал я.

- Да, задумчиво сказала Нюша, подняв свои голубые глаза к небу - высокие у нас потолки – и вдруг спросила – Кстати, Феденька, у тебя портвейну случайно нету?

- Да я ж только приехал. Гости у меня были. Откуда после Нового Года портвейны?

- Да да, помню. Были у тебя гости. И у меня были гости. Да ты спи. Я к Толе пойду, я у него еще в этом году не была. Может у него есть? Как ты думаешь?

С этими словами Шехерезада моя, прекратив дозволенные речи, встала и ушла, оставив дверь комнаты, в которой я лежал под одеялом в чем мать родила, открытой, очевидно, спутав ее на минуту с своим тронным залом - сортиром. Квартира гуляла. Засада сидела. Коммунизм строился. Неумышленный убийца решил, что он больше чем спаситель, ибо спаситель все же не прыгал в пропасть, считая это искушением дьявола, а шел по воде, что тоже немало, но все же сравнительно менее вызывающе. Все шло как обычно, и я начал даже было дремать. Но не довелось. В поле моей видимости, просматриваемой через двери Берлоги, как на киноэкране появилась какая-то девочка лет двенадцати, в сером старушечьем платке. Остановилась между моей и Толика комнатами, поколебалась мгновение, как буриданова ослица, куда ей стопы направить, и повернула налево. Ступивши же на границу, отделявшую стружки от паркета, остановилась и пролепетала:

- Простите, это не от вас тут выпали?

- Я не падала, – раздался голос Нонны. - А ты, Нюша?

- И я не падала.

- Я не падала, Нюша не падала и Толик не падал. У нас никто не падал.

- Тогда я пойду в квартиру над вами спрошу – сказал девушка и направилась к двери.

- Постой ка. А чего это ты по квартирам ходишь? – раздался подозрительный голос Толи. – Ты чего высматриваешь? Уж не наводишь ли кого?

- Да не высматриваю я ничего. Просто там внизу человек лежит, как раз под вашими окнами. Но коли от вас не падали...

- Я не падала – сказала Нонна. - А ты, Нюша?

- И я не падала.

- Вот видишь. Я не падала, Нюша не падала и Толик не падал. У нас никто не падал.

Девочка понимающе кивнула, затянула потуже на подбородке платок и направилась к двери. И вдруг я услышал отрывистое, как на войне, приказание Толика: “Стой. Стоять, говорю!” Потом на том же как бы экране, в отдалении, я увидел, как Толик с треском раскрыл заклеенное на зиму окно, высунулся из него по пояс и ударил себя ладонью по лбу. Да как звонко!

- Точно. Он!

- Кто? - спросила Нюша отсутствующим голосом.
- Как кто? Твой Валька!
- Ну да, – сообразила наконец Нонна. - Валька у нас выпал. Он что, так до сих пор там и лежит под окнами?

Тут все на секунду затихло и замерло – и вдруг пришло в движение, причем быстро-быстро, как в старых комедийных фильмах. Женщины заверещали, мгновенно набросили на себя платки и побежали, оставив далеко позади мужчин и меня. Все и вся помчалось вниз. Даже сидевшие в засаде милиционеры и собаки. И я вместе со всеми.

Валентин лежал на спине в сугробе и смотрел синими глазами в небо. Его металлические зубы блестели соревнуясь в блеске с белевшим между ними снегом. Магнитофона Астра не было. Не было даже его следов на снегу.

Эпилог этого новогоднего утра таков. Валентин провалялся в больнице с переломом позвоночника всего девяносто два дня. Вышел. Падения и вообще что происходило новогодней ночью не помнит. Пьет попрежнему. Засада посидела еще пару дней, и ушла ни с чем, напоследок попросив ответственную съемщицу позвонить куда следует как только ребята вернутся (*Как только так сразу*, – по солдатски ответила при этом Галина Васильевна, и если верить слухам, даже откозыряла). Мальчики и атаман Саня помаленьку вернулись в Раек. Витька получил свой первый срок – два месяца. Но не по наводке Галины Васильевны, упаси Бог. А вполне самостоятельно. За то, что набил морду шоферу и пассажиру черной волги. Которые обрызгали его с ног до головы, затормозив на луже на красный свет. За что и были наказаны в той же луже. За этот подвиг Витька заочно получил от Сани почетное прозвище Робин Гуд. Великий Саня командовал своими полками как настоящий крестный отец. Лишь изредка выходя из берлоги на улицу. Засада в Раек не вернулась. Какое то время один из милиционеров звонил Нюше и даже пару раз появлялся в дверях с цветами, но она не ответила ему взаимностью. Жизнь вернулась в свою колею, как будто из нее и не выезжала.

А теперь вернемся *ab ovo*, к началу нашего повествования. Отмотаем время назад, и остановим его в тот момент, когда мой просветленный друг возвращает мне ключи, и в ответ на вопрос, каковы его впечатления о квартире за два дня и две ночи проведенные им в ней, он говорит:

Не знаю, зачем ты меня предупредил. Очень приятная квартирка. И жильцы как на подбор – милые и интеллигентные люди.

В самом деле: засада не орала, что она сидит в засаде, она просто сидела. Пили по комнатам. Падали из окон. Холодильник общали в тиши. Собаки срали, но не в местах общего пользования. Так что для блаженных и светлых людей, каковым был Илья, мир ему, где бы он сейчас ни был, на небесах или под небесами – мир, повторяю я, оставался прекрасен и гармоничен, не утрачивая своего совершенства ни на мгновение.

Русские Времена Года

Галина Васильевна была больше ленинградкой чем я. Потому что я, считавший себя частью этого города, а город - частью себя, тем не менее ненавидел темное время года, когда шли ледяные дожди, прохожие превращались в тени и случались Октябрьские перевороты. А Галина Васильевна благодарно принимала от Города все. То есть вообще все.

В любую погоду Галина Васильевна уходила бродить по старому Петербургу с непокрытой головой. Не взяв даже зонтика. Последнее было мне непонятно. Когда я смотрел на нее, мокрую и продрогшую, припоминались мне слова одной моей ученицы, приехавшей поступать в институт из Молдавии, которая сказала: “Ну что у вас тут за климат в Ленинграде? У вас даже попасть под дождь никакого удовольствия!” А между прочим, то был июль, а не ноябрь!

Так вот: Для Галины Васильевны было удовольствием попасть под ленинградский дождь. Лишнее доказательство тому, что Ленинградцы это не жители города, а Народ.

- Какое время года вы любите больше всего, Галина Васильевна?- спросил я, когда женщина вернулась в Ленинград после очередной прогулки по Петербургу и сушила волосы над газом на кухоньке.
- А разве в Ленинграде есть времена года? – удивилась Галина Васильевна. – В Ленинграде есть только времена ожидания времен года.
- Это как это? – заинтересовался я.
- Естественно, – спокойно ответила Галина Васильевна. – Вы посмотрите вокруг: разве это осень? В Ленинграде нет осени. Есть только ожидание осени, А после нескольких дней листопада сразу начинается светопреставление и ожидание зимы.
- И сколько же их, ленинградских времен ожидания? – заинтересованно спросил я.
- Три.
- Неужели даже не четыре наш климат не тянет? – как бы удивился я.
- По моим ощущениям, три, Федор Федорович. Ожидание Зимы. Ожидание Весны. И ожидание Белых Ночей.
- А лето и осень куда потерялись?
- У нас нет лета, Федор Федорович. Вместо лета Ленинграду дарованы белые ночи. О каком лете вы говорите? Ленинградское лето - это осень. А осень, как старость, никто не ждет.

Ну а белые Ночи, Галина Васильевна? Чем они по вашему не время года?

- Потому что они слишком быстро проходят, Федор Федорович! О них ведь не вспоминаешь как о чем-то протяженном. А всего лишь как о прекрасном мгновении. Как и о листопаде.

Ах Галина Васильевна, умница вы моя! Ожидание Нового года, ожидание нового Года... Может быть вечное ожидание того, что никогда не произойдет, и делает этот город таким будоражающим? Может быть оно и превращает даже заурядных людей в творцов? Может быть оно и делает Ленинградцев Народом? Который живет тем, чего не ждет и не может ждать никакой другой народ в мире. Например: вместо плодов граната – александрийский столп. Или: вместо цветения пальм – белые ночи. Может быть благодаря ему, этому вечному ожиданию, в городе всегда будут вырастать Чайковские и Пушкины, даже если - и особенно если! - они родились совсем в другом месте? Может быть, поэтому он так притягивает и затягивает все живое, как неживую материю черная

дыра? Может быть поэтому гранит, мрамор и камни в Ленинграде учат лучше, чем профессора и учителя?

Но с другой стороны, разве Ленинград не часть России? Как это Вы сказали: *у нас вместо времен года – ожидание времен года!*? Да коли так, то вся Русская история состоит лишь из мгновений счастья и ожиданий этих мгновений. У Аверченко есть рассказ, в котором он, находясь в эмиграции, мысленно отматывает время назад, как киноплёнку. И обнаруживает, что все происходившее в России с начала века до двадцатых годов было временем ожидания. И был в нашей истории на его памяти только один настоящий момент, ради которого стоило жить: появление Царского Манифеста. Когда Великий Остроумец мысленно стал просматривать фильм русской истории кадр за кадром, то обнаружил к своему удивлению, что по настоящему прекрасным в этом фильме было только одно это мгновение: обнародования Манифеста. Потому что уже наутро начались погромы и революция.

По прошествии почти века нам странно, что момент Царского Манифеста был счастливейшим мигом в истории России первой половины двадцатого века. Мы удивляемся, что счастливым периодом не казался Аверченко, например, серебряный век поэзии или девятьсот четырнадцатый год, с которым до сих пор сравнивают урожаи (нам, отделенным от того времени с его страхами и горестями безопасным временным расстоянием, стихи Гумилева и песни Вертинского кажутся более важными для счастья общества, чем начавшаяся мировая война). Тут мы можем только поверить или не поверить очевидцу. Ему, смотревшему на Российскую Империю своими глазами, без посредников, было, несомненно, виднее. Но, отсчитывая время от нынешнего его момента назад, я с ужасом обнаруживаю один и только один по настоящему счастливый миг в нем за последние четверть века: Ельцин на танке.

А перед ним еще один: сообщение о полете Гагарина.

И еще один: день Победы.

И все!

Четыре прекрасных мгновения за сто лет!

Но давайте все-таки будем оптимистами. Тем более что у нас нет выбора. Во первых, раз в двадцать пять лет – это не так уж мало. В истории бывали и худшие времена. Во вторых, то, что природа циклична, и что земля вращается вокруг солнца, а не летит вместе с ним в паре как единое неподвижное целое к вечному счастью, вселяет надежду. Потому что Ельцин на танке и манифест царя Николая бывают один раз в миллион лет и никогда больше не повторяются. А белые ночи – приходят каждый год. И опять приходят. И опять. И опять....

Как Верочка Стала Внутренним Человеком

Верочка была не только грациознейшим, но и деликатнейшим существом из всех, каких я когда либо знал. Например, когда за столом собирались гости и смотрели на нее, красавицу, она застенчиво улыбалась и спрашивала меня: а можно я помолчу? Другой пример: даже после того, как мы в течение нескольких лет были большими, и я бы даже сказал, очень большими друзьями, прежде чем поцеловать меня утром перед уходом на работу, Верочка спрашивала: а можно я тебя поцелую?

И еще. Прежде чем что-либо сказать – а говорила она очень и очень неглупо – на краешках губ Верочки появлялась мягкая улыбка. По которой, кстати сказать, можно узнать коренных Ленинградцев, где бы вы с ними ни повстречались.

На всех девушек, с которыми я общался до Верочки, я действовал одинаково плохо. Все они в течение одного, максимум двух лет, поступали в университет (причем поначалу на вечернее отделение, куда был шанс, а после первой или максимум второй сессии переводились на дневное), либо на филологический, либо на исторический факультет. То есть становились либо русистками, либо археологинями, либо искусствоведницами, либо античницами, либо англоязычницами, а то и просто язычницами. Что с точки зрения материальных благ и финансовой перспективы было совершенно эквивалентно, потому что в масштабах жизни одинаково вело к катастрофе. Хотя, конечно, развивало душу. И вообще, ярко окрашивало. Верочка была исключением. Она, до университета и меня работавшая медицинской сестренкой, поступила на факультет Биологии. Причем не на вечернее, куда был шанс, а на дневное, вопреки всякой логике и предсказаниям оракулов. В конце концов, и в этом мире случаются чудеса. Однако, так-как жила Верочка одна с мамой а деньги были не просто нужны а абсолютно необходимы, на следующий же день после своего чудесного зачисления она перевелась на вечернее. То есть сначала перевелась, а потом стала искать работу.

- Мне предлагают работать секретарем проректора, – сказала Верочка после пятнадцати минут поисков своего места в жизни. – Но я не умею печатать. То есть совсем-совсем. Как ты думаешь? Соглашаться?
- Конечно, соглашайся – без тени сомнения сказал я – И даже не сомневайся. Некомпетентность в нашей стране никому еще не мешала работать, скорее наоборот. Ибо позволяла концентрироваться исключительно на том, чтобы держаться на плаву.
- Вот и проректор мне то же самое сказал, – удивилась Верочка – То есть, конечно, другими словами, но смысл такой же.
- А вот это интересно. Ему ведь все-таки с тобой работать... А впрочем, чем меньше секретарша умеет, тем больше от шефа зависит. Логика простая, как табурет. Видно, не таких уж семи пядей он, твой проректор. А когда выходить на работу надо?
- В понедельник.
- Отложить нельзя?
- Нельзя. В понедельник его секретарша в декрет уходит.
- У нас со времен революции все в декреты уходит – пробурчал я. – Может быть не так уж глупо было бы если бы двери всех организаций одновременно заколотили досками крест на крест, как на плакате времен гражданской войны, и подписали: все ушли в декрет! - глядишь, чтонибудь бы и сдвинулось. – Верочка ахнула и испугалась. – Да ты не волнуйся, родная – поспешил я успокоить грациозное создание - До понедельника печатать я тебя научу. Причем вслепую. Обещаю. И то, что ты совсем не умеешь, является большим преимуществом. Того кто совсем не умеет, легче научить правильно, чем того, кто знает все от сохи и пашет напропалую. А лучшая гарантия от зависимости сверху – профессионализм. Так что, если вдуматься, научить тебя печатать в моих прямых интересах.
- А я на курсах только что узнавала, там девять месяцев печатать учат прежде чем работу находят, – сказал Верочка, заморгав своими неотразимыми глазками с ресничками, которые загибались от природы (разумеется я имею в виду реснички, а

впрочем и глазки тоже) и которые она никогда не красила за отсутствием необходимости.

- Опять как при родах, – пробурчал я сам себе. – Дались им эти девять месяцев. Какая у нас Родина Мать Героиня, все время на сносях чего-то от чего разрешиться не может, ну прямо сплошные акушерство и геникология, куда ни ткни, – но увидев, что Верочка опять начинает волноваться, успокоил ее:
- Не волнуйся, родная. Я тебя до понедельника вслепую печатать научу. Клянусь моим молоком.
- А чему же тогда учат девочек на девятимесячных курсах?
- Так им же не надо к понедельнику, Верочка. А тебе надо. Пора бы в твои девятнадцать лет зарубить на твоём маленьком носике, что на всякую работу требуется столько времени, сколько на нее вы-де-ле-но. К учебе это тоже относится. Главное – быть готовой в любую минуту идти в любом направлении. Как говорил Ганнибал, мы либо найдем путь, либо проложим его.

Верочка заморгала своими синими глазками. Но под моим мощным напором начала учиться печатать не отходя от меня. В понедельник она вышла на работу (согласно с заветом Ганнибала), первый день отработала и отпечатала более чем благополучно, и уже к вечеру стала всеобщей любимицей, потому что не любить ее было невозможно. Она однако же вернулась с первого рабочего дня не окрыленной, а удрученной. Не смотря даже на то, что в сумке у нее были богатые плоды не то жатвы, не то даров от данайцев, дары приносивших, а именно: три плитки шоколада, две коробки конфет, пачка жевательной резинки и три пачки сигарет мальборо, которые до того Верочка не только не курила (до поступления на работу в университет она вообще не курила) но даже не держала в руках. И даже не смотря на то, что все ее сразу стали звать не Верой Николаевной, а Верочкой. Что по человечески приятно. Хотя зарплаты и прибавляет.

- Как дела? –спросил я как бы между делом.
- Нормально, - ответила Верочка, сама не своя.
- А если нормально, почему ты такая кислая? Неужто разоблачили, что печатать не умеешь? Не верю.
- С печатанием то все в порядке, с этим проблем нет, за что кстати, тебе большое спасибо – сказала Верочка, и поцеловала меня в щеку без спроса, лишь с секунду поколебавшись. – Проблема в другом. Мне столько секретов в первый же день работы нарасказали, что, думаю, меня теперь за границу ни в жизнь не выпустят (и кстати как в воду глядела). Проректор мне так и сказал: *Теперь ты, говорит, Верочка, мой внутренний человек.*
- Да какие могут быть секреты в приемной проректора?

- Такие... такие... такие... такие, что не только иностранцам, а не всякому профессору их знать полагается, и даже не всякому председателю ученого совета, вот какие секретные секреты.

- Ну, положим, высшая форма секретности в нашей стране, это не та, когда ты знаешь, чем другие занимаешься, а когда ты сам не знаешь чем ты занимаешься – философски заметил я. – Запомни, Верочка, что за всяким секретом в нашей стране стоит преступление. Но высшей секретностью все таки является безделье. И в какие же секреты посвятили тебя, едва вышедшую из несовершеннолетия, в первый же день?
 - Даже рассказывать страшно.
 - Ну, например?
-

- А ты никому не расскажешь?
 - Да я же твой внутренний человек, Верочка. Ты их, я а твой. (И так по цепочке по всей стране – подумал я, но мысль эту вслух благоразумно не высказал).
 - Например, перед обедом со мной подружилась одна ассистентка с филфака, которую взяли работать в приемную комиссию без права ставить пять.
 - Это как это? – обалдело переспросил я, ошалев от двух сюрпризов в одном предложении сразу.
 - А вот так это, – ответли Верочка. – Она меня в кафетерий угостить повела, ну и за чашкой кофе такое рассказала... Как подруга подруге, между нами девочками. У нас, – говорит, - на филфаке конкурс по двадцать человек на место, так что четверка все равно что двойка. Поэтому на экзаменах я – говорит - чувствовала себя палачом, с той только разницей, что казнь производилась не секирой и не гильятиной, а авторучкой. Пока экзаменовать приходилось детей с более или мене средними знаниями, с моей совестью мы еще кое как ладили. А тут вдруг в последний день как назло приходит эта Парамонова. И садится, как назло ко мне. Потому-что она сама по себе поступала и напротив ее фамилии пометок, отделяющих обыкновенных абитуриентов от тех, которые будут студентами, не было. Начинаю спрашивать ее по билету и слышу что у нее французский лучше чем у меня, родной у нее французский, потому что, как выяснилось, она в Париже родилась и жила пока поступать на родину не приехала. Не в Сорбонну, видите ли, решила, а в Альма Матерь. Такая видите ли у ее родителей ностальгия. Как я могу поставить ей четыре? Не могу я поставить ей четыре. Иду к председателю приемной комиссии. Так мол и так. А он этак пренебрежительно, свысока: Вы – говорит - плохой профессионал если у абитуриентки недостатков в знаниях найти не можете. Теперь мне на нее из за вашей некомпетентности придется свое личное время тратить.
 - И что же было дальше? – спросил я.
 - Вот и я ее то же самое спросила, эту ассистентку кафедры. Что было дальше? – спрашиваю. А то было дальше, что председатель мучал эту Парамонову полтора часа, и поставил ей таки четыре. Я специально смотрела в его лицо, когда он, садист, в ведомость против фамилии Парамоновой каллиграфическим почерком писал ХОРОШО. Представляешь: не дрогнуло! Такое же сытое, как в остальное время. И что самое ужасное, - продолжает ассистентка, - что девочка эта, Парамонова, на прощание подошла ко мне и поблагодарила. Я чуть со стыда не сгорела от этой благодарности.
 - Да за что же вы меня благодарите?– бормочу, и еле сдерживаюсь, чтобы не психануть.- Не за что меня благодарить.
 - Как это не за что? – говорит это светлое наивное дитя - Я теперь буду весь год учить грамматику и на следующий год обязательно поступлю. Как я теперь вижу, у меня в грамматике еще немало прорех. Такой вот чудный ребенок!
 - И что же теперь?
 - А то теперь, что у этой ассистентки из за ее нелояльности неприятности по недоверию, и спецкурс, который она два года читала, отдали читать аспиранту. А это очень плохой знак. И доценткой ей теперь, судя по всему, не быть никогда. И стало быть ей теперь одна дорога: или в интурист, или замуж за иностранца. Но она не хочет уезжать. Она хочет работать. И теперь она, ассистентка эта, надеется на мою помощь. Потому что больше, говорит, не на кого.
-

- Да, Верочка, говорю, ты теперь человек влиятельный. А нужному человеку святым остаться трудно. Невозможно быть прокуратором и спасителем одновременно, что очевидно на примере Христа, который в Иудее, сколь помнится, не занимал никакой официальной должности.

За годы работы в ректорате Верочка узнала еще много чего секретного. И не только между ними-девочками. Но прежде всего как внутренний человек советского учреждения, которым университет являлся точно так же, как тяговая подстанция и птицеферма. Я все время боялся, что это ее знание и ее нужность, как и ежедневное заискивание перед ней тех, кто по своему официальному положению стояли намного выше ее, все эти мелкие и немелкие услуги, шоколадки и сигареты развратят Верочку. Но, к несчастью, ошибся. Внутренняя культура у Верочки была столь глубока, что ее порядочность ни тогда, ни после ничто не могло поколебать (*и, как это с каждым годом становится все более ясно, сравнивая ее судьбу с судьбами других, мене твердых*), к сожалению.

Бахчисарайский Фонтанчик

Как-то среди ночи после тяжелого перепооя мне стало так худо, что я почувствовал острую необходимость освежить голову. Взял полотенце. Добрел до Чистилища. Бросил полотенце на крюк. Сунул голову под кран. Вытер физию. И собрался было уже идти продолжать спать, освеженный. Как вдруг увидел, что на полотенце, которым я только что прикасался к лицу, кровь. И не какая нибудь сгустившаяся, застарелая, а свежая, алая. Я потряс головой от удивления, и потрогал лицо. Вроде бы, ничего. Вроде из носа кровь не капает. Вроде, по морде не получал. И я вроде бы как не брился. Странно. Тогда я перевел взгляд на крюк, на котором только что полотенце висело. И увидел, что на нем, вбитом в картину Сурикова *Утро Стрелецкой Казни*, висит ватник. И с ватника капает кровь. А на ватник с крюка. А на крюк с картины. А с ватника на пол. Такой вот Бахчисарайский Фонтанчик.

Постояв, как замороженный несколько секунд, я ринулся в Малую Берлогу, подальше от кровавого наваждения, и провалился. А когда утром пошел, не без внутреннего содрогания, чистить зубы, окровавленного ватника не было. И следов крови на полу не было. И следов крови на крюке не было. Даже моего вафельного полотенца не было. А был только крюк, забитый в картину Сурикова *Утро стрелецкой казни*. И ничего более.

Веселая Гений Массажа

Вечно Веселая Тонечка сообщила что ее направили от больницы на курсы массажа. Первые же слова, которые преподавательница предложила слушательницам законспектировать, были такими:

МАССАЖ ПО-ЛО-ВЫХ ОГРАНОВ. Записали? **МАССАЖ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ...** повторяю. **МАССАЖ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ**

...**ЗА-ПРЕ-ЩЕН.** Повторяю для тех кто не успел законспектировать или не понял:

МАССАЖ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЗАПРЕЩЕН.

Чем разумеется, вызвала оживление в аудитории и немедленное повышение интереса к предмету.

При этом монологе бурно дышащая грудка Тонечки находилась на расстоянии не менее двух и не более семи миллиметров от моей футболки. Интересно, как ей удастся никогда никого не касаться грудью? Интуиция? Самоконтроль? Или сексуальная разновидность точности движений, исповедуемая в карате?

По просьбе Тонечки я позволил ей отрабатывать приемы массажа, которым ее обучили за день, на мне. Идя на риск, подобный тому, которому добровольно подверг себя Пастер, привив себе сыворотку оспы. По словам Тонечки, *мое тело для этого дела идеально подходит*. Правда, не уточнив, вообще подходит или ей подходит.

С первой минуты я понял, что начинающая массажистка Тонечка - гений прикосновений. На курсах ей было достаточно подсказать основные движения, и она немедленно начинала импровизировать, да так, что ... в общем, не слабо. Особенно пикантно было то, что сидевшая на мне верхом в халате и трусиках Тонечка в самых неожиданные моменты вдруг прерывала массаж на полудвижении и заглядывала в конспект, который она всегда клала у моего изголовья. За все время Тонечка только один раз снизошла до комментария своих действий.

- Надо чтобы рука естественно следовала за изгибами тела, в этом главная трудность и главный секрет.- сказала она лаконически. И ни слова больше. Речь в эстетике икэбаны. И спартанцев, конечно. Впрочем, все было совершенно невинно и массаж частей тела, которые в Советском Союзе запрещены, не проводился.

Человек-Растение

В юности когда, Толя был на поселении и всех вокруг арестовывали по второму кругу, он ушел в тайгу один. С голыми руками – только ватник на плечах и нож на поясе. Дело было по весне, когда снег сошел еще не везде. Мальчишка бродил по тайге месяца два и выжил. Вышел к людям на реку Лену. Документы сказал что потерял (хотя на самом деле засунул за голенище). Пошел работать на лесосплав. Спустился с бревнами далеко на север. И там его все равно взяли.

Но традицию встречать каждую весну один на один с лесом Толя продолжал и теперь, когда в этом необходимости уже нет. Только неодолимая тяга. Для этого он выбирал те дни в мае, когда на березах распускаются листья. В это чудо-время, как он его называет, растения из скелетов превращаются в плоть, то есть из линий в поверхности и объемы. По его словам, растения и только они настоящее чудо жизни, которая возникает из воздуха и земли – И НИЧЕГО БОЛЕЕ! - а не такое, когда одни живые существа пожирают других, и далее вверх по пирамиде питания друг другом вплоть до веховного Жреца – нас с вами. Животные, по его мнению, были отклонением от замысла творца, захватившим власть как узурпаторы. Дьявол повелевает и управляет животными. А Бог – бог растений. Которые никого не уничтожают, а просто живут. Растут. Цветут. И плодоносят.

Толя уходил в лес в новолуние. Как правило, ночью, когда еще не начало рассветать. Примерно за четверть луны до этого, он становился тревожным и молчаливым. Пил только воду. Для паломничества в русскую мекку он не брал с собой ни одеяла, ни палатки, ни еды, ни питья, ни накидки или даже хотя бы кепки от дождя –

ничего. Только нож на поясе и ватник на голое тело. В берлогу Толя возвращался примерно недели через две-три. Когда луна переваливала за полную. Уходил в лес один Толя, а возвращался другой. Задумчивый. Молчаливый. Но посвежевший и набравшийся сил. Как маленький антей. С сумой деревяшек на плечах. Это были те немногие, которым, по его словам, лес разрешил человеку придать несвойственную им форму. Толя считал себя посредником между растениями и животными. И в этом была его голгофа. Возвратясь, он сидел несколько дней за своим верстаком молча и почти недвижимо. Даже по ночам: глядел на луну, когда она всходила над крышей, или дремал, ни на секунду не выпуская из рук одну из своих чурок. Потом мало помалу, как бы машинально, как если бы эта необходимость приходила к нему извне, начинал работать. Способность понимать, что ему говорят, возвращалась к Толе очень не сразу и не вдруг. Он был един со своим лесом, и ни один из обитателей Берлоги никогда не пытался вырвать его из родной стихии силой. Путь с голгофы назад, к людям, возможность которого по его убеждению была дарована только растениям, а из всех животных включая и людей, только ему одному, он должен был пройти сам. Он и проходил его, не вставая из-за верстака. И так год за годом.

Нонна боится и знает, что когданибудь Толя уйдет в лес навсегда. Что однажды он уйдет из мира людей в мир деревьев и не вернется. Поэтому, когда Толя в лесу, она сама не своя. Как тень, потерявшая того, кто ее отбрасывает.

Хотя где-то в глубине души она понимает, что этот ее страх – грань, за которой начинается не белая горячка, а настоящее сумасшествие.

- Скажи, Толик, а почему в лес ты едешь в одно и то же место? Ведь вокруг столько других красот! –спросил я однажды друга, когда увидел, что он близок к тому моменту, когда опять начнет понимать меня.
- Потому что я боюсь полюбить чтонибудь новое, – ответил Толя очень медленно, но не задумываясь. Как будто заранее знал ответ.

Говорящая Голова

В моей Малой Берлоге, по заведенной Верочкой (которую, кстати, с легкой руки Толи почему-то стали звать Малой Медведицей, в отличии от Большой Медведицы - Ньюши) традиции курить было не принято, и посему курительная была на лестнице. С некоторых пор я заметил, что из квартиры напротив, которую старожилы называли крестами, как только я и мои гости выходили курить, высывалась голова и внимательно смотрела на нас, а затем, после ее исчезновения, за дверью слышался шорох, как будто там кто то стоял и слушал. Потом я обратил внимание на то, что при каждом моем и выходе из Большой Берлоги и каждом входе в нее голова эта высывается, причем в любое время суток, так что, чтобы проскользнуть домой незамеченным ею, требовалась определенная ловкость. А когда я спускался по лестнице и внезапно оборачивался, то встречался с ее, этой головы, внимательным следующим за моей взглядом. Такой взгляд я видел, пожалуй, только в фильмах об африканской саванне, где из темноты ночью за жертвой следит львица, так что видны ее светящиеся глаза и почти ничего более. Что-за чертовщина? Для духа слишком материально, для стукача слишком явно, для дебила слишком регулярно, для маньяка слишком невинно. Поскольку я давным давно решил для себя плевать на тех кто мной интересуется, ибо только так можно было оставаться свободным не только в России, но и в любой цитадели цивилизации, а напротив,

относиться к заинтересованным в тебе лицам как к публике, которая придает словам и деяниям мастеров значимость и былинность, я долгое время игнорировал торчащий из щели живой перископ.

Мания преследования особенно распространена у тех, кого в конце концов действительной арестовывают, избивают, отправляют в психушку или прямиком на тот свет, это уж как закон. Я своими ушами слышал на лекции по психиатрии в Больнице Скворцова Степанова историю болезни одного актера, по фамилии, кажется, Беренштейн, у которого мания преследования впервые появилась в феврале пятьдесят третьего года, и проявилась она в твердом убеждении, что его хотят арестовать. “Вскоре после этого (цитирую профессора Федора Измайловича, читавшего историю болезни студентам в качестве классического примера заболевания) Беренштейн был арестован и доставлен к нашу психиатрическую больницу, где у него и была обнаружена указанная выше мания.”

Чтобы не пострадать от собственной мании и, не дай бог, не накликав ее материализацию, к высывавшейся из дверей голове я решил относиться фаталически, иногда с юмором, а иногда просто как бы не замечая ее. Но однажды, будучи в особенно хорошем настроении и обусловившем его подпитии, я вдруг обратился к голове с такими словами:

- А почему бы нам не познакомиться, уважаемая голова? Выйдите ка сюда на минуту целиком, если вам это не трудно, конечно.

Голова переменялась в лице, потом некоторое время подергалась в дверях, потом я услышал треск открываемой цепочки, и на лестницу вышел мужчина пенсионного возраста, держась за голову, как будто ему ее только что приставили к телу.

- Иван Александрович, – представился мужчина и протянул мне руку.

Пожатие у него было такое мягкое, что его как бы вообще не было.

- Федор Федорович – ответил я симметрично. И предложил закурить. Но от сигареты Иван Александрович, как и от всего прочего, отказался, только смотрел на меня без эмоций и выражения минуты две, после чего, двигаясь вперед задом, исчез за дверью, причем первыми исчезли из поля зрения ботинки, а последней – все та же голова, после дематериализации которой долго еще слышался шорох, как будто Иван Александрович даже за дверью продолжал оставаться с нами.

От Толика я узнал, что квартиру напротив называли крестами. И вовсе не потому, что ассоциировали ее с храмом Божьим (упаси Бог!) и даже не потому, что кто-то мелом регулярно рисовал на двери квартиры супротив входа в Берлогу четыре креста таким образом, что в центре они образовывали подобие решетки, и этот угрожающий знак мистически, как если бы его наносили духи, появлялся с завидным упорством каждую ночь, сколько его ни стирали. Присвоено же квартире было высокое звание Кресты в честь Ивана Александровича и его супруги, которые всю жизнь проработали надзирателями в одноименной тюрьме. Тюрьма Кресты была знаменита на всю страну, в частности, тем, что убежать из нее было совершенно невозможно, и единственным кто совершил это невозможное дело вроде был Держинский-чудотворец, которой вскоре после этого сам стал надзирателем, не только этой тюрьмы, разумеется, а всей страны, такой колоссальной, что над ней никогда не заходит солнце, превратив ее в одну большую

Т Ю Р Ь М У

деяние, казавшееся всего за несколько лет до этого столь же неосуществимым, как и побег из Крестов.

После нашего с ним знакомства голова Ивана Александровича стала говорящей. То есть она попрежнему высовывалась из двери с крестами в любое время дня и ночи, но при этом не молчала, как прежде, а произносила довольно, я бы сказал, елейно: “Добрый вам вечер (день, утро или ночь –смотря по времени суток) Федор Федорвич.”

В быту Иван Александрович был, по слухам, человеком тихим, покладистым, отзывчивым и настойчиво располагающим к себе.

Недели через две после нашего с Иваном Александровичем рукопожатия, вышли мы с, как сейчас помню, скрипачами Заслуженного Коллектива Филармонии вперемешку с физиками твердого тела и примкнувшим к нам Витькой, на лестницу перекурить. То есть не между работой или чем то еще, а просто – перекурить друг друга и все. И тут вдруг дверь с нарисованными на ней крестами медленно, со скрипом приоткрывается и из нее так же медленно и со скрипом высовывается голова Ивана Александровича, которая, медленно скользя взглядом по персонажам нашей компании, бесцеремоннейше всех осматривает: одного за другим.

- Это что еще за явление? – шепотом спросила меня будущая первая скрипка одного из лучших европейских оркестром Гарик С.
- Позвольте представить вас друг другу – говорю, будучи в настроении близком к задиристому – это заслуженный артист республики С. А это Иван Александрович, наш сосед, человек интересной судьбы, который много лет работал надзирателем в тюрьме кресты и может рассказать нам немало интересного.
- Очень приятно – сказала говорящая голова Иван Александрович, и вдруг заметалась в дверях. Но исчезнуть не успела. При слове ТЮРЬМА Витька резко оживился, схватил говорящую голову Ивана Александровича за шею, с треском вытащил ее наружу вместе с присоединенным с ней телом, разорвав при этом дверную цепочку, как Самсон цепи. Затем, подняв их обоих (то есть и тело, и голову) в воздух, прорычал:
- Ты падла чего это за нами следишь?
- Я не за вами... Я не за вами... - прохрипела говорящая голова.
- А за кем, если не за нами?
- Не за вами, не за вами, - повторяла говорящая голова.

Витька пожал плечами, отпустил голову и сказал буднично, и от того исключительно убедительно, так что не только у Ивана Александровича, а и у моих гостей по телу побежали мурашки:

- Еще раз увижу, что ты за мной наблюдаешь, старая падла – убью.

С перекура Витька уходил последним, как капитан с мостика. И, когда он, сплюнув окурочек на пол и растоптав его, уже собирался было закрыть за собой дверь Большой Берлоги, из крестов вдруг высунулась голова Ивана Александровича.

- Я не за тобой смотрю. Неужели непонятно? Не за тобой. Не за тобой, – как старый патефон повторяла она с досадой снова и снова, то ли не смея, то ли не имея права договорить.
-

- Смотри у меня! – строго сказал Витька. Посмотрел на свои пальцы, все еще сжатые в кольцо, как если бы они помнили форму шеи Ивана Александровича, поплевал на них, как штангист перед очередной попыткой взять вес, и враскачку ушел в Берлогу.
-

Футбол для Кошек

Однажды, когда я готовил себе что-то на кухне и никого кроме старухи там не было, кто-то тронул меня за ногу ниже колена. Удивленный, я посмотрел вниз, рефлекторно спрогнозировав, что бы это могло быть, и предположил что Ньюша, но подсознанка ошиблась, это был один из черных котов старой женщины. Он смотрел мне в глаза, жмурясь, и выразительно намекал мордой и лапой, чтобы я отодвинулся в сторону. Я удивился, но все таки сделал шаг в предлагаемом направлении и только тогда понял, что с котской точки зрения стоял не у своего кухонного стола, а в воротах. Потому что два черных котяры, как мне стало совершенно ясно после двух минут наблюдения за их движениями, играли в *не то футбол не то ручной мяч* (выбрать название этой игры предоставляю читателю, в зависимости от того считает он кошачьи лапы руками или ногами), шариком сделанным из скомканной бумаги, причем один из друзей-соперников загонял *как бы мячик* лапой под стол Толика, а другой под мой, стоявший напротив. Ничего подобного я ранее в жизни не видел. Я вспомнил, что “коты с трудом поддаются дрессировке”, но что означает эта фраза – что они вообще то не поддаются, но трудом от некоторых из них можно что то добиться; или что для того, чтобы их дрессировать, нужно приложить труд, а не так чтобы они начинали делать трюки сами, как люди – не знал. Я посмотрел на хозяйку и с удивлением обнаружил, что она смотрит на игру своих питомцев сквозь толстенные очки с видом тренера, или по крайней мере учителя, гордого воспитанниками.

- Гоооол! – вскрикнула она вдруг (тогда как на самом деле, конечно, прошептала еле слышно). Настолько тихо, что, если бы я не смотрел в этот момент на ее губы, я бы никогда не догадался, что она что-то сказала. Тут старая женщина наклонилась, взяла кошачий мячик в руки, положила в карман и поманила одного из котов на стол. Тот вспрыгнул и стал отбивать на лету лапой бросаемые ему кусочки мяса, тогда как другой, стоящий под столом, так же на лету ловил их и поедал. После пяти или шести порций старая женщина промакнула мордочку пообедавшего вафельным полотенцем, точь-в-точь как посетитель в ресторане салфеткой, и коты поменялись ролями. А я стоял и смотрел, и очнулся только после того, как поймал себя на том, что чувствую себя членом их команды.
- Скажите, Татьяна Алексеевна - с усилием вспомнив имя- отчество старой женщины спросил я, как только тренировочное кормление было закончено и коты приготовились возобновить игру в мяч после обеденного перерыва - а почему вы никогда ни с кем не разговариваете?

И, так как Ведьма не реагировала, крикнул еще раз, причем почти что ей в ухо:

- Почему вы никогда ни с кем не разговариваете, черт побери?
- Зачем вы кричите молодой человек? – удивленно прошептала старая женщина. Я смутился.
- Потому что я думал, что вы не слышите.
- К сожалению, я не глухая, молодой человек. К сожалению, я все слышу. Если бы я была глухая, я могла бы вытащить слуховой аппарат.

- Не искушайте Господа, Татьяна Алексеевна, - живо откликнулся я не то предостережением не то комплиментом (примерно с той же интонацией и смыслом, с какой в то время с, как их тогда называли, Самых Высоких Трибун, произносился лозунг века: *“Нынешнее поколение советских людей буудет жить при коммунизме”* – что звучало не столько обещанием, сколько угрозой). И в третий раз повторил свой вопрос.
- Почему же Вы все таки никогда ни с кем не разговариваете? Скажите мне наконец!
- Чтобы не забыть язык, – прошептала старуха в ответ после паузы.
- Простите не понял. Какой язык?
- Русский. Не по-французски же говорить с вами прикажете?

Отвечала она не сразу и как бы из другого измерения. Так что даже я, материалистический, понял, что это не Ведьма медлит с ответом, а просто для меня время течет не так, как для нее. Как если бы у нас внутри по разному шли часы. Мои – по прямой, как Беломорканал, ее, изгибаясь соответственно с рельефом жизни, как русло реки.

- Как это можно забыть русский язык, говоря на нем, не понимаю? Вы не оговорились?
- Если говорить на вашем русском языке, то есть на том, о котором вы думаете, что он русский, то русский язык забудется очень быстро, – со вздохом сказала старая женщина. – Так что, поскольку не слышать я пока не могу, я стараюсь по крайней мере не отвечать.
- Неужели даже я не говорю на русском языке? – спросил я вкрадчиво после паузы, во время которой старая женщина промакнула мордочку второму отобедовшему котяре, размерами, как и первый, скорее похожму на рысь, и, улучив момент, вбросила им бумажный мячик, как судья шайбу в хоккее.
- Неужели даже я не говорю на русском языке? – повторил я минут через пять, не дождавшись ответа, но не громче, а тише.
- Да пожалуй что временами говорите, - великодушно сказала старуха, не отрывая взгляда от игры. И я в свою очередь не понял что это: пожалование императрицей в рыцари за заслуги, милостыня или комплимент. Одно не вызывало сомнения: что в обществе котов Татьяна Алексеевна чувствовала себя намного естественнее, чем в моем и вообще человеческом. И их мурлыканье, в отличие от нашего кудахтанья, ее не раздражало. И еще: мне показалось, что тихую речь Ведьма (следом за всей квартирой я до того привык называть Татьяну Алексеевну Ведьмой, что так и продолжаю. А за что, спрашивается?) тихую речь, повторяю я, она слышала лучше, чем вопли.

Вдруг Ведьма подпрыгнула, как мячик (причем довольно таки высоко!) и закричала (да, да именно закричала! хотя и почти беззвучно, конечно): “Гооол! Молодец, Мурзик. Три-два. ”

Поцеловала победителя Мурзика в морду (имя, для посланца потустороннего мира звучащее как-то слишком по-домашнему, но с другой стороны, было ничуть не лучше и не хуже, чем, скажем, Рамзес). И пошла с кухни. А ученые коты следом, чинно и организованно, поочередно мурлыкая что-то друг-другу на ухо.

Я смотрел вслед странной троице, и приложил все силы, чтобы сохранить внутреннее равновесие и прямо не выходя с кухни не стать суеверным.

Он Должен Был Все Испытать Лично

В берлоге время года я определял по состоянию деревьев в саду за окном. Если листва была зелена, значит лето. Если лежит снег ... - и так далее. Бывали, конечно, хиазмы и казусы, смешавшие времена и прерывавшую связь между ними, но в целом метод работал.

Поэтому в берлоге я определял время года на глаз, в автономном режиме. Лежит снег – значит зима, распускаются почки – весна, листья на деревьях – лето, ветки голые – осень. Независимо от календаря.

Так вот. Как-то раз, в мою первую осень в берлоге, в нее завалился Олег, постановщик громких телевизионных мюзиклов, включая интерпретацию древнегреческих драм, а в то время – главный музыкальный редактор телевидения. Само собой пришел он с бутылкой – без этого приходило ко мне было так же неприлично и даже опасно как женщине во времена Ивана Грозного лежать на лавке без нижних юбок. После первой же принятой на грудь дозы я сделал мастеру мюзикла предупреждение, которое делал всем:

- Эта квартира, Олег, особая. В ней бывает всякое. Может и ничего не случиться. Но если случится – не удивляйся.

- Странное предупреждение – отрывисто отозвался Олег. –

Профессия у меня такая, что меня удивить трудно.

- И тем не менее – говорю – очень прошу тебя: не удивляйся ничему.

- Ну, старик, если ты просишь не удивляться, то обещаю: удивляться не буду.

Только он это сказал (секунды не прошло, как будто некто сверху за нами смотрел и ставил человеческую историю, как Олег спектакль) – как в комнату входит Витька с своей новой шестнадцатилетней красавицей, Русской Венерой по имени Нюрка, девушкой словно изваянной из мрамора, и говорит: Федька, слуш, пацаны сидят, выпить надо, а башлей нет. Хочешь, продам Нюрку за пятерку?

А мраморная Нюрка молчит, глаза потупила, как и положено Русским Венерам по домострою. Смотрю на Олега – а у него челюсть отвисла. И кажется, даже слюни по ней, отвисшей, потекли. Хотя скорее всего, в воображении. В чем однако воображении – его или моем – сейчас уже сказать с определенностью нельзя.

- Спасибо – говорю, Витюха, - прикладывая для убедительности руку к сердцу – не надо. У меня сейчас нет пятерки. Сам видишь – мы тут работаем. Не до денег.

- Ну если нету, извини. На нету и суда нету.

- Куда ж ты пойдешь? Давай угощу.

- Без пацанов не пью, а на всех мало, лучше их не тревожить. К Толику пойду. Выпить ведь в любом случае придется. Не так так эдак – говорит Витька и направляется к двери. А беломраморная Нюрка, как рабыня, скромная рабыня, но все равно очень игривая рабыня, за ним.

- А у меня есть! – вдруг говорит Олег.

- Чего у тебя есть? – остановился Витька.

- Пятера.- произносит режисер. И торжественно достает из бумажника пятерик. И помахав им в воздухе для демонстрации его материальности, со стуком кладет ассигнацию на стол, как слесарь костяшку домино, делая рыбу.

Олег – процедил я – убери деньги.

- Почему? – спросил он, также шепотом.
- Убери говорю деньги.
- Почему?
- Я лучше знаю почему.
- А вот и не уберу! - вдруг громко и решительно произнес Олег. - Я режисер, все должен пропустить через себя и испытать лично.

Тут я понял, что меры надо принимать решительные и немедленные, пока дело не зашло в даль, из которой не выбраться.

- Мой друг шутит – говорю я Витьке, - он с телевидения режисер, так что ты его не трогай. Сам понимаешь что это за народ. Несерьезные люди. А ты лучше заходи когда он уйдет, мы и кирнем.
- Смотри, Федя, – говорит Витька, – другого раза не будет. Бери пока я добрый. Эх, была не была, так и быть - я вам Ньюрку за пятерку обоим продам. По два с полтиной на брата выйдет. По рукам?
- Да сам понимаю что не будет другого такого счастья по дешевке, – говорю, – тем более коллективного, но значит судьба моя такая, что не судьба.

И едва как бы не прослезился. Короче говоря, ушли они. А мы с Олегом некоторое время после исчезновения юной пары смотрели на дверь, как замороженные, продолжая видеть их очертания, снова и снова исчезающие за дверью, как улыбка чеширского кота, только не один раз а несколько.

- Да почему ж ты мне помешал! – чуть не с кулаками полез на меня Олег, очнувшись от наваждения. – Это же было бы впечатление на всю жизнь!! У меня такого не было и не будет. Ух как я бы это воплотил! Ты понимаешь, что ты бессмертную постановку убил! Понимаешь или не понимаешь? И девица у него что надо, крепкая, с ляжками, в духе скульптур Майоля. А у нас с Майолем вкусы совпадают.
- Олег, я здесь живу и лучше понимаю ситуацию, – начал было объяснять я, наливая по стакану. – Тут дело очень тонкое, надо все время держать правильную дистанцию чтобы не получить по морде, Как в боксе.
- Какую там дистанцию! Ты посмотри какая баба! Это же ядреный свежачек! Наше ядреное оружие во веки веков!
- Во веки веков и аминь с ним, – сказал я, наливая. – С ядреным оружием надо обращаться осторожно, особенно по мере приближения к эпицентру. Критическую массу не перебрать. И - ты же обещал мне не удивляться.
- А я и не удивляюсь.
- Ну да, только голову потерял. И глаза за очками в очках не помещаются до того округлились.
- Есть немножко, – засмеялся Олег по обыкновению не моргая глядя

Сквозь стекла с множеством диоптрий прямо в мои глаза. И мы выпили. Но допить не успели, потому что дверь приоткрылась и в ней материализовалась, как из за кулис, голова Нонны.

Федя, идем, тебя Толик зовет.

- Это тот самый ложечник? – спросил Олег и глаза у него под очками вспыхнули ярким пламенем – А ну пошли.

- К Толе с удовольствием, – ответил я с энтузиазмом. И ошибся.

Мой энтузиазм оказался преждевременным. Едва вступив на море стружек, мы увидели следующую картину.

У верстака сидел Толик одетый как обычно в штаны и грязный фартук из под которого торчали голые татуированные в некоторых местах руки, а на коленях у него – голая НЮрка. То есть совершенно голая. НЮрка. Блистая к тому же своей юной и бесстыдной наготой, увенчанной застенчивой улыбкой, как бутылка водки этикеткой. А в углу у патефона, как всегда довольная и как всегда с папиросой, уже застыла за нашими спинами Нонна.

Глаза Олега за очками, и без того увеличенные диоптриями, расплылись во все лицо и выйдя из их орбит, зажили самостоятельной жизнью.

- Федюха, ты не поверишь, мне Витька Нюрку за пятерку продал, – сказал Анатолий Михайлович бодро.

- Почему не поверю? Поверю! – сказал я.

- И ты не удивляешься?

- Да я ничему давно не удивляюсь. – говорю. Разве что мой друг. Он у нас такой наивный, такой пытливый.

- Да, я наивный и пытливый, - сказал Олег – Но я тоже того... не удивляюсь. Я вообще ничему не удивляюсь. Профессия у меня такая – не удивляться, а ставить.

- Ставить – это только у мудаков профессия. – говорит Толик. – А у нормальных мужиков это хобби, мать перемать.

- Да ты не то подумал, отец. Я не бухарик и не ебарь. Режисер я. То есть то что ты сначала подумал, тоже имеется, но как хобби. А как профессия – брать жизнь за одним место – и ставить, ставить...

А глазами так и ест девушку. Можно сказать даже, что пожалуй и жрет. Толик с состраданием поглядел на Олега. Потом перевел глаза на меня.

- Эх, Федька, Федька, такое счастье на коленях сидит. Можно сказать, смысл жизни. А я как назло могу ее только потрогать.

- То есть как это? – не понял я.

- Ну, еще подергать могу. И все. Такая брат беда.

- Он ее только потрогать может, – повторил Нонна с многозначительным видом всезнающей пифии.

- Да почему же это? Витька что же, подлец, только потрогать тебе ее дал?

- Дать то он дал, да я взять не могу. Разве я тебе не говорил? На меня в войну фриц поссал.

- И что?

- И у меня с тех пор хер не встает.

- У него хер не встает потому что на него фриц поссал, – подтвердила Нонна.

- Сочувствую – сказал я.

- И я сочувствую – сказал Олег, и плотоядно облизнулся. – А при каких же обстоятельствах произошла эта неприятность, Анатолий ...

- Михайлович, – подсказал Нонна.

- ... Анатолий Михайлович, – несколько литературно закончил вопрос Олег.

- Кто это с тобой? – спросил Толик подозрительно.

- Да так... Один режисер с телевидения.
- Ну если с телевидения, тогда херня. Главное чтобы не из кегебе...
- И все же, при каких же это обстоятельствах на вас фриц поссал? – вдруг профессионально поставленным голосом спросил Олег, как бы беря интервью. - В плену, что ли?
- Это как же ты, режиссерская морда это себе представил что на меня в плену сцут? – сурово спросил Толик – Что я лежу связанный, а они струями меня пытаются, так что ли?
- Ну я не знаю... - уклончиво откликнулся Олег.
- Мудило ты, а не режисер. Слабо им меня в плен взять.
- Неужели в бою насцали?
- Вот теперь верю, что ты с телевидения...
- Почему это?
- Фантазии у тебя дегенеративные.
- Но где то же это произошло, как вы говорите. В окопе? В штабе дивизии?
- Разведчиком я был. Понимаешь? Разведчиком.
- А на разведчиков что, сцать дозволено? – в отместку, как мне показалось, а потому резче, чем следовало гостю, отреагировал Олег.
- Ты лучше молчи и слушай, мудила. Потому что действительность самую буйную фантазию переплывает. Лежу я на снегу, а он, сука, посцать отошел в кустики.
- Кто он?
- Фриц. Кто же еще. Сцит, а дружок, падла, у дверей дожидается. Как тут его снимешь?
- Ну и?
- Что ну и? От на меня сцит, а я лежу. И что самое обидное, мороз всего градусов сорок, не больше.
- Да почему ж обидно то? – не понял Олег – чего ж хорошего было бы, если б за пятьдесят было?
- Совсем ты я вижу, не соображаешь. Было б пятьдесят, как на Калыме, моча бы на лету замерзла.
- Какой кадр! Какие идеи! Какие персонажи! Какой антураж! – восхищенно вскричал Олег, входя в раж. – И о чем же вы думали в эту минуту?
- О чем, о чем? Пиздец, думаю, мне пришел, вот о чем.
- А потом что? – спросил Олег, садясь на стул, и приготовившись слушать речистого былинника, украдкой однако оглядывая стены и ложки. По лицу его было видно, что он мысленно уже представляет себе сценарий будущей передачи.
- Что что... Ушел он в дом, а мы лежим. А мороз красный нос - и хорошо еще если бы только нос - будьте нате.
- Батюшки, да почему ж назад, к своим не побежали?
- Дурак ты, главный режисер. Куда ж бежать без языка? Без языка прийти нельзя, расстреляют, или в лучшем случае в штафбат сошлют за невыполнение приказа. У нас ведь как: если страна прикажет быть героем, то в любом случае станешь – не на том свете, так на этом.
- Какой язык! Какая речь! Какой изобразительный ряд! – зашептал Олег, забыв о сидящей перед ним голой красавице. И я понял, что для Олега искусство важнее рефлексов. Что делает ему честь. Но не Нюрке.

- И все таки: о чем вы думали, лежа в засаде? – переспросил Олег.
- Да уж не о хере. Не до хера было.
- Тогда о чем же?
- Ни о чем я не думал.
- То есть как это не о чем?
- Что ж, по твоему у нас в стране даже ни о чем думать нельзя? А впрочем, постой... По моему, я думал о том, чтобы какаянибудь сука поскорее посцать вышла. Так можешь и записать себе в анналы.
- И что ж потом было? Вышел еще кто? Или как?
- Если б не вышел, разве я бы сидел перед тобой живой? Гляжу, выходит. Это самое верное дело брать фрица – когда сцать выходит. Мужики, когда сцут, беспомощными становятся. Руки заняты и подвижность ограничена. Ты это имей в виду, если когданибудь в разведку пошлют.
- Упаси бог! – перекрестился Олег. – И что он?
- Что он? Сцит. И опять на меня. Такая везуха. Но не его а моя.
- Да почему же везуха?
- Потому что этот фриц один сцать вышел.
- И что было дальше?
- Что было? Сцал он, долго. Мне показалось, года два. А как посцал, сука, сразу сознание потерял.
- Чего это вдруг?
- И ты бы потерял, если бы мы тебе по башке прикладом с размаху саданули.
- А чего ж вы его, пока он сцал, не саданули?
- Так кто ж будет ждать пока прикладом саданут, если лицом к тебе стоит? Надо, чтоб спиной повернулся, тогда верняк.
- Спасибо. Очень полезное наблюдение. А потом?
- Отключили мы этого сцуна и потащили. Другу что, друг сухой.
- А вы мокрый.
- Дурак ты мокрый. Если б мокрый, проблемы не было бы. И я бы сейчас Нюрку бы трахал, а не с тобой лясы точил.
- А какой же вы были, если не мокрый? – по лицу Олега было видно, что он искренне пытается догадаться. - Сухой? Непромакаемый?
- Обледенелый.
- Обледенелый! – в ужасе повторил я.
- Обледенелый, – повторил Толя тоскливо. – То есть совершенно обледенелый. Когда к своим приползли, сдал я того фрица смершам с рук на руки и в санчасть приполз. Показал врачу все как есть.
- Хер приморозил, – говорю, держась за него обеими руками, чтоб не так больно было, – срочно лечите.
- Видим, - говорят, - что не уши.
Раздели меня, и как захохочут!
- Чего ж тут смешного то? – спросил Олег.
- Мне смешного, конечно мало было. А они чуть не описались. Потому что весь хер у меня был ледяной и сиял как бюст Ильича. Вся разведрота сбежалась на сияющий хер поглядеть. Такого они еще не видели. А я, между прочим, в полку любимцем был, на баяне шарил. Ну, потом, когда все отсмеялись, вроде как на концерте, врач из

помещения всех, конечно, выгнал и меня лечить начали. Чем только меня не оттирали, чем только не размораживали – и водкой, и спиртом, и внутрь, и снаружи.

- – Ну и?
- Вот тебе и нуи. От ампутации спасли, но не от того для чего хер природой предназначен. То есть сцать хуем могу, но не более того.

Он только сцать хуем может – подтвердила Нонна. Ее голос раздался очень кстати, как свидетеля обвинения на Нюренбергском процессе. Или, если следовать более отдаленной ассоциации, как голос прекрасной дамы, сидевшей на коне позади рыцаря круга короля Артура со сходной целью – то есть для дачи свидетельских показаний о подвигах героя, что в данном случае, впрочем, было свидетельством одновременно и о подвиге, и о невозможности совершать его более.

- Так я можно сказать через того фрица за Родину до сих пор страдаю. У всех победа как победа, а у меня до сих пор война продолжается. Вот до этой самой минуты, – с горечью сказал Анатолий Михайлович и пощекотал Нюрку по волосам. Нюрка с состраданием погладила пальчиком штаны Толика по тому месту, где у него находилась послевоенная травма и по ее щеке покатились слезы. Скатились на штаны Толику, с них на стружки, а с стружек еще куда то вниз. Ну прямо Бахчисарайский фонтан какая то.

- Но вы ему хоть отомстили, тому фрицу? – спросил Олег.
- - Отомстить то ему может и отомстили, – сказал Толик печально, – и другим немцам я потом еще больше двух лет все мстил и мстил, мстил и мстил, а мне то что с этого, легче? Правда, за этот случай я потом Звезду Героя получил. Но утешение слабое. Как показала история. Медицина против яиц бессильна.

Против яиц все бессильно, – с видом эксперта подтвердила Нонна.

Олег завороченно слушал, забыв про сидевшую на коленях обнаженку. Да и я, правду говоря тоже.

- Так Вы Герой Советского Союза, Анатолий Михайлович? – восхищенно сказал он, всплеснув руками.
- Был герой, а теперь говно – ответил Толя с горечью.
- Скажите, Анатолий Михайлович, а много у вас орденов? – спросил Олег, мало помалу переходя на все более уважительный тон.
- Да до хера. – И Толя неопределенно махнул рукой в направлении газет наклеенных на стену. Как загипнотизированные, мы с Олегом одновременно подошли ближе и увидели на фотографии в Газете *Правда* за 1945 год Толю, бравого и молодого, с грудью полной орденов и медалей.
- Батюшки! Так у вас же целый иконостас на груди! – вскрикнул Олег, и, приподняв очки, принялся билзоруко разглядывать снимок почти вплотную. – Пойдите, у вас что же и Орден Ленина есть?
- У меня много чего было – неопределенно произнес Толик, делая ударение на слове *было*.
- Что значит было? Неужели лишили? Или обворовали?
- Продал я ордена – сказал Толя буднично.
- Да как же вы могли? – укоризненно покачал головой Олег.
- А что мне было делать с голодухи? На хер ордена не повесишь.
- Он на хер ничего повесить не может – объяснила Нонна. – Не встает у него хер с тех пор как на него фриц поссал.
- Неужели и Звезду Героя продали? - спросил Олег.

- Ты что ж думаешь, я идиот? Я ее сначала щипцами расколочил. Потом расплавил. Ползвезды продал, а пол себе оставил.
- И где же она у вас? – спросил Олег.
- Где? Вот где.

И Толик показал на золотые зубы, тускло поблескивавшие во рту там и сям.

-И еще вот где! – и Толик указал на фотографию на стене.

- Слушай, Федька, а хочешь Нюрку за сиськи потрогать? – вдруг предложил мне Анатолий Михайлович с внезапно нахлынувшей на него щедростью меняя тему.
- Эх, широка ты, русская душа! – подумал я.
- Нет Толя, спасибо, не хочу. – мужественно отказался я, прикладывая руку к сердцу.
- Да я бесплатно угощаю.
- А я все равно не хочу.
- Да почему же нет? На дармовщину даю. А мне все равно оно без толку.
- Оно ему все равно без толку, – как эхо, повторила Нонна.
- Да понимаешь... понимаешь – я замаялся, понимая, что моральные доводы будут восприняты как неуместные, – понимаешь, мне работать надо.
- Всем работать надо, – сказал Толя. – И трогать надо. Есть время работать, и есть время трогать. Смотри грудица какая.
- Ты только потрогай, – поддержала мужа Нонна. Господи, - подумал я, - не так часто видишь женщин в нашей мужской команде.
- Спасибо, не хочу – твердо повторил я.
- А я хочу – вдруг сказал Олег, о котором как-то все на минуту забыли.
- Олег – прошипел я – я же тебе говорил: не суйся.
- А если я хочу? – сказал Олег громче чем мне бы хотелось – Я режиссер, все должен пропустить через себя и все на себе испытать лично.
- А вы там на телевидениях сисек небось не видели? – утвердительно спросил Толя. – Гляди сиськи какие! И как торчат славно! Утром колыхнешь – до обеда качаться будут.
- Такого не видели, - честно сказал Олег. – многое видели, но такое – такое пожалуй что нет. Чтоб такая афродитистая НЮ на чужих коленях, да еще и при жене ...
- Я не Ню, я Нюра – поправила Нюрка. Олег кажется удивился, что она умеет говорить. Ее голос поразил Олега так же, как голос Кисы Воробьянинова членов союза Меча и Орала.
- Ню и что что Нюра? Была Нюра, стала ню.
- В таком случае ты был Олег, а стал О – сказал я.
- Ну ладно, мистер Оооо, или как тебя там, иди ка сюда - смягчился Толик и поманил Олега пальцем. - Разрешаю. Трогай.
- Служу Советскому Союзу! – отчеканил Олег, как солдат на параде застыв по стойке по стойке смирно. Потом расслабился и осторожно потрогал Нюрку за грудь. Потом за другую. Потом за два соска сразу. Потом обеими лапами. А потом, разойдясь, хотел было поцеловать груди врасос и наклонился уже было для этой цели – но его остановил строгий Толик.
- Нельзя – сказал он.
- Почему?
- А ты не спрашивал почему можно? – мудро заметил Толя. – В нашей ебаной стране разрешены любые вопросы. Кроме вопроса почему.

- Хорошо сказано, – восхитился Олег.
- А то ты не знал?
- Ну хорошо, поцеловать нельзя. А подергать? – спросил Олег жалобно.
- Смотря за что.
- За сосочки.
- Один раз можно. – великодушно разрешил Толя.
- Только один раз! – строго сказала Нонна.

Олег подергал Нюрку за грудь, потом за другую, и отойдя от нее, как врач после осмотра больного, замер, продолжая впрочем, пожирать девушку своими мечущимися по лицу глазами.

- А за волосики Нюрку потрепать хочешь? – обратился ко мне Толик.
- За какие еще волосики? – не понял я.
- За Главные, – сказал Толик и ласково погладил курчавый треугольник. Мраморная Нюрка заулыбалась.
- Не, не хочу, – мужественно отказался я.
- А ты? – спросил Толик Олега.
- Да об чем речь? Я? Я ххочу! Я всегда хочу! И еще как хочу! – заорал Олег и глаза у него опять полезли из очков.
- А я не разрешаю! – спокойно ответил Толик и сурово погрозил главному музыкальному редактору Ленинградского телевидения пальцем.

Главный музыкальный погрузился и только потом рассмеялся. И мы все тоже. Включая и Нюрку.

- Эх. Нюрка ты Нюрка, - сокрушенно сказал Толик, - Девочка ты моя... как бы я сейчас тебе вставил – ты даже не представляешь. Но не могу. За Родину самое дорогое отдал. За то чтобы вы все сегодня ябаться могли под мирным небом, я самое дорогое отдал. С тех пор как на меня фриц на морозе поссал, когда я в разведке на сорокоградусном морозе лежал, у меня хуй не встает.
- У него хуй не встает, потому что на него фриц поссал – подтвердила Нонна. – А если бы не поссал, он бы тебя сейчас так трахнул!
- Классная передача могла бы быть об этом ложечнике, – сказал Олег, прощаясь. – И изобразительный ряд классный. Ты только представь: кругом стружки, стружки, на стене ложка и газета с его портретом, за столом он же в рабочем комбинезоне, за окном центр Ленинграда, а на на груди половина звезды героя сияет. Ты только представь как это будет смотреться: половина звезды Героя!
- Так за чем же дело стало?
- За тем что в таком нецензурном виде ее цензор не пропустит. А если убрать всю нецензурщину сексуальщину и туалетщину, и фиги, и стружки, и голую Нюрку, звезда во рту, и историю с обобщением героя Советского Союза в разведке, то что же останется? Только водка. А это не тема.

И добавил просительно – Я буду заходить, если не возражаешь.

- Возражаю – сказал я.
- Почему это?
- Потому что я жить хочу.
- С Нюркой или вообще?

Я не уточнил и не ответил.

После этого визита Олег много раз напрашивался ко мне в гости. Но я не приглашал его под разными предлогами. А иногда и без предлога.

А потом я встретил Олега на Невском. Помню был страшный мороз, потому что на нем была зимняя шапка. Может быть, произошло это следующей зимой, а может быть лет через семь – не помню. Ленинградское время слипается, как листы старой книги, и чтобы его расщепить, надо послушать память. Олег, как из утробы матери, вывалившись на меня из дома журналистов, в котором, кстати сказать, мистическим образом ни один вечер не обходился без драки – не словесной, а с кулаками и кровью - поймал меня почти-что за пуговицу, небритый и судя по всему уже больше не главный и даже не музыкальный, и сказал, как бы продолжая только что прерванный разговор, словно он произошел вчера:

- А ведь я вот что думаю. Ведь для них сволочей, было очень важно, что он стал импотентом. Если бы они знали что он их всех может выебать, они бы этому твоему ложечнику Героя Советского Союза ни за что бы не дали!

Подергал еще пару раз мое пальто двумя прямыми пальцами за ни в чем ни повинную пуговицу, тем же нервным движением, как когда-то за грудь русскую венерочку Нюрочку, и, покачиваясь, не ушел, а исчез.

ТАК ГОВОРИЛ САНЯ

Крестный Брат

В отрочестве Витька был хулиганом по призванию, без какой бы то ни было личной выгоды. Его бесчинства были совершенно бескорыстны. Просто он любил хулиганить, как Карузо петь.

Все переменялось в тот день,
когда
в
райок
пришел
Саня.

Лица как Брюки

Лицо у Сани было совершенно бесцветное. И к тому же помятое, как брюки, которые несколько лет не отпаривали утюгом. Единственной приметой этого лица было то что на нем не было никаких примет. В отличие остальных частей тела, а также от того, что он делал и говорил.

В стране, где прославляют потомственных сталеваров, отдают честь потомственным маршалам и кланяются потомственным министрам, Саня тоже был потомственным. Однако в то время его профессия была не из тех, которую славили в газетах и по телевидению, и чьих передовиков принимали в Кремле (напоминаю для тех, кому это утверждение покажется сомнительным, что речь идет не о пороге между вторым и третьим тысячелетиями, а начале восьмидесятых годов двадцатого столетия). Саня был потомственным вором. Причем высочайшей квалификации, можно сказать, гением воровства, более того – его философом, стратегом и апологетом. За что по совокупности и получил нестандартную для его специальности кличку Саня Великий.

Саня Великий пришел в райок и остался в нем жить сразу же после освобождения от своей четвертой отсидки. Всякое обобщение начинается с цифры два. Обратим внимание на то, что и Валентин Железные Зубы, который о своем прошлом сообщал только, что он не убийца, а непредумышленный убийца (непредумышленность эта всегда вызывала у меня сильные сомнения, потому что, насколько мне известно, он зарубил топором председателя своего колхоза в доме последнего, когда тот ужинал вместе с женой и детьми), как и Саня, тоже появился в Райке и остался в нем жить сразу же по выходе из тюрьмы. Как будто перемещался из Воркуты в Райок под влиянием мощной силы притяжения. Между зоной и Райком была какая то связь, природа которой была мне не ясна. В сущности, Райок тоже был зоной, так же как и тайга Толика, Предбанник Коли, Чистилище и Большая Берлога в целом, одной из множества зон и зон в зонах, на которые было разделено самое счастливое государство трудящихся в мире. Так что и

Алекса́ня Великий, и Валя Железные Зубы, и прочие, приходившие в Берлогу как в дом родной, в сущности, не выходили из зоны, а переходили из одной в другую, как и все советские граждане включая меня, ибо выбор у нас в этом смысле был невелик.

Я имел счастье познакомиться с Великим Саней как только он пришел в Райок. Пригласила меня Ньюша (о присутствии которой в малой Берлоге я, по обыкновению работавший лицом-к-окну-спиной-к-двери догадался по нежному прикосновению к моим шее и волосам, словно ветер прошелестел или Ангел дыхнул) прошептавшая под шелест прикосновений, что приглашает меня отметить выход на свободу нового Витино́го друга, и по ее интонации я сразу понял, что это честь.

В Райке за журнальным столом торжественно сидели трое. Тот, кто сидел в центре, был Саней. Тот кто сидел по правую руку от Сани, был старше, а тот, кто сидел слева – больше. У Сани и друга справа, которого при мне не называли по имени и даже по кличке, и который почти все время молчал, были на удивление одинаковые лица без особых примет, помятые, как штаны. А вот Большой Друг Слева был личностью калоритной. Наполовину грузин (как я потом выяснил, что впрочем, в отличие от отделов кадров самого интернационального государства в мире, ни в берлоге, ни в воровской среде не имело никакого значения) с расплюснутым чьим то кулаком, ломом или кувалдой, носом, но не смотря на это все еще пылкий и порывистый, он, казалось, был готов врезать в морду в любую минуту. Даже во сне. И звали его соответственно – Шкаф Жора. Это по русски. А по грузински Шкаф Гоги. Что, как я понял после размышления, потребовавшего усилия, было вариациями одного и того же греческого имени – Георгий. Произношение которого у разных народов за тысячелетия уплыли так далеко, что самив себе родства не признают.

Поначалу Жора сидел в ватнике. Потом стало жарко и он его снял, так что на запястье левой руки, как раз над часами Ракета, стала видна накладка: “Люблю тебя, Зинка, до гроба.” Минут через десять Жора чуть закатал рукав, и я прочел повыше первой надписи: “Ну и сука же ты Зинка.” Когда выпили, всем стало еще жарче, и Жора закатал рукав по локоть. Открылись целых две вытатуированные фразы: одна в прозе ”Лучше Клавы нет на свете“ тогда как другая с поэтическим уклоном констатировала: “Нет в Москве Блядищи Клавы Блядовитей“. Когда дело дошло до обнажения бицепса, на нем был обнаружен портрет некоей девицы работы неизвестного художника второй половины двадцатого века, с подписью под ним: “С Варькой будем ябаться мы позаебезисетей”А выше: ”Ты бы лучше министра наградила, блядь Варвара.”. На другой руке соответственно значилось: на запястье традиционное “Не забуду мать родную”, повыше же располагалось продолжение конспектов романов с продолжениями: “Нет краше моей Роксанушки” и потом: ”Ну и безразмерная же ты Рокса. Утонешь.” Очевидно, поскольку вытатуированное пером не вырубить топором, Жора Шкаф пошел не по пути вытравленного начертанного, а пути ее компенсации новой надписью. На которые у него места много, так как тела у него немало.

- Все выше, все выше, все выше! – ликуя, почему-то пропел мой внутренний голос слова известной песни на не менее известный мотив.

Судя по всему, по телу Жоры можно было бы прочитать историю его жизни, и во всяком случае, истоию его... как бы это сказать на русском языке любовь во множественном числи? История любвей? Истоия любвных историй? Последнее вычурно и напоминает историю историй философии, которая была объявлена в конце

восьмидесятых. Первое вряд ли грамматически выдержано. Так или иначе, долбоеб Жора Шкаф был отменный. Что видно в частности и из вышеизложенного.

Из всех нас в тот вечер говорил почти что один Саня. Все остальные, включая и меня, лишь изредка вякали, а прочие присутствовавшие при явной вечере изумленно и молча глядели ему в рот. И не зря. Потому что послушать было что.

До встречи с Саней Великим я, самоуверенный, думал что могу воспроизвести или по крайней мере подражать речи любого говорящего по русски человека. За редким исключением Андрея Битова, Михаила Жванецкого и немногих других титанов, которые, как и положено титанам, непродражаемы. Однако речь Сани была абсолютно уникальна. Дело не в том, что в ней непрерывно употреблялись жаргонные слова, значения которых я не знал, но, несмотря на это, прекрасно понимал общий смысл и ЗАПАХ того что мне хотели сказать. А в том дело, что не только тезаурус, но и словосочетания, и стилистика, и ритм речи Великого Сани были уникальны, как Луна, многоплановы, как фильмы Феллини, и ароматны, как степь. Никогда и ни от кого – ни до, ни после Великого Сани – я не слышал ничего не только подобного его бесподобному дару слова, но даже сколько нибудь близко его напоминавшего. Само собой разумеется, в потоке речи Великого Сани не было ни одного предложения, которое цензор даже самой либеральной страны, не говоря уже о Стране Советов, мог бы пропустить в печать - причем по десяти причинам сразу. То есть не только из-за урагана нецензурных слов и не только из-за смысла, который эти слова, соединенные в вихри предложений, имели.

Саня, по моему мнению, являлся лучшим стилистом русского языка, какого я знал – притом стилистом от рождения (подобно тому как отец Элизы Дулитл в Пигмалионе у Шоу - лучшим моралистом Англии), более того: предтечей генеральной линии развития нашего великого и могучего языка в двадцать первом веке ¹⁰. То есть его подбор слов и манера изъяснения ими, казавшиеся в семьдесят девятом одиозной, лет через двадцать во многих газетах и телеканалах могли бы сойти за статью (или, соответственно, очередной репортаж) собственного корреспондента, язык которой не вызвал бы чрезмерного удивления, а лишь на уровне особенностей личности говорящего. Однако, поскольку у меня нет выбора и как то излагать произносимое Саней необходимо, я вынужденно прибегну трюку. А именно – приведу речи его в переводе на петербургский язык ¹¹, как переводят на английский Вольтера или на французский – Оскара Уайльда.

¹⁰ Чтобы проверить себя, я пригласил на одну из попок к Сане и Вите приятельницу - старшую научную сотрудницу из Пушкинского дома. Она была так же ошарашена как и я и, вернувшись в мою обитель, долго ошалело молчала, а потом вдруг спросила у меня разрешения записать речь Сани на магнитофон дабы увековечить и изучить ее досконально – то есть тогда спросила, когда было уже поздно. Однако будучи уверен, что Саня не придет в восторг от такого предложения, я отклонил такую возможность, так что, повидимому, выступления Саши в Берлоге навсегда утеряны для потомков – одна надежда, да и то слабая, на подслушивающие устройства (сама возможность существования которой, как я заметил, придает жизни диссидентов, художников неконформистов и вообще всех мало мальски мыслящих в России людей значимость и надежду на жизнь после смерти).

¹¹ Прием этот не нов. Последним примером может служить восприятия потока Речи Михаила Сергеевича Горбачева американцами. Поскольку они воспринимают Генерального Президента СССР только через его переводчика, они, оказываются, считают что русский язык Горбачева – это что то вроде Оксфордской стилистики и оксфордского произношения в British English. Узнав, что произношение и лексикон первого

Отделяя
форму
от
содержания,
как
зерна
от
плевел.

Все началось с того, что я, старый дурак, не имеющий ни малейшего понятия о высоком положении в табеле о рангах двадцатитрехлетнего Сани Великого, предложил тост за то чтобы он больше в тюрьму не возвращался. Все присутствующие были шокированы моим тостом, решительно поставили граненые стаканы на стол и посмотрели на Саню – что он скажет? И он сказал:

- Вы что же, шутить изволите, друг любезный? Да будет вам известно, что я в тюрьме король. У меня там есть все необходимое для жизни и наслаждения: и папиросы, и спиртные напитки, и наркотики, и газеты, и слуги, и артисты, и своя охрана, и свои судебные органы, и свои присяжные заседатели, и собственный театр, и своя полиция, и своя налаженная система приведения приговоров в исполнение. Так что, очень прошу вас, и даже настоятельно рекомендую, забыть то что вы сейчас сказали, и давайте, други, выпьем священную чашу в глубоком молчании, каждый думая о своем, затаенном (напоминаю, речь, эта как и все последующие выступления Сани, печатается в переводе).

- Саня в тюрьме король – сказал мне в Корридорчике шопотом Большой Друг Слева по прозвищу Жора Шкаф, когда мы вышли перекурить - Ему еще только двадцать три, а он уже четыре раза сидел! Ты что... Он в зоне ни одного дня не работал – представляешь? Даже когда мальчишкой по первому разу попал – не работал. Характер такой – не смотри что хилый, ни почему не уступит. Ты что... Репутация у Сани как у Христа – для молодежи он все равно что бог. С ним даже воры в законе за руку здороваются. Ты что... Скажу тебе по секрету, что ему можно миллион рублей смело доверить, а когда пересчитают, там не убавится а прибавится. Ты что... Саня в тюрьме король. У него там все есть. Абсолютно все. Только вместо девочек – мальчики, да и то если очень захочется девочку – то охрана сама приведет и еще в почетном карауле, как у мавзолея, навтыяжку стоять будет А знаешь кто с нами третьим сидит?

- Не знаю.

- Ты что... Саня тебе не сказал?

- Нет.

президента СССР далеки от норм языка принятых в кругу Ахматовой (в переводе на английский – в круге Уитпена), они совершенно изумляются, и за исключением немногих, знающих Россию – не верят.

Впрочем Михаил Сергеевич был таки гением языка но в ином смысле: Он умел одновременно говорить на двух языках Русском и Коммунистическом, так что в одной и той же фразе соратники понимали одно а народ – другое. Эта уникальная особенность Горбачева, без которой Карфаген Советской Империи скорее всего не был бы разрушен так быстро, разумеется, была совершенно утеривалась при переводе (к счастью для Михаила Сергеевича и возглавлявшейся им суперстраны), и даже на русском языке еще ждет исследования литературоведов.

- Значит, тебе лучше не знать. И я тебе ничего не говорил – сказал Друг Слева. здоровенный, как Шкаф. Потушил о подошву окурков и боком (елико его габариты не вписывались в дверь) пошел к ребятам.

Саня же как пришел в раек, так из него и не выходил, то есть в буквальном смысле не выходил, руководя своей армией с тахты, как Кутузов из штаб-квартиры в Филях. Почти каждый час в Райке появлялись парни с лицами без особых примет, за исключением того, что все они были помятыми, как брюки. Саня о чем-то говорил с ними, по обыкновению лаконично и смачно, и они уходили, чтобы через какое-то время прийти вновь с сообщением об исполнении задания и за получением нового. Витькину компанью великий Саня преобразил в несколько дней, наведя в ней полный шухер. Если раньше Робин Гуд с приятелями бесцельно шатались по дворам и подворотням, то теперь в их действиях просматривался четкий смысл.

Прежде всего, они стали учиться. Саня, проникнувшийся ко мне добрыми чувствами (хотя Варлам Шаламов и утверждает, что человеческих чувств у воров не бывает, а он знает о чем говорит несравненно лучше меня, наивного), зачислил было в свой мастер-класс и меня. Дело в Высшей Школе Воровства с самого ее основания было поставлено основательно. Были там и общетеоретические лекции, и семинары, и практические занятия. Мне Саня оказал особую честь (за что – до сих пор не понимаю) и стал заниматься индивидуально. На первом уроке (который проходил, впрочем, неофициально, между двумя стаканами бормотухи и продолжался минуты три, не более) Великий Саня успел показать мне, как незаметно вытащить бумажник у фраера из внутреннего кармана, который он называл скулой, из заднего кармана брюк, который именовался жопником, из кармана женского пальто под полой пальто, который назывался на... на... как бы это сказать поделикатнее? Одним словом, напиздник, и из все прочих мыслимых и немыслимых мест. Затем он предложил мне попробовать вытащить ключи из Витькиной скулы. Предварительно дважды извинившись перед Робин Гудом, я залез в его карман и нащупал там ключи, вместе с прикосновением к которым ощутил, что перехожу грань, которая отделяет homo sapiens от кого-то другого, уж не знаю высшего или низшего, но другого. Как после клинической смерти, по утверждению тех, кто в ней побывал и вернулся, начинается другая жизнь. Саня одобрил мой первый опыт, сказав, что у него в первый раз было намного хуже (что, учитывая разницу в возрасте дебютантов, вряд ли было таким уж большим комплиментом, как могло показаться), и что у меня несомненные способности. Вдруг посерьезнев, учитель указал на мои ошибки и приказал сидевшей на табурете шестерке залезть в Витькин карман более профессионально. Происходящее отдаленно напоминало тренировку по теннису, где отдельно тренируют подачу и отдельно – удары справа и удары слева, с мячом и без мяча. Когда же я, поблагодарив профессора после урока, наивно сказал, что это умение мне вряд ли пригодится и что я вряд ли смогу продолжить учебу, Саня усмехнулся:

- Ты, Федька, хоть и бешеный, а недалекий. В стране где все воры, не вор если и выживет, так только превратившись в продукт, который человек выделяет после принятия твердой пищи. Далее, поразмысли: если так или иначе тебе все равно приходится воровать, то у кого лучше учиться: у любителя-недотепы или у признанного специалиста? Или вообще всю жизнь оставаться самоучкой? Так что ты, бешеный, мотай на ус. Приходи на уроки во- время. И, если будешь учиться с

максимальным усердием, оно будет вознаграждено. (О, с каким пиитетом вспомнил я слова Учителя, когда, спустя совсем немного времени, на столе лежали бумажки, вынутые из моего дела, а майор КГБ Володечка Орлов ходил туда-сюда, о! как же я пожалел в этот момент что недоучился у Сани и не получил аттестата даже о завершении начального воровского образования!)

Витька же, напротив, с занятий был Саней изгнан за неспособностью. Я своими глазами видел, как профессор открыл дверь Райка, поставил перед ней Робин Гуда Витю, грозу Петроградской стороны, и дал ему под зад коленкой, сказав при этом: “Вора из тебя не получится. Так что оставайся бандитом. Иди в люди и учись.”

Этот пинок дал Вите путевку в жизнь. И как впоследствии выяснилось, очень даже неплохую.

Замечу кстати для полноты картины, что по телефону Сане Великому никто и никогда не звонил. Словно его не было. За исключением одного единственного случая, о котором речь впереди.

Идеал Саниной Красоты

Были у Сани и неожиданные фантазии, определенные, несомненно, особенностями мест где он провел большую часть сознательной жизни. Например, идеал женской красоты он описал так.

- Люблю когда у девушки волосы на ногах чем выше тем гуще. Чтобы плавно переходили в кустарник между ногами, а потом в вообще в заросли. Чтобы чем ближе к цели – тем волосатее. Как забредешь в чащу, да как возьмешься, да как ухватишься – уух!

Как Саня Стал Озирисом

Саня переходит из так называемой воли в так называемую зону как Персефона, которая, как известно, полгода пребывала в подземном царстве с мужем Аидом (ничего, разумеется, не имевшим общего с евреями, в просторечии аидами, которые для тех, у кого в пятой графе паспорте стояло РУССКИЙ, в то время, как известно, были не роскошью, а средством передвижения из мира социализма в мир где все продается и покупается в магазинах) а полгода на земле, с матерью-богиней Плодородия по Имени Деметра. Причем для Персефоны, судя по всему, оба мира были вполне пригодны для обитания, и она, на зависть всем прочим живущим, забывала, какой из двух миров – царство жизни, а какой – загробное. То есть в ее – и только ее – представлении эти два понятия – жизнь и смерть – становились относительными и время от времени менялись местами. Вот такими двумя вполне симметричными средами обитания для Сани были зона и воля. Воистину, он чувствовал себя Богом двух миров!

Мое сравнение с Персефой Саню впрочем не совсем вдохновило по той причине, что Аид ее в подземном царстве... как бы это поделикатнее выразиться... одним словом использовал как женщину. А даже намек на то, что его, Александру Великого, могли опустить, был оскорбителен. Александрия Великий должен был быть выше не только подозрений, но даже намеков на тень их. Когда же я, резко сменив

ассоциативный ряд, возвел Саню в Озирисы и рассказал ему о подвигах этого деятеля кое-что, Александра Великий некоторое время расспрашивал меня с явным подозрением, но в конце концов смилоствивился и величественно согласился быть богом.

- Так и быть. Озирисом так Озирисом. – сказал при этом он. На своем, разумеется, наречии. Становящимся с каждым годом все более и более русскоязычным стандартом. На котором в один прекрасный день, несомненно, заговорят даже дикторы телевидения, оповещающие население о новостях в мире.

Карнавал в Северной Венеции

- А вот что Великий Саня говорил об отделе по борьбе с такими как он:
- “Опасная у нас работа. Ездят уух какие мастера, хороших ребят за жопу берут. Они нас насквозь видят, а их нипочем не распознаешь, пока уже не поздно. Некоторые такие невинные, никогда не подумаешь. Оденется – деревня деревней. А сам охотой на человекoв занимается, сука. То бабой нарядится, то капитаном дальнего плавания, то алкашом, то профессором с бородкой – такие артисты! Сколько они наших ребят благодаря этому маскараду пересажали – не сосчитать! Мы то их знаем. Но гастролеры попадаютcя. Приходится опять страну за зоны разбивать. А это неправильно – свободу воров ограничивает.”

Полусухое Транспортное Средство

Жизнь Сани была эмоционально насыщена. И сам он был чуток, как камертон. О своей первой после отсидки поездке в автобусе по Невскому Саня рассказывал так: Автобус был полусухой. Хороший был автобус для работы. Присматриваюсь и вижу: девушка стоит. Ноги под чулками волосами покрыты, то есть именно такие, какие мне в грезах мерещатся, и их, волос этих чем выше, тем больше. Все как и должно быть у красавицы. И лицо грубое, как напильник. И груди на которых, как на кольцах, качаться можно. То есть у нее все было. Абсолютно все. Ну, я и не удержался. Профессиональная страсть взвырала. А вовсе не та, о которой ты, Бешеный, подумал. Поглаживаю я ее сумку, открываю, залезаю, а она прижалась ко мне своей самой выпуклой частью, которую у коровы называют филейной, что-то, повидимому, почувствовала, но не то, глупенькая, что происходило на самом деле, думает, я удовольствие от того, что она ко мне седалищем прижалась, получаю – о, святая простота! - и замерла. Почувствовала, неумная девушка, что я беру у нее самое дорогое.

- И сколько там было? - поинтересовался я.
- Да мелочь, руб с мелочью. Но удовольствие, поверь мне, я получил не меньше, чем если бы я три раза подряд вступил с ней в близкие интимные отношения, от которых могут родиться дети.

Особая Примета – Отсутствие Примет

Лицо у нашего брата должно быть незаметным. Без единой особой приметы – учил Саня. – Зато глаза должны сквозь портфель видеть. Чекисты этому у нас научились. То есть лицу без выражения и глазу пронзающему как рентген. То есть чертам нашего человека. За которым будущее. Вот только суть учения они исказили. Отсутствие

выражения отсутствию выражения рознь. Мы не имеем выражения чтобы не напоминаться, а они – чтобы врать. Мы видим насквозь для удовлетворения естественной человеческой потребности всячь чужое себе, а они – чтобы ничего без их разрешения не происходило. Великая битва между нами не окончена и пока даже не начата. Она впереди. Но мы сильнее, потому что естественнее. Это же очевидно. Так что за окончательный результат можешь не волноваться – он предопределен. Мы будем жить вечно, а вертухаи сгинут.

Как Саня Стал Эрудитом не Прочитав Ни Одной Книги

Время от времени Саня пересказывал целые куски из жизни древних Греков и Римлян, а также священную историю, обращаясь с материалом совершенно свободно. Но, поскольку излагал мифы и исторические события исключительно на своем языке, в котором вторые и третьи значения слов доминировали над первыми, переводить их я не рискую. Во первых, не в силах. А во вторых, по принципиальным соображениям.

- Скажи, Алексаня, а откуда ты так много знаешь? – спросил я однажды учителя.
- Так ведь у какие у меня учителя были! – ответил Саня. – Доценты и профессора. Конечно, учителя у меня были не столь блестящими, как при Сталине. При нем на нарах целые отделения академии наук сидели! Лучшие театры страны для заключенных из соседних с их собственными бараков играли! Тогда на нарах образование можно было получить лучше чем в Московском университете. Но и сейчас в зоне есть у кого поучиться, поверь мне. И заметь, Федя, я, как Александр Македонский, приобретал знания исключительно в устной традиции. Не читая книги, а слушая начитанных людей.

И продолжал:

- Обычно забавники рассказывают уважаемым в зоне людям романы и повести. А я все больше историю слушать предпочитал. Так и выучился.

Обманывать Будет Некому

Вот что изрек Алексаня Великий без пяти минут одиннадцать утра, как раз когда ликерно-водочные отделы магазинов открывали, после того как извлек три рубля шестьдесят две копейки из столика Галины Васильевны на кухне, куда мы складывали взносы на оплату электричества, телефона и отопления, и я увидел это:

Воры, то есть не любители каких пруд пруди, а профессионалы – это самые честные люди из всех которые жили, живут и будут жить под солнцем и луной. А воры в законе – все равно что святые. Для нас слово это дело. И обманывают нас только один раз. Потому что второй раз обманывать будет некому.

Каким, впрочем, это общее положение было связано с взятием конкретных общественных денег на водку для себя, Саня не уточнил. Впрочем, деньги он неизменно клал назад, как только они появлялись. Копейка в копейку. Как бизнесмен и прагматик, он считал, что функция денег состоит не в том, чтобы лежать, а в том, чтобы работать. И в этом понимании он на много лет опередил российское время.

Пророк в Своем Отечестве

Саня – пророк. В отличие от Ленина, он не издает статей и не собирается писать книги. Он верит что его учение настолько всесильно, что не требует записи. Тем более что в силу понятных причин письменное изложение, не говоря уже о публикации его взглядов, может отдалить их реализацию. Зато он, видел на много лет вперед, и. Сидя в Райке, изповдоль готовил грядущую революцию в России. Не ту революцию, в которой одни коммунисты свергнут других коммунистов и назовут себя демократми, дерьмократами, либералами, патриотами, сторонниками чистого воздуха, защитниками детей и кем угодно еще, лишь бы, как бы они себя ни называли, не отдавать власть на минуту, а ту революцию, которая произойдет после этой, национальной по сути, клептократической по существу.

В россии, согласно учению Сани Великого, в отличие от других стран, революции происходят парами.

Первая революция грядущей пары согласно учению Сани Великого, будет состоять в даче гражданам разрешения жить как им вздумается не спрашивая разрешения властей. На этом этапе бандиты и воры выйдут из нищеты в большие деньги и большой бизнес. Потому что, пока власть имущие будут делить страну между собой заводами и нефтяными полями, не размениваясь на меньшее, они на какое-то время оставят без присмотра остальное население, которое по инерции считают быдлом. Поэтому те, кто будет, образно говоря, доить тлей и пасти антилоп, быстро станут мультимиллионерами. Когда же начальнички спохватятся, будет уже поздно и им, вора-любителям, придется делиться властью с профессиональными ворами (бандитов Саня серьезными конкурентами не считал, ибо по его словам, воля и квалификация сильнее мускулов). Потом наступит переходная стадия, когда воры и начальнички станут похожими друг на друга, как водка из двух бутылок, слитая в один стакан. Этот этап относительного равновесия может продлиться лет пять, может быть десять. Потом будет откат, при котором мелуха ненадолго придет к власти. После чего начнется вторая фаза Революции, в результате которой воры возьмут власть в свои руки, сделав таким образом воровской закон конституцией всей страны. И не отдадут уже больше власть в стране никогда.

Воры, по мнению Алексани Великого, придут к власти в России демократическим путем. А победим мы – говорил Саня – причем с неизбежностью, по той простой причине, что воры в России везде и всегда были, есть и будут в большинстве. Причем подавляющим, а не подавляемым.

Так говорил Саня. А я слушал его, раскрыв варежку, и восхищался, пытаюсь запомнить каждое слово. Но запомнил только смысл, не смотря на все усилия.

Где То Ты Теперь, Саня?

Где то ты теперь?

Ездишь на мерседесе?

Летаешь на собственном реактивном?

Имеешь дом в Николиной Горе или замок под Ниццей?

Заседаешь в думе?

Владеешь банком?

Островом?
Нефтяными залежами?
Или всем этим вместе и еще многим?!

Где то ты теперь, Саня?
Даешь указания губернаторам?
Представляешь Россию в ООН?
Баллотируешься в думу?
Владеешь контрольным пакетом акций
какогонибудь алюминиевого комбината?
А может ушел на заслуженный отдых и
сидишь в своей латифундии
на берегу какогонибудь Эгейского моря
или какихнибудь Галапагосских островов?
Купаясь в одних бассейнах с генеральными прокурорами,
выпивая коктейли на одних банкетах с министрами
и ходя с ними в одни и те же бани
с одними и теми же королевами красоты?
А может лежит твое тело на новодевичьем кладбище? Или еще того пуще:
туловище отдельно, а голова, отмеченная свыше контрольным выстрелом
в голову, вообще нигде?

Где то ты теперь, Саня?

Книга Суеты Сует

Бандит и Старуха

Старуха была со странностями. Которых я насчитал ровно три. Одной из них была та, что она всегда закрывала свою дверь, как и все остальные покрашенную снаружи белой масляной краской, на два замка и засов. Второй странностью были кошки, но о них я уже говорил, А третьей и последней странностью старой женщины было то, что она каждый день звонила куда то ровно в шесть часов пятьдесят минут вечера . И заканчивала говорить ровно в семь. Все это знали и телефон в это время не занимали.

Но однажды телефон старой женщине понадобился в неурочное время. С сердцем стало плохо, и она решила вызвать неотложку как раз тогда, когда по телефону говорил Витька. Старая женщина ждала минут двадцать, после чего, задыхаясь, попросила доброго молодца, если его конечно не затруднит, закончить говорить побыстрее.

Реакция юного витязя была быстрой.
- Подожди ка, – сказал он кому то в трубке. Потом, зажав трубку плечем и освободив руки, он обхватил своими огромными лапами шею старой женщины как бы сжимая ее

(но не прикасаясь к коже, а просто изображая сжимающееся вокруг шеи кольцо) и произнес свирепо, выпучив для убедительности глаза:

- Еще раз помешаешь говорить – убью.

Реакция старой женщины была совершенно неожиданной. Она вдруг по девчачьи подпрыгнула, и как бы даже помолодела. Морщины на лице и шее вдруг разгладились. И она, растянув губы в беззубой улыбке и несколько раз покрутив головой, как маятник часов-ходиков: туда-сюда, туда-сюда – вокруг - напоминаю! - окружавших ее шею кольцом, наподобие жабо, здоровенных Витиных ручищ, четко сказала:

- А мне не страшно!

И повторила.

- Не страшно!

Самое поразительное то, что скорая помощь действительно не понадобилась. Старушке стало легче, и в следующие несколько лет, пока я жил в квартире, она ни разу не вызывала врача.

И Робин Гуд Витя ее тоже больше не трогал.

Котенок и Дочка

Кошка в комнате Толика вдруг принесла котят. Что вызвало некоторое удивление у обитателей квартиры, но из деликатности об отце новорожденных ни Нонну, ни Анатолия Михайловича, ни старуху, коты которой держались от кошки особняком или делали вид, никто не спрашивал. Собака с Кошкой воспитывали котят на пару, по очереди облизывали их и таскали за загривки, когда они подросли и начали разбегаться, так что все они вместе казались одной крепко спаянной семьей. Котят, однако никто брать не хотел, потому что выглядели они как-то уж очень непородисто и непривлекательно. Поэтому Толе пришлось принимать свои меры. Ибо, в отличие от ложек, котят, как и все прочая живность, кроме разве что советского горожанина, имеет склонность к быстрому размножению. И вот, часа за два до того как все котят утопили в унитазе (а для сердобольных напомним что так поступали и древние спартанцы с не нужными им младенцами, но не кошачьими, а человеческими, обычай не отличавшийся сердобольностью но несомненно способствовавший победе Лакедемона над безнадежно запутавшимися в идеализме, наслаждениях, искусствах, либерализмах и правах человека Афинами) и вся квартира была в сборе на кухне, включая и причесывавшую свои длинные, до колен, волосы Ночную Рубашку, появился Онегин с котенком в руках. Он уже знал об уготованной котяткам судьбе. Нежно держа котенка за шкирку и глядя по спине он приговаривал:

Ах ты моя маленькая, ах ты моя неебаная.

Потом огляделся, и, увидев Ночную Рубашку, поманил к себе ее, а когда девочка подошла, свободной рукой погладил дочку по голове и повторил с той же интонацией: Ах ты моя маленькая. Ах ты моя неебаная.

Квартира молчала. Только Галина Васильевна сказала: Ну вы это уж как то слишком прямолинейно, товарищ Онегин.

Как Толя Не Стал Забором

Как то зашел ко мне Толя в день победы.

Послушал радио минуты три, а потом и говорит.

- Это – говорит - в кино победителей встречали дома с оркестрами. А наш поезд, когда мы из Берлина вернулись, на запасные пути загнали. И сразу в оборот. Так гайки а шее закрутили – не пошевелишься. Зачем? А чтоб не больно куражились победители. Чтобы место свое знали.
- А в каких краях воевал ты, Толя? Какой путь прошел?
- Начали мы со Сталинграда. Там такой ужас был ууух! – думал все, кранты. Мы там из трупов друзей, которых подстрелили, блиндажи делали. Как представишь себе что с тобой будет – уууух. Пуля ведь дура. Нуб я один раз в разведку вызвался идти. Так и так убьют – думаю, так по крайней мере забором не будешь. А когда я первого языка притащил один, никто не поверил, что смогу. Так всю войну и прошел в разведке. До Берлина дошли, а до рейхстага не доползли, врать не буду. Меня туда не посылали.
- И ты так и остался солдатом?
- А на хуя мне наверх лезть! Я у нас один только и был не членом партии. Меня несколько раз в партию представляли. А я: “Рано. Недостоин я пока коммунистом быть. Вот сотого фрица возьму – тогда прымайте. ”
- И что же взял сотого?
- Взял. Но когда девяносто девятого притащил они, суки, меня без моего спроса в кандидатом зачислили и бумашку перед боем дали.

Тут меня и контузило. Везут меня контуженного, а меня не так контузия, как их ебаная бумажка грудь жжет. Говорю медсестренке Насте. Слушай говорю, медсестренка, тут у меня за пазухой письмецо одно неприятное есть, так ты его будь добра, достань, порви и выкинь нечитая. А то оно мне сердце портит и нервы жжет.

Девочка так и сделала как я просил. Хорошая была девченка. Может и догадалась, что выбрасывает. Но только никому не сказала. А ведь смеш кругом был. Людей косил почище сыпняка. Это, думаю, был самый смелый мой поступок в жизни. В разведку ходить не боялся, а тут холодным потом покрываюсь даже сейчас, когда вспоминаю.

Потому как за такое смерши расстеляли бы прямо в госпитале, думаю. Прямо не отходя от койки. Если бы, конечно, узнали.

- А потом?
- Когда потом? – не понял Толя.
- Когда в свой полк вернулся? Как они это восприняли что ты все еще беспартийный?
- Ах ты, молодой. Сразу видно, что из другого поколения. После госпиталя в то же самый полк никогда не направляли. Нас ведь все по полкам швыряли, не как в фильмах, а совсем наоборот – чтобы дружбы солдатской не было, чтоб не сговорились друг с другом. А ты как думал?
- А героя ты как получил, Толя?

Лучше спроси, как я не получил Героя. Это было в сорок втором. Когда я командира нашего разведвзвода раненого через вражеские окопы в наши вытащил, не получил. То есть совсем было собрались мне героя дать. Но потом подумали, подумали и героя дали ему. Не похож я был на героя. И не очень им по параметрам подходил. А он – так даже очень. И сразу по всем показателям. И грудь у него подходящая для героя. Вот ему его и дали.

В Худшем Случае Изнасилуют В Лучшем Тоже

Веселая Тонечка, доверительно положив руку мне на грудь и почти касаясь (но никогда не касаясь!) грудью, как она всегда делала, когда чтонибудь мне говорила, сообщила, с видимым удовольствием глядя в мои глаза снизу вверх, что у нее на следующей неделе начинается отпуск и она хочет провести его путешествуя по Грузии автостопом одна.

- А не опасно? – спросил я, удивленный выбором места и способа перемещения. Разумеется, я знал немало случаев, когда советские девушки отрывались от коллектива, но все же как правило не настолько отрывались.
- Что не опасно? – не поняла Тонечка.
- Только не притворяйся что ты не понимаешь.

И так как Тонечка продолжала вопросительно смотреть на меня голубыми глазами, я вынужденно продолжил говорить банальности (чего вообще говоря, стараюсь избегать):

- Ты молодая красивая женщина, а там кругом только грузины и горы. И больше никого. – многозначительно закончил я, делая ударение на слове *никого*.
 - Ну и что?
 - Как ну и что? Я ничего не хочу сказать плохого о грузинах кроме хорошего, но все таки ты же понимаешь, что это горячий народ.
 - Вот и хорошо, что горячий. Солнце, горы, грузины – красота! – взвизгнула Тонечка и от предвкушения удовольствия радостно захлопала в ладоши. Я встревожился.
 - И все же: молодая красивая женщина стоит одна на горной дороге.
 - Положим стоит. Дальше что?
 - Садится в машину
 - Ну конечно садится. Не век же ей стоять на обочине.
 - А в машине сидит незнакомый мужчина.
 - Да уж наверное сидит. Кто то должен же крутить рулем. И что тут такого?
 - И мужчина грузин.
 - Грузин, армянин, какая разница? – нетерпеливо спросила Тонечка, очевидно, утомленная моими наводящими вопросами и абсолютно не понимая, к чему я их клоню.
 - И некому прийти ей на помощь. – Закончил я многозначительно и многозначительно склонил голову на бок.
 - Ах, вот ты о чем, – засмеялась Тонечка. Похоже, что до нее действительно только сейчас дошло, чего именно я опасаясь. И с предельной естественностью выразила свое мироощущение одной фразой:
 - А что они мне плохого сделать могут эти грузины? В худшем случае изнасилуют. Самое интересное, что за все время, которое я знал Тонечку, во время самых крутых, порой казалось бы смертельно опасных походов с ней действительно не происходило ровным счетом ничего плохого. Только хорошее. Уверен – из Грузии она вернется живая и не только невредимая, а цветущая и с множеством впечатлений. Из которых можно будет состряпать советский Декамерон.
-

Русский Перепой

Каждый год седьмого ноября, после демонстрации солидарности трудящимися, Вася по традиции заваливался в берлогу к близнецу-брату с импортным угощением, получать которое и, соответственно, употреблять имели право только номенклатурные товарищи с членами своих семей, а также приравняемые к ним офицеры госбезопасности. В этот вечер в предбаннике за столом собиралось все мужское население берлоги. Женщины заседали отдельно, в сакральне (она же кухня), пили вино Кьянти и верещали. А мы, особи мужского полу, вещали. Что, разумеется, было неизмеримо выше.

Единство стиля – причем штиля высокого! - из года в год было характерной чертой этой дискуссии. Есть такая книга, *Так говорил Заратустра* называется. Так там говорит один Заратустра – от же Заратуштра, известный также под именем Зороастр – остальные благоговейно внимают. У нас же за столом было столько же Зоротустр, сколько голов. А голов было четыре, не считая моей, неразговорчивой.

Первый тост неизменно провозглашал близнец Вася:

- *Давайте встанем и выпьем за праздник Великого Октября. Чтоб вечно жил.*

За первым тостом следовал второй:

- *За комитет Государственной Безопасности Союза Советских Социалистических Республик.*

А потом начиналась свободная дискуссия. В отличие от российской демократии, неуправляемая и непредсказуемая.

Россия как луг: ему только дай – зацветет! Одна беда: не дают, сволочи. У нас ведь как? На каждый цветок найдется падла, которая его затопчет. Так говорил Коля.

Россия – это поле. Ежели его не полоть, вырастет черт те что. Поэтому мы, специалисты по устранению сорняков в обществе, являемся его стержнем. Так говорил Вася.

Россия как лес. Уйти в нее с головой и заблудиться в ней – одно удовольствие. Более того – счастье. Так говорил Толя.

В России светлого будущего тайна покрывает все. Так говорил Вася. И при этом смотрел горящим взором сквозь стену, в неведомую и недоступную прочим даль.

За угощение тебе, конечно, Вася, спасибо, но выпить я хочу за то время, когда твоя достоправная организация сгинет. Так говорил Коля.

Госбезопасность – это правящая партия России следующего тысячелетия. Так говорил Вася.

Впереди великая схватка между ворами и вертухаями. Вертухаи будут время от времени брать верх. А мы навсегда. Так говорил Саня.

Ничто не разъединяет нацию так, как свобода говорить, что вздумается. И ничто не сжимает ее в единый кулак крепче, чем обций враг. Так говорил Вася.

По лесу ходишь, как по бабе ползаешь. Так говорил Толя.

Воры в России и есть правящая партия. Притом самая массовая. Так говорил Саня.

Госбезопасность – это больше чем правящий класс. Госбезопасность – это рыцарский орден! Так говорил Вася.

Пока тайная полиция не станет явной, в СССР никто не будет знать правды. Ни один человек, включая дегенерального секретаря. А это значит, что мы как были империей лжи, так и останемся. Так говорил Коля.

Госбезопасность вечна и бесконечна. Мы непобедимы потому, что наши люди бывшими не бывают. Так говорил Вася

За каждой тайной Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза скрывается чье-нибудь преступление, мать вашу. Так говорил Толя.

Общество, в котором верховной властью обладает тайная полиция - это черная дыра, состоящая из черных дыр. Так говорил Коля.

Вы, бляхамуха, не рыцари, а панцыри. Так говорил Толя.

В стране, где крадут все, даже близнецы-братья становятся как не родные. Что еще раз доказывает: воровство есть мать прогресса и происхождения видов. Так говорил Саня.

Стоит мать-державе один раз дать слабину – один только раз! – и демократы-дисиденты разорвут ее вклячья, а воры растащат то что останется. ГБ станет собирателем земель русских. И перед нами весь мир шапки снимет. Так говорил Вася.

После четвертого стакана алкоголь начинал брать свое. Догадываться, кто какую максимум высказал, с каждой минутой и каждым глотком становилось все труднее. И наконец наступал момент, когда не только отличие между демократом и партократом, правым и левым, ложкой и вилкой стиралось, но даже различие между телом и словом исчезало куда-то.

Нюша в Масле

Однажды в потоке очередной, а может, внеочередной компани моих гостей, в берлогу, как бы плывя по потоку жизни на каное, вплыл маститый художник Бу. ,

принадлежавший, как тогда говорили, к направлению соцреалистов. Он чувствовал себя таким маститым, что, держал щеки постоянно немного надутыми изнутри. Что придавало ему сходство с портретами членов политбюро, по которым он специализировался, как Левитан по пейзажам, а Питер Бройгель Мужичкий по сельским праздникам. Впрочем, маститый Бу. был не лишен элементов демократичности и снизошел до того, чтобы пить со мной из одной бутылки, которую, кстати сказать, принес не он. Выйдя помыть руки и еще за чем то не менее эпохальным (ибо эпохальным был каждый шаг этого деятеля), он увидел сидящую на своем троне королеву Ньюшу и пришел от ее типажа в неописуемое восхищение, переходящее в возбуждение. Уверен что, если бы в штанах у него был гюльфик, как у крестьян на картинах помянутого выше всеу Бройгеля, он поднялся бы к небесам, как светофор перед приближающимся поездом. Художник обратился к Ньюше с каким-то суетным замечанием, она величаво ответила с высоты своего трона, слово за слово они разговорились, притом совершенно непринужденно, словно на приеме в Букингемском дворце, и художник, оттащить которого от трона, он же сортир, было совершенно невозможно (а неоднократная попытка такого рода пришедшей с ним дамой с суровым лицом предпринималась), млея и оторопев от внезапно нахлынувшего на него желания, причем не какогонибудь, а творить, и не с кемнибудь, а именно с Ньюшей, и не когданибудь там в далеком завтра, а здесь и сейчас, то есть не отходя от сортира, застенчиво попросил разрешения изобразить Ньюшу обнаженной и заплатить ей за позирование по высшей категории из расчета семьдесят две копейки в час. Но так как единственное место, где Ньюша соглашалась сидеть неподвижно, была ее Тронная Зала, она же сортир, а никак не Академия Художеств, куда художник Бу. настойчиво пытался затащить нашу Ньюшу якобы для того, чтобы ее достойно увековечить (вековечь здесь или нигде – величественно сказала ему Ньюша со своего трона – знаю я вас, кобелей!), мастер советской кисти вынужден был смириться и сдаться. Однако, будучи не в силах оторвать от Ньюши глаз, он решил начать работать над Ньюшей немедленно, не отходя от сортира, к которому фантазер Коля, умевший создать пикантность из ничего, собственноручно и, я бы сказал, изящно принес ему стул, бумагу и карандаш.

Судя по пылу, с которым классик соцреализма приступил к работе, он нашел свою Ньюшу, как Фидий Фрину и Рембранд Саскию. Картина, надо отдать ей должное, получилась незабываемая (то есть я имею в виду, не та картина что на бумаге или холсте, а картина берлоги в целом, которую видели мы, с Ньюшей на троне и рисующим ее мэтром у его подножия). Свободный Коля тайком даже успел сделать фотографию этой картины, (то есть не холста, а вида на холст) из Корридора, вместе с художником, его моделью и примкнувшим к ним сортиром. Когда вспыхнула вспышка, мастер гневно обернулся, и ошибся, ибо в этот момент вспышка вспыхнула во второй раз и второй кадр получился еще более колоритным чем первый.

То, что получалось на холсте, было более спорно. Ньюша, поглядев на себя в масле после третьего сеанса, сказала: “Ну и изувековечил, мать твою! ”.

Не могу забыть берлогу которая в эти минуты сама превратилась в картину, в том значении этого слова, которое соответствует киноленте. Вы только представьте себе: на унитазе сидит красавица баба, раздвинув ноги, как японский самурай перед войском. Перед ней – престарелый реалист, который вглядывается в каждую черточку почти

голой женщины, прежде чем дотошно нанести на ее изображение штрих или мазок ¹². Время от времени мастер, прищурившись, сравнивает созданный им на холсте образ, которому надлежало жить в веках, с оригиналом, и, как мне показалось, чаще, чем можно было ожидать от художника такого калибра, подходил к натуре вплотную чтобы разглядеть ту или иную ее деталь, украдкой, впрочем, норовя как бы случайно прикоснуться к ней щекой или пальцами. Народ, то есть и гости, и жильцы, вынужденные, кстати сказать, проходить мимо художника и его творения на кухню бочком, толпился и высказывал свое мнение о степени соответствия изображения оригиналу, придавая ситуации жанр и неуловимое сходство с русской ярмаркой.

Работа над картиной была прервана совершенно неожиданно. В Корридор явился Витька, куда-то на несколько дней исчезнувший из него со своей Ньюшкой. Робин Гуд постоял в толпе некоторое время вместе со всеми, попеременно дивясь то на картину, то на маму, то на художника; но когда гордость советской живописи в очередной раз приблизился к Ньюше и потрогал ее за что то, Витька вдруг переменялся в лице, пробился сквозь наши ряды вперед к сортиру, взял мастера советской кисти за горло одной рукой, и, приподняв его над землей-матушкой, прорычал: “Еще раз притронешься к мамочке – убью”.

Художник оказался таким трусом, что вместе с мольбертом немедленно исчез из Берлоги. Да так быстро, что никто даже не успел заметить, куда. Тем не менее, будучи профессионалом, картину с Ньюшей художник довел до завершения, хотя не такого как мы ожидали. По дошедшим до меня от суровой дамы слухам, для завершения работы над холстом Бу. поехал в творческую командировку, кажется вместе с этой самой вечно суровой дамой, гнев которой не менялся на милость, а мирно сосуществовал с ней. Галина Васильевна, которой неожиданно посчастливилось увидеть портрет Ньюши в окончательном виде на выставке в Манеже в Москве, была поражена. На нем женщина, напоминавшая Ньюшу лицом и телом, но одетая почему-то в рабочий комбинезон (как гипсовые гребчихи и дискоболки в парках культуры и отдыха от культуры в трусики) управляла бульдозером на фоне какой-то новостройки. Подпись под картиной гласила “Передовица из Воронежа”. Картина эта, кажется, даже получила какую-то премию и по слухам, некоторое время украшала собой музей. Ньюше же от этих сеансов ничего не перепало. Даже рваного рублика.

Насколько мне известно, в 1991 году художник Бу., не смотря на свою соцреалистическую ориентацию, эмигрировал из России, женившись на пылкой француженке лет на двадцать старше его самого, и следы его, равно как и соцреалистического портрета Ньюши, затерялись. А жаль. Я был бы счастлив повесить его в моем кабинете. Ведь то единственное материальное, что осталось у меня в память о Ньюше – это заезжанная пленка с русскими песнями, которые она исполняла не выходя из сортира. И ничего более. То есть ни фотографий, ни портретов, ни даже автографов. Вообще ничего.

¹² Мазки, скажу для достоверности бытописания, начались на два часа позднее, чем работа карандашом, когда Коля с сердитой дамой на такси привезли из мастерской художника в академии все необходимое для работы кистью. Дама по возвращении была уже не такой сердитой и говорила о Коле, а Коля взахлеб говорил о мастерской, в которое его поразило все, включая сто тридцать четыре поясных изображения Ильича.

Дима На Все Руки

У Онегина был друг. Нет, не Ленский. Не поклонник Канта. Вообще ничего не поклонник. И не поэт. И даже не прозаик. А молчун. Слово из него было выдавить трудно. Но уж если рассказывал, то обстоятельно. Хотя и односложно.

Звали молчаливого друга не Пилад, как было бы если бы Берлога была частью не российской, а греческой трагедии. Димой его звали. Просто Дима, без фамилии и отчества. Но с прозвищем. Которое можно было принять за титул. Его звали Дима На Все Руки.

Нельзя сказать, чтобы у Димы не было особых примет. Была у Димы одна чисто русская особенность. Но не та о которой вы подумали. То есть и та тоже была, но не в достопримечательной степени. Не буду интриговать. Дима умел делать все, к чему надо приложить руки. Он смело шел на любую работу, где надо были иметь дело с техникой. Он брался починить любое устройство от магнитофона Сони до швейной машинки Зингер. И техника чинилась как бы сама собой. То есть не то, чтобы Мерседес начинал блестеть и сиять. Но сломанный среди бурелома, где не то что нового трамблера – гайки не найти - он чинился и ехал. Надо было проехать километр – проедет километр. Но если надо тысячу – проедет и тысячу.

Когда его спрашивали, Дима, а ты можешь...

Могу – отвечал Дима, не давая закончить фразу, чтобы уточнить что именно он может. И это не было пустой похвальбой. Это не было русской готовностью на все. Это был дар от бога.

Когда у меня сломался подаренный японский радиоприемник, Дима взял его на день – и принес работающим. Без всяких описаний. Даже без запчастей. Просто работающим – и все.

В присутствии Димы техника становилась живым существом. Она исправлялась заранее, просто при его приближении. Более того: если Дима на какую то железяку сердился и говорил: сломайся! – просто говорил, даже не дотрагиваясь, как Сезам, откройся. – и ломалось! Ну прямо как в сказке.

- Мы самый умелый народ в мире. Никто лучше нас не посадит самолет с одним отвалившимся крылом или не починит трактор в сломавшийся в тундре, где на тыщу километров нет ни души. – сказал как-то Дима.

- Так в чем же наша проблема? – спросил я.

- В том же самом в чем мы лучше всех – ответил Дима. – Мы починим грузовик голыми руками. И посадим самолет у которого отвалилось крыло лучше всех на свете. Но никогда наши автомобили не перестанут ломаться. Никогда у нас не будет нормальных дорог а всегда с колеей. И никогда – слышишь? НИКОГДА!! - наши самолеты не будут надежно летать на двух крыльях, как во всех прочих странах.

И замолчал.

В другой раз он изрек (когда мы с ним проехали – не светерком, а с ураганом – по проселкам в районе Вуоксы): следующее:

- У нас лучшие в мире мастера ездить по бездорожью. Но и мастерам нашим приумножать бездорожье в мире нет равных. Дабы не оскудевала армия умельцев, умеющих по бездорожью сигать. И так во всем и навсегда.

И еще (во время ледникового периода, когда отопление в тридцатиградуемые морозы вырубилось):

- Наверное, мы самый приспособленный народ в мире. К чему? А ко всему. То есть не к чему то конкретному, а вообще самый приспособленный. Будь готов? Всегда готов. К чему? А ко всему. Достаточно посмотреть на карту, где мы живем и выживаем, чтобы вопросов не было. А там, где условия не экстремальные, а могли бы, будь эта земля перенесенной куда нибудь в окрестности Лондона, быть нормальными, в каком нибудь Саратове, мы их экстремальными сделаем! Проблема в другом: что в других странах эти наши умения выживать как не не требуются. У них там такая цивилизация, что экстремальные условия не создаются, а наоборот.

(вместо Экстремальные дима Говорил экстремальные, это тоже была его особенность. А нарочно говорил или шутки ради – того не знаю).

Удивительно, что отечественная техника нередко чинилась при его приближении сама. Причем только отечественная. Импортная его ауру не принимала. Как если бы Дима на все руки был русским богом и она, как собака человека, чувствовала хозяина. Если же приходилось прикладывать руки, то Дима делал ровно то, что нужно чтобы она начинала работать – и ни на одно движение более того.

Однажды в лютый мороз шофер вместе с набежавшими умельцами в нашем дворе в полной безнадежности пытались завести скорую два часа кряду. И мучались, пока дима не приблизился. А Дима приблизился и внимательно посмотрел на старую клячу – ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛ – и она завелась. И поехала. Однако когда развалюха на следующий день остановилась и они стали ее трясти без Димы, ничего не вышло. Сколько на нее не смотрели.

Автомобили он чинил любые, причем делал это в одиночку и где угодно: то есть буквально на любом ровном месте. Единственное, на что ему нужна была помощь – это на то, чтобы поставить автомобиль на бок, с опорой на колесо. Остальное он делал один. Каким образом ему удавалось, например, одновременно нажимать на газ и перебирать карбюратор, навсегда осталось для меня тайной.

А еще запомнился мне молчаливый Дима коротким рассказом о своей службе на флоте. Собственно это был первый и почти что единственный рассказ с началом и концом, который я от него услышал.

- Мы – говорит, - когда шли через Средиземное, сидели в машинном отделении, как рабы. На воздух не выпускали. Только в кубрик, в кают кампанию и к машине – больше никуда. А там жара – одуреть можно. Разозлило меня это дело. И решил я ни с того ни с сего двигатель застопорить. То есть организовать стоп машину на крейсере посреди моря в разгар выполнения боевого задания. Посмотрим, думаю, что они мне сделают? Мне хорошо, я матрос, спрос маленький, потому что разжаловать некуда. Чего бояться? Чего я сделал говорить не буду, туда, сюда обратно, короче говоря, стал корабль. Ну, тут конечно, шухер начался., капитан старпому, тот боцману, а боцман – тот уж непосредственно мне. Сперва неуставно орал, а потом перешел на командирский голос и как гаркнет: Матрос Бобов. Отстраняю вас от работы до конца смены. Марш на палубу!
- Поднялся я на наконец палубу, вдохнул воздуха, осмотрелся: небо голубое, море такое синее, что даже зеленоватое, острова, яхты, на яхтах девушки. Жизнь одним словом, как она должна быть. Рай. А он думает, что он меня наказал...

А он думает, что он меня наказал, - часто повторял я по поводу и без вслед за Димой на все руки... И повторяю до сих пор.

Она Понимала Все

Я поражаюсь – сказала однажды Аленушка, мирно помешивая поварешкой суп - почему мужчины как правило вешаются, а женщины как правило травятся?

- А я очень хорошо понимаю – сказала Тоня. Мужчинам все равно, как они в гробу выглядеть будут, им главное результат. А когда отравишься, лежишь такая хорошенькая-хорошенкая. Все глядят на тебя и плачут. Представляешь?!
- Ну хорошо, а зачем тогда девушка, к которой мы сегодня приезжали, выбросилась с четвертого этажа на асфальт? Прыгала дура на ноги и осталась живая. Теперь искалеченная будет ходить всю жизнь. А прыгала бы рыбкой, головой вниз, как в речку - это было бы уж точно наверняка. А она, дура, на ноги!
- Почему же дура? – сказала Тоня. – Я ее понимаю. На ноги падала потому что в гробу хотела хорошо выглядеть. Представляешь: лежить в гробу такая хорошенькая хорошенкая...
- А почему тогда ей было не отравиться, как люди, если она такая мечтательная? Неужели тебе не ясно? Она хотела и красивой остаться, и на тот свет отправиться, и на лекарства сэкономить. Это же так просто!

Посмотрел я на Тоню внимательно, хотя и незаметно, и подумал: Девушка, которая так много понимает в жизни, далеко пойдет. И высоко залетит. При одном, правда, условии: если не подзалетит до того, как взлетела.

Русское Время

Этот разговор в кухоньке запомнился мне во всех подробностях. Хорошо помню, что было февральское утро. Не помню только какого года. То ли семьдесят девятого, то ли восемьдесят шестого. Хотя, по некоторым косвенным признакам, дело было при Андропове. А впрочем, имеет ли какое либо значение к какому дереву прилепить гнездо памяти? И меняет ли эта привязка что нибудь хоть на йоту?

Итак, воскресное утро. В этом нет никакого сомнения, потому что все дома и высыпали на кухню готовить себе завтраки, даже Толя, чтобы Нонне не скучно было. И идет типичный кухонный разговор, когда говорят, но друг друга не видят, потому что не отрывают глаз от стола и плиты. Один Толя не занят ничем, смотрит в окно и философствует.

- Что то зима в этом году непутевая, – тревожно говорит он. – Совсем снега нет. Теплынь. И почки вот-вот распустятся, глупые.
- Не понимаю о чем вы тревожитесь, Анатолий Михайлович. – спокойно сказала Галина Васильевна, - Обыкновенная русская зима.
- Вы бы еще сказали обыкновенный русский четверг, – пробурчал Толя. И добавил тихо, оборотясь ко мне: “Дура какая.” Опять поглядел в окно. И продолжал как бы размышляя про себя:
- Если морозы ударят и деревья померзнут, что будем тогда делать? Жить то как будем?
- Ничего страшного не произойдет, Анатолий Михайлович, вы же знаете. Тысячу лет с нами ничего страшного не происходило – значит, и теперь выживем. – сказала Галина Васильевна спокойно, что в данном контексте звучало очень оптимистично. - И пора бы вам привыкнуть к русским временам года, знаете ли.

Тут Толя оживился и поглядел на Галину Васильевну.

- Это что еще за русские времена года такие? (и оборотясь ко мне: “Дура она и в Африке дура”).
- Уж не знаю, как вам словами объяснить какие они, наши времена года – сказала Галина Васильевна очень серьезно. - Но уж точно не такие, как в других странах.
- И мы, что ли, не такие?
- Конечно не такие. А вы разве не замечали?
- Так что ж, мы нелюди по вашему, что ли?
- Успокойтесь Анатолий Михалович. Люди мы. Люди. Но другие. И времена года у нас другие. И отношения у нас другие. А в разные время года мы разные. Все более или менее одинаковые – что зимой, что летом. А мы – разные.
- То есть как это? В Ноябре я не такой же Толя, как в мае, что ли?
- Насчет вас не знаю. А ноябрьские женщины совершенно не похожи на майских. Это я вам официально заявляю.
- Послушать вас, так можно подумать, что русские бабы не такие как во всех прочих странах. Потому что с временами года меняются, словно какие нибудь березы.
- Ну вот, Анатолий Михайлович, вы меня начинаете понимать. Но я не только о женщинах. Я вообще о нас.
- Так у нас с вами что же, годовые циклы, вроде как на пнях?
- Ах, Анатолий Михалович, вы мужчина, вам кажется, что время идет не кругами, а по прямой. Если бы вы были женщиной, такой вопрос у вас бы не возникал.
- Ну дура, – говорит Толик, оборотясь ко мне. А потом опять во весь голос:
– Послушать вас, подумаешь что наша Родина женского пола не только потому что слово *родина* женского рода? То есть у нашей Родины Матери не только месячные и недельные, но и годичные циклы, вы это хотите сказать? То есть ходи по кругу, Русь матушка, до умопомрачения, и не жди никакого прогресса?
- Вы мне политических ярлыков не клейте, Анатолий Михайлович, уж вам то это никак не к лицу. Просто русский народ своей культурой очень с временем года связан, можно сказать, как никакой другой в Европе и Азии. Я не говорю хорошо это или плохо, просто констатирую эту нашу самобытность. Поэтому революции у нас происходят в темное время года, правительства меняются в августе, а повышения цен происходят с роспуском почек. Это же очевидно.
- То есть вы хотите сказать, что мы растения?
- С точки зрения кормления грудью мы безусловно млекопитающие. Но в смысле близости к природе и ее переменам - стопроцентные растения. Можете даже ни секунды в этом не сомневаться.
- И Россия растение?
- Не понимаю, Анатолий Михайлович, почему вас это удивляет. И вам ли с этим не соглашаться, который плоть от плоти от русского леса...
- Допусти я растение. Вы растение. И Витька растение. Но почему русское, мать вашу?
- А что тут особенного, Анатолий Михайлович? Если есть русская зима, почему не быть и русскому крыжовнику? Уж если у нас все русское – то надо быть последовательными.

- Люблю долиинины руууские, пригоорки и кустыыы, – запела вдруг кроткая Аленушка начало песни, которая в тот года исполнялась по радио чаще, чем какая либо другая. И все с удивлением отметили, Что у Аленушки тоже есть голос.
- Платфооормы деревьяаннвые, желееезные мостыыы – как эхо, подхватила Нонна вторую строку, правда, довольно фальшиво. Все посмотрели на Ньюшу, но главная певунья почему то не вступила и не поддержала.
- Вы бы еще сказали что у нас *русские народные животные* и *русский народный медведь*. – пробурчал Толя. И повторил, в который уже раз оборотясь ко мне, но на этот раз так, чтобы все слышали: “Ну и дура же наша Галина Васильевна!”. А потом выпалил в лицо ответственной съемщице, будто в упор из обреза выстрелил:
- Может и время у нас русское?
- Конечно, русское, Анатолий Михайлович. Вы что же, не замечали, что время у нас не такое, как в других странах?
- Аах! – только и промолвила Верочка, и заморгала.
- То есть не такое как в Англии?
- Конечно, не такое.
- И не такое как в Китае?
- Вообще ничего общего.
- А что же тогда показывают часы?
- У нас – ничего!

Тут все слегка обомлели.

- Так, говорите, ничего?- строго переспросил Толя.
- Совершенно ничего, Анатолий Михайлович.
- А что же тогда по радио в рабочий полдень пикает? И какого ляха к примеру, в Новый Год куранты бьют?
- Вот вы сами себе и ответили, Анатолий Михайлович. Стрелки часов у нас ничего не показывают. И куранты бьют просто так, для отвода глаз. Это не хорошо и не плохо, повторяю вам. Это факт. Потому что Наше Русское Время вообще не такое. То есть не то, чтобы сдвигать с летнего на зимнее, уйти вперед или отстать, а вообще не-та-ко-е.
- А какое?
- Вы гармонь когданибудь видели?
- Да я ж гармонист. Неужели забыли?
- Значит вам это будет очень просто объяснить. Гармонь когданибудь растягивали?
- Растягивал. – сказал Толик. Растянул воображаемую гармонику сразу как бы помолодев. Подмигнул мне. И, кажется, чуть-чуть загрустил.
- А потом сжимаете?
- Сжимаю. – И сжал невидимую гармонь. И пробежал по невидимым кнопкам пальцами.
- А потом опять растягиваете?
- Растягиваю.
- А потом опять сжимаете?
- Сжимаю.
- А потом опять растягиваете?
- Растягиваю.
- А потом опять сжимаете?

- Сжимаю.
- Вот так и русское время. Только с несколькими гармониями сразу. Каждая из которых играет свою мелодию. Оркестр, одним словом. Вот так и выходит, что в Москве, например, пятница, в Саратове день рыбака, а в какомнибудь Бийске прошлый век. Ну вы даете, Галина Васильевна, – сказал Толик. Поставил воображаемую гармонь на табурет. Плюнул в раковину. Махнул рукой. И ушел с кухни.

Первый Подвиг Над Гераклом

Я сидел в кресле-качалке и читал Дюренматта, когда в Берлогу без стука явился Алексей, созданный по образу и подобию греческого полубога и который в то время был десятиклассником. Я изумился. Такое было с Алешей впервые. То есть не только без стука, а вообще – зайти. И не только ко мне, а кажется, к кому бы то ни было из соседей с момента рождения.

Произошло что-то экстраординарное. Парень был явно не в себе. И не в том дело, что он шел по стеночке, шарахаясь от пустоты. В берлоге он всегда ходил по стеночке. И с детства привык к походке придуманной Петипа для маленьких лебедей. Которые, как всемирно известно, перемещаются бочком и скрещивая ноги. Но если балеринки-лебедушки передвигались бочком по непонятной причине, то Геракл Леха – по понятной: чтобы нечаянно не опрокинуть какогонибудь человека или статуэтку.

Необычно было другое. Парня качало, словно он греб в байдарке по озеру при боковой волне. И по лицу гигантского отрока опрометью носились разные чувства и выражения.

- Можно я сяду? – спросил юный Геракл и не дожидаясь разрешения, осторожно присел на стул, но не смотря на это едва не сломав его так как стулу было лет девяносто.

Из застенчивых объяснений отрока я постепенно восстановил картину происшедшего. И когда понял, меня чуть не закачало. Но от внутреннего смеха.

Дело было так. Леха-Геракл мылся под душем по обыкновению тщательно, соскребая пот и грязь, когда услышал шорох за дверью и с удивлением обнаружил что крючек двери, который он по обыкновению тщательно опустил, поднимается, кажется даже ножом. Не успел он подумать о чем либо нехорошем или хотя бы удивиться, как в комнату вплыла, словно по водной глади, вечно веселая Тоня, с озабоченным (или якобы озабоченным, что вернее) выражением на мордочке, с учебником массажа в руках. То и дело заглядывая (или, скорее, якобы заглядывая) в руководство, проказница начала производить на Лехе, как бы не замечая его наготы, которую он сначала пытался прикрывать чем мог, лечебный массаж. Причем не какойнибудь спины или трицепса, а именно того органа, который (во множественном числе) в Советском Союзе запрещен.

- И чем же она тебя массировала? – спросил я заинтригованно.
- Всем – ответил Алексей ошалело.
- И все же? Чем всем? Руками? Ртом? Щекой? Грудью?- спросил я четырежды так как на каждое предположение Геракл отрицательно мотал головой.
- Всем – проговорил наконец многосильный юноша уныло.
- Это нетривиально – без интереса отметил я. – Ну и чего же убиваться?

- Не так я хотел в первый раз, – сказал Леха. И, как мне показалось, в краешке его левого глаза заблестела слеза.

Я посмотрел на могучего мальчугана. И вдруг увидел, что тело его выросло намного раньше чем голова. И что он совсем еще пацан. Чистый славный отрок. Что за его размерами в глаза не бросалось, а наоборот. Бывают чистые девочки. По крайней мере, верится, что бывают. Почему же не быть чистым мальчикам? И почему страдания юного Вертера кажутся смешными и нелепыми какихнибудь сто пятьдесят лет спустя? Может быть, это не он, а я нелеп и забавен вместе со всем остальным миром?

Геракл тем временем пришел в себя. Погладил свои мощные бицепсы. И, делая пируэты вокруг невидимых статуэток (так что мне почудилось, что он встроился принцем в четверку невидимых балеринок), многосильный юноша исчез.

Шерри Бренди

В один прекрасный день раздается звонок Ольеньки Самарской, некогда одной из самых очаровательных манекенщиц Новосибирска, а ныне филолога и руководителя отдела приема интуристов по классу Люкс в гостиннице Прибалтийская. Девушка извиняется и спрашивает разрешения заскочить ко мне с одним интересным человечком. Я не возражаю. И уже через пятнадцать минут мы сидим вчетвером: Ольенька, Верочка, я и журналист, представившимся заведующим отделом писем газеты Вечерный Ленинград Мясницким. Ольенька, в отличие от меня имевшая доступ к иностранцам и иже с ними товарам иностранного производства, поставила на стол Бренди. Не Шерри Бренди, увековеченого стихами Мандельштама, но все таки Бренди, настоящего капитанского Бренди, бутылка которого на следующий же день украсила мою располагавшуюся на диссидентском шкафу коллекцию выпитого.

Мы выпили, и я как то очень резко захмелел. Со спирта так не хмелел, как от этого бренди. А жаль. Потому что беседа с самого начала приняла чрезвычайно интересный оборот.

- У меня есть к вам, господин редактор - обратился я к Мясницкому, - один практический вопрос, на который вы можете не отвечать, если считаете это невозможным или неуместным: если к вам приходит письмо с антисоветским содержанием, вы его в КГБ сдаете?
- Милый вы мой интеллеktуал, – ответил Мясницкий, всплеснув руками, - это типичное заблуждение интеллигенции, которая таким образом придает своей ничтожной роли в машине нашего государства слишком большое значение.
- Спасибо. Это была важная информация, – сказал я, показывая, что вопрос мой был всего лишь застольной шуткою. И, заметив, что Оля подмигивает мне, но неправильно истолковав это подмигивание, продолжал в том же тоне:
- А что же вы с ними делаете, с этими письмами? Ведь они к вам не могут не приходиться?
- Конечно приходят. По несколько штук в день.
- Ну - и?
- У нас есть инструкция: антисоветские письма уничтожать.
- И вы что же, сжигаете их? Или сначала рвете а потом сжигаете?
- Да просто выбрасываем в мусорную корзину.
- Так прозаически ?

- А вам, как истинному интеллигенту, в каждом мусорном ведре романтика мерещится? Повторяю: величайшее и самое опасное, прежде всего для нее самой, заблуждение русской интеллигенции со времен Чехова и до наших дней состоит в том, что мы думаем, что наше недовольство режимом кого-то интересует. На самом же деле власть в России настолько тверда, что мнение снизу кого бф то им было совершенно не интересует никого наверху, – закончил М. с неожиданной яростью. – Понимаете? Совершенно и никого.
- Ну а просто интересные письма, без политического содержания, приходят? – спросила Верочка, дипломатично меняя тему и многозначительно наступив мне под столом на ногу своей туфелькой.
- Еще как приходят!
- И когда в последний раз было чтонибудь запоминающееся?
- Да несколько раз на дню. Но через пару часов раскрываю конверт с чемнибудь еще более незабываемым, и то, что было раньше, на фоне нового бреда меркнет, не потому что прежний хуже, а просто – как перед новой столицей померкла старая, или, как старая любовница меркнет перед новой, даже если эта старая - молодая.
- И сегодня была достойные упоминания корреспонденция?
- А как же! Еще как была! Были два интереснейших письмеца. Первое связано с Белыми ночами. Вы наверное помните, что каждый год в разгар Белых Ночей мы в нашей газете на весь разворот печатаем панорамный снимок Невы с стихотворной подписью. В этом году пик Белых ночей пришелся на субботу. Так что у простого советского человека было больше шансов раскрыть этот свежий номер с бодуна. И вот сегодня, как раз после обеденного перерыва, распечатываю я письмо, в котором написано следующее: ‘Дорогая редакция. Сегодня вы опубликовали под фотографией вида Ленинграда с Кировского моста следующие стихи: “Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. И потом: И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.”’
- В связи с этим сообщаю, что стихи на меня произвели очень большое хорошее впечатление. Они мне запомнились и запали в душу. Но почему вы не написали, кто автор? Пожалуйста, исправьте эту оплошность. С уважением, Сергей Храпов, Ленинградец.’ И адрес.
- Не может быть. Сознайтесь, что вы это сейчас придумали? – всплеснула руками грациозная Верочка. Мясницкий пожал плечами.
- Да вот, смотрие сами! – он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт, а из него написанный от руки листок, который пошел – и прошел - по рукам и, описав круг, вернулся во внутренний карман Мясницкого. Там так и было написано, слово в слово. И даже дата стояла. Невероятно!
- И вы это опубликуете?- спросила Верочка.
- Нет, конечно. Хотя стоило бы. Ведь если такого тупорылого дождевого червя стихи Пушкина прошибли настолько, что он взял перо и написал в редакцию, то лучшего доказательства величия поэта, написавшего их, и быть не может!
- Замечательно. Ну а вторая история? – увлеченно спросила Верочка.
- Второе письмо пожалуй еще интереснее, чем первое, – сказал Мясников, наливая всем еще по пол стакана. Я выпил залпом, и вторую историю, а также того, что происходило на этом вечере после, к большому для меня сожалению, не помню.

Через пару дней после этого русского перепоя (которые, как известно, давно пришли на смену русским переплясам; то есть переплясов кроме как по телевизору я за всю жизнь нигде ни разу не видел, а перепои – на любом углу в любое время) опять позвонила Оля, представившись как всегда по фамилии: Самарская.

- Что это ты вчера разболтался, Федя? – строго спросила она. –

Что это тебя понесло?

- Бредни сбрендил я намедни и понес под бренди бредни – сказал я,. – А что, разве я что-то не подобающее говорил?

- Мне кажется, друг мой, что информацию о том, что антисоветские письма выбрасываются в корзину, ты воспринял черезчур буквально.

- В каком смысле?

- В том, что со свойственной тебе склонностью к обобщению, ты распространил ее на всю нашу замечательную во всех прочих отношениях действительность.

- Так это была шутка? Или неправда?

- Разумеется, правда. Но не вся правда. Как у тебя вообще?

Нормально – сказал я. И не соврал. Если бы мне вдруг предложили выехать в Гарвард читать лекции, это было бы ненормально. И если бы компетентные во мне органы оставили бы вдруг меня в покое, это тоже было бы ненормально. И если бы к зарплате добавили бы десятку, это тоже было бы ненормально. А так – все нормально.

Пари Матч Века

Поединок к описанию которого я приступаю, скажу без преувеличения, изменил страну Россия. До полной неузнаваемости глядя вперед и полной узнаваемости глядя назад. Это утверждение может быть ложно в одном и только одно случае: если таких или примерно таких событий, приведших однако к тому же финалу, являвшемуся при ближайшем рассмотрении увертюрой, было больше чем одно. Это не преувеличение. Это всего лишь объективный анализ текущих событий.

Дело было в августе восьмидесятого. Дату можно установить совершенно точно, как будет ясно из дальнейшего изложения. Окна были распахнуты. Но моя Малая Берлога была не смотря на это все равно насквозь прокурена, как Малый совнарком. Потому что с Ленькой Гомельским и Мишкой Капланом мы до утра резались в преферанс, как Ленин (если верить поэту Рождественскому) – в городки. И иже с городками в города, республики, страны и континенты. А мы – в карты и только в карты. Такая было между нами и вождем революции небольшая разница в резании.

Мы трое были сыгранной компанией еще с первого курса, когда играли на всех – подчеркиваю, НА ВСЕХ лекциях без исключения.

Помню, как Леньке, игравшему семь бубен, на первом же семинаре по истории КПСС профессор Кривлин вдруг задал первый в студенческой жизни Леньки вопрос: Каковы были цели фашизма, вероломно без объявления войны напавшего на Советский Союз.

- У фашистов – с пафосом сказал Леня, игравший восемь пик, узнав, о чем его спрашивают от меня и слабо вдумываясь в то, что говорит, – был отвратительный идеал красоты. Им нравились высокие, голубоглазые белокурые мужчины. – И

после паузы, горестно – Конечно, хорошо быть голубоглазым, высоким, белокурым... - продолжил он, поглаживая рано начавшую лысеть голову. Но закончить сей глубокий пассаж ему не дал взыв хохота. После которого Ленька был посажен профессором Кривлиным (всего лишь на место до поры до времени). Но взят на заметку. Скандал разразился через четыре месяца, когда на вопрос профессора Кривлина, что такое бесконечность, только что взявший двух тузов в прикупе на мизере Ленька ответил:

- Бесконечность – это конечность. Но с очень большими размерами.

После этого состоялось комсомольское собрание курса, основным докладчиком на котором был профессор Кривлин. В докладе, посвященному высокому моральному облику советского студента, Леньку было рекомендовано исключить из комсомола. Дело, начавшееся с ничего, могло кончиться для Гомельского очень печально, причем не в масштабах дней и недель, а в масштабах жизни. Спас Леньку кто бы вы думали? Правильно думали. Я. Тем что взял слово и сказал с идейными интонациями и наступательной боевитостью: Как студент и комсомолец, я целиком и полностью одобряю предложение профессора Кривлина, что за игру в карты на семинаре профессора Кривлина студент Гомельский должен быть исключен из комсомола. Туда ему и дорога, картежнику и отщепенцу, играющему на семинарах профессора Кривлина. Одного исключения студента Гомельского из комсомола за игру в карты на семинарах профессора Кривлина мало. Мы должны пойти в деле повышеидейного уровня студенчества нашего курса и факультета дальше. В связи с этим вношу следующее предложение. Если студента Гомельского за игру в карты на семинарах и лекциях профессора Кривлина исключат из Комсомола, с формулировкой: за игру в карты на семинарах профессора Кривлина, то студент Тыков, то есть я, должен быть отчислен из института вообще. Поскольку я не только играл в карты на семинарах профессора Кривлина с студентом Гомельским, но и выиграл, играя на семинарах и Лекциях профессораа Кривлина сумму, эквивалентную в общей сложности четырем повышенным стипендиям.

Во время моего выступления рожа профессора Кривлина при каждом упоминании его имени в связи с игрой в карты на его, Кривлина, лекциях и семинарах, рожа кстати, и в самом деле кривая и до того скользкая, что, прокатившись по ней как с ледяной горки, даже самый ловкий пацан неминуемо поскользнуться бы и шлепнулся, увидев, что дело рикошетом может ударить по нему как недостаточно бдительно ведущему семинары по истории Партии Большеви́ков, кривилась, как если бы ее ударяли кулаком. В результате мое предложение об исключении МЕНЯ за игру в карты на ЕГО лекциях и семинарах научный коммунист не поддержал. Соответственно и вопрос об исключении из комсомола Леонида Гомельского тоже перестал стоять ребром, а перешел в разряд вяло текущих, как шизофрения у больше части интеллигенции. После чего благодушно настроенное собрание отмазало Леньку, проголосовав за выговор с предупреждением о новом выговоре.

Не смотря на этот временный либерализм, мы слегка перевоспитались и на лекциях по истории КПСС играть в преферанс перестали. А только в крестики-нолики.

Так что, как видите, спаянность у нас с Ленькой, а иже с ним и с Мишей Капланом ¹³была как у семьи советских народов: проверенная временем.

¹³ Оставшимся за кадром несомненно только из-за своей еврейской фамилии. Потому что, как было замечено, евреи, хотя, ругается, и получают по кумполу регулярно, но

В ту ночь в Берлоге мы играли по мелочи, по четверть копейки, больше для удовольствия чем для выигрыша. Карта мне перла как сумасшедшая. И под утро, когда мы расписывали пулю и я, к собственному удивлению, выиграл аж три рубля, я заметил, что сквозь раскрытую настежь для освежения воздуха (в котором можно было вешать, не при непредумышленном Валентине будет сказано, топор) дверь кто-то смотрит из темноты Корридора. Пригляделся – и с облегчением обнаружил, что не непредумышленный сосед это, как мне показалось вначале, а Великий Саня.

Когда все разошлись и я вышел в Сакральню выбросить окурки, Великий Саня вдруг материализовался из темноты и взял меня за руку.

- Сыграем в очко? – предложил он жестко.
- Да спать пора. Гляди – рассветает.
- Когда Саня предлагает сыграть, Сане не говорят нет, – сказал Саня.
- Да ты никак угрожаешь? – удивился я.
- Тебе? Никогда. Запомни: Саня тебе никогда не угрожал, не угрожает и не будет угрожать. Просто прошу.
- Погоди ка, Саня, не гони волну. А что будет, если я проиграю? А то знаю я эти ваши порядки.
- Проигравший побежит за бухалом. Как молодой. Устраивает?
- И все?
- Тебе этого мало? Саня с двенадцати лет молодым не был, и тебе этого мало?
- Мало. Видишь ли, если нет азарта, то игра не игра. А сбегать за бухалом я и без азарта могу. Я не гордый.
- Тогда давай сыграем на десять процентов лопатника. На честность.
- Я рассмеялся и не поленился сходить за бумажником в прокуренную Малую Берлогу, чтобы открыть его нараспашку перед Лицом Великого Сани. Десять процентов наличности составляли сорок копеек.
- Тогда на десять процентов бумажника через десять лет. Так согласен? – предложил Саня.
- Да чего уж там мелочиться. Давай уж на двадцать процентов через двадцать.
- Идет, – легко согласился Саня. - Плюс проигравший бежит за бухалом. Как молодой. Но не через двадцать лет, а как только откроют винно-водочный. И играем до открытия лабаза и ни минутой позже. По рукам?
- По рукам.

И мы пожали друг другу руки.

- Но ты смотри, и запомни, Федя в свою долговременную память. Через двадцать лет – двадцать процентов бумажника. То есть всего бумажника.
- Понял, как не понять.
- Какое сегодня число?
- Да как раз закрытие Олимпийских игр.
- Значит, август двухтысячного. Смотри, не забудь, Федя. А то у меня руки длинные.

только в строго одобренных сверху ситуациях, например, при взятии на работу или при продвижении вверх. В остальных же случаях, как я с удивлением обнаружил, быть евреем являлось гарантией безопасности. Например, когда позднее мы с Мишкой вместе ходили в Румянцевский садик дискуссировать с членами общества память по еврейскому вопросу, я получил по морде три раза а Мишка ни одного.

- И ты не забудь, Саня - нагло сказал я. – Хоть руки у меня и покорооче твоих.
- Тогда подожди пару минут, пока я за картами схожу. –сказал Саня так, слово это было само собой разумеется.
- Ну уж нет, - отвечаю. - так мы не договаривались. Играть будем моей колодой.
- Так и быть: половина игр твоими, половина моими. – уступил Саня. Уважает – подумал я.
- Компромисс: берем карты у Онегина.- предложил я, играя под простака.
- Да он же спит.
- Разбужу.
- Ну ты и аферист! – покачал головой Саня. – Ладно. Будем играть твоими. Но если они меченые – убью.

Это была самая благодушная угроза, какую я когда либо слышал в жизни. Скорее напоминавшая поцелуй коммунистических лидеров при встрече в аэропорту.

Прежде чем начать играть, я походил по коридору, вспоминая систему игры в очко, которая была мной еще на первом курсе разработана с приятелем с MatMеха, впоследствии ставшим членом- корреспондентом академии наук, но кажется не за эту теорию, а за какую-то другую. Потом сел в позу лотоса. Размял руки и ноги. Сконцентрировался. И обыграл Саню в пух и прах.

До сих пор мне немного жаль, что никому кроме Бога, да пожалуй, полубога Геракла, смотреть было некому. Да и Гераклу, откровенно говоря, если конечно он не видит всеми частями тела, было не так что очень видны детали. Это было нечто! Я хватал Саню за руку на жульничестве, которого он явно не стеснялся. Я вытаскивал у него из рукава и из кармана карты, которые он туда клал. И Саня явно получал удовольствие всякий раз, когда я обнаруживал его трюки. Так профессор гордится успехами аспиранта. Как никак, в некотором смысле я был Саниным учеником! В прямом же соревновании, лоб в лоб, в этой игре мы были совершенно разного класса, как в поединке льва и шакала, причем в этой игре львом был я. Стратегически, например, после смерти, львы обречены на поражение, то есть то что лев будет съеден шакалами как классом не вызывает сомнений у самих львов. Но прямой атаки льва даже предводитель шакалов как индивид выдержать не может. Короче говоря, в ту ночь я делал все, что хотел.

- Ну ты и аферист, – повторил Саня за эту ночь раз пятьдесят. А когда открыли магазин, вздохнул и побежал за бухалом. Как молодой.

А когда мы разлили, сказал: после обеда приведу одного кореша. Отыграться. На тех же условиях. Отказываться ты не имеешь права. Если уважаешь наш закон.

Я уважаю ваш закон – сказал я. Приводи кореша. И я приведу кореша.

- По рукам –сказал Саня.
- По рукам – сказал я.

На этот раз я отнесся к делу серьезно и позвонил Леньке, квалификация которого к тому времени возросла неизмеримо и была намного выше моей потому что он постоянно поддерживал форму а я нет. Кроме того, я понимал, что на кон поставлена честь интеллигенции как прослойки. Потому что, если у интеллигенции нет интеллектуального преимущества перед криминалом, то в чем же?

- Тут нужна молодая голова, - сказал Ленька. – Тут другая техника. Не только соображать, но и замечать подасовки. Есть у меня один молодой гений на примете. Его и возьмем.
- А он не подкачает?
- Как говорил Иосиф Виссарионович председателю союза советских писателей Федину, пожаловавшегося вождю, с какими бездарными и тяжелыми в общении писателями ему приходится работать, других писателей у меня для вас нет. Ну так и лучшего игрока в карты в Ленинграде нет.
- Ладно, тащи – сказал я. И стал готовиться к поединку сильнейших представителей двух армий, как богатырей перед сражением во времена Александра Невского. Прежде всего, я снарядил Нюру и Верочку в сад под окнами за полевыми цветами, и пока они их собирали, смазал тонким слоем меда задницу древнегреческого персонажа. Когда девушки вернулись, я, фантазер, пытавшийся придать происходящему сходство с открытием олимпийских игр времен если не самого Геракла, то Перикла, предложил девушкам украшать святилище обнаженными, и только замечание ставшей к тому времени эрудированной (на мою голову) Верочки, что на олимпийских играх в древности обнаженными не готовили арену, а состязались, и не девушки, а юноши, помешало воплощению этой мой фантазии в явь. Нюра, она же Анюта, нарвала анютиных глазок, в то время как Верочка отдала предпочтение незабудкам, ромашкам и василькам. Всем этим великолепием был украшен зад основателя олимпийских игр, а в место, центральное, как правительственная трибуна, была вставлена ромашка. Превратив, таким образом, комнату в алтарь, я подвинул стол к горельефу так чтобы ромашка была как раз над серединой его, и стал ждать гостей.

Первыми прибыли Ленька с молодым гением карт, оказавшимся очень стройным и очень высоким парнем с волосами до плеч и гитарой за спиной, в старых престарых красовках, затертых джинсах и рубашке с расстегнутым воротом. Молодой Гений, представившийся Шуриком, не теряя ни минуты сел, поджав ноги на тахту, настроил гитару и стал петь гусарские песни.

- А ты не думаешь, что тебе надо собраться, потренировать руку, - спросил я примерно через сорок минут.
- Я тренируюсь всю жизнь – сказал Шурик. И возобновил пение.
- Ты кого ко мне привел? –с просил я Леню, отведя в сторону. По моему, этот Шурик какой то лопух.
- Нам бы с тобой быть такими лопухами. – так же шепотом ответил Ленька. -

Просто Шурик любит, когда его принимают за дурака. Так ему выигрывать легче. Шурик меж тем пел не переставая и не меняя позы, одну песню за другой, их до тех пор, пока в Малую Берлогу не прибыла соперничающая армия, и даже несколько минут после ее прибытия. Она состояла также из трех человек, с помятыми, как штаны, неглаженные со времени принятия Сталинской Конституции, лицами, а именно Саня, тот старший, имени которого я так никогда и не узнал и голоса которого никогда не слышал, и мужчина неопределенного возраста и телосложения. Мы торжественно пожали друг другу руки. И сели напротив друг друга, трое на трое, разделяемые столом и – частично - основателем олимпийских игр. После чего обнаженная Нюра положила на

стол колоду, а одетая в пемлос (сделанный, разумеется, из простыни) Верочка объявила игры открытыми.

Передать колорит схватки титанов не берусь. Это все равно, что комментировать по радио лебединой озеро в исполнении Майи Плисецкой. Скажу только результат. Шурик обыграл корифея зоны с перевесом в двадцать одну партию. И стал было выигрывать двадцать вторую, когда в Малую Берлогу всплыла Галина Васильевна и очень спокойно сказала:

Пойдемте ко мне телевизор смотреть. Там медведя в воздух запустили.

- В ракете как Гагарина? – спросил Саня.

- Нет, надувного – сказала Галина Васильевна. Но очень трогательно. Олимпиаду закрывают. Весь стадион встал и поет: Олимпийская сказка, прощай!

И, кажется, смахнула с краешка глаза слезу. Которая по нему спокойно катилась. И как бы оправдываясь сказала:

Это так трогательно! Даже не знаю, с чем сравнить. Такой всеобщей радости у нас не было, наверное, с запуске Гагарина.

- А предпоследняя радость? – спросил я. Галина Васильевна задумалась.

- Да пожалуй что день Победы. – сказала она наконец. Так что, если частота раз в двадцат лет сохранится, до конца столетия радостями мы уже обеспечены.

На этом наши пари матч века завершился. Все побежали смотреть радость по телевизору и увидели русского мишку который поднимался все выше в воздух.

- В России всегда так, – произнесла Галина Васильевна задумчиво. – То медверь без берлоги, то берлога без медведя.

Так что чьи именно олимпийские игры закрылись: те ли, на которых частично присутствовал лично Геракл, или те, которые реанимировал Кубертен, это еще большой вопрос.

Об этом матче века на несколько лет я и думать забыл. Напомнил он обо себе случайно, как теперь говорят, на заре перестройки, когда я уже не жил в берлоге несколько лет.

Вдруг раздается звонок.

- Привет. Федя. Витя говорит. Есть до тебя дело.

- Как ты меня отыскал?

- Неважно. Есть до тебя дело. Помнишь, мы у тебя в карты играли? И от тебя играл Шурик. Который наших обыграл. Ты не знаешь, где он и как, этот Шурик?

- По имеющимся у меня сведениям, сидит в своей коммуналовке, пьет пиво и поет песни. А в чем дело?

- Да понимаешь, тут Саня в одно дело пошел (я сразу отметил изменение в блатном языке с тех пор, как я ушел из Берлоги: он сказал не пошел на дело, а пошел в дело). Хочет начать в Москве игорный бизнес. И нужен человек, которого в этом кое-что смылит. Которого можно во главе поставить и вообще.

- У Шурика насколько я понимаю, нет московской прописки – говорю довольно наивно – и за пиво платит сданными бутылками - так что в кармане тоже не густо.

- Ну, с пропиской и башлями проблем я думаю не будет – захохотал Витька, как от хорошей шутки. – А телефончик его у тебя есть?

- Да должен быть где то, – сказал я листая записную книжку. И продиктовал.

- Спасибо. Выручил. Я тебе еще какнибудь позвоню. Ну бывай.

Больше я Шурика не видел и ничего о нем не слышал. Когда я через несколько дней позвонил в его коммуналку, соседка сказала, что он куда то срочно уехал. И с тех пор больше не появляться.

С тех пор прошло еще десять лет. И по мере приближения двадцатилетия со времени закрытия олимпийских игр, я все чаще вспоминаю этт пари матч века. И мишку в воздухе, который, как и предсказывалось, оказался нашей последней всеобщей радостью в ушедшем тысячелетии. И то, что Саня мой должник. И думаю: пойти выколачивать долг из старого друга? Напомнить? Или сам вспомнит?

Кузнечик Времени

1998 год. Июнь. Франкфуртский аэропорт.

До пересадки оставалось около часа. Я бесцельно бродил по зоне беспошлинной торговли из одного магазина, сияющего бутылками и этикетками, в другой, еще более сияющий электроникой, из этого в третий, из третьего в тридевятый... когда, как раз между прилавками с бриллиантовыми кольцами Cartier и часами Роллекс, куда я забрел, как вы понимаете, из чистого любопытства, а не затем, чтобы убить время, как медведя в берлоге – одним выстрелом, меня кто то больно стукнул по плечу. Оборачиваюсь. Передо мной стоит квадратный (на голову выше меня, немаленького) и широкий, как Волга, почти наголо постриженный джентельмен, с шрамами на лоснящейся харе и сломанной переносицей (являющейся для Нового Русского примерно таким же признаком принадлежности к клану избранных, как во Франции наличие ордена почетного легиона), а за ним еще двое таких же коротко остриженных квазибогатырей, похожих на первого, как близнецы-братья, только помоложе и с дипломатом в руке каждый. От неожиданности я рефлекторно взрогнул и как бы присел.

- Простите? - говорю вопросительно.

От их повадок дохнуло на меня чем то, давно забытым. Словно время сделало прыжок. Как кузнечик.

- Юрка, ты?

- Вообще то я Юрий Борисович, говорю. - А вы? Извините, не припоминаю.

- Да ты что, жопа! Неужели не признал?

Одно ясно наверняка: это не госбезопасность – мелькнула у меня в голове. – Не их почерк и не их лексикон.

- Простите, говорю. – Пока не узнаю.

- Ты в Берлоге жил?

- Жил, - отвечаю коротко, как на допросе, немного опешив от неожиданности.

- Саню помнишь?

- Саню? Конечно помню. Но вы же не Саня.

- Я не Саня. Эх, если бы я был Саней! Жора я. Жора Шкаф. Который от Сани по левую руку сидел. Ну? Вспомнил?

В глазах у меня на секунду помутнело. Кузнечик времени прыгнул через восемнадцать лет. И в сияющий бриллиантовыми колье и часами *Роллекс* зал беспошлинной торговли вдруг, без всякого перехода, въехал раек с обшарпанными стенами. И тахтой с

выпиравшей из нее пружинной. На которой чинно сидели только что вышедший из тюрьмы Саня с двумя корешами – тем, кто побольше, по левую и тем, кто постарше, по правую. А напротив них на табуреточках - красавица Ньюша со мной по правую руку и непредумышленным Валентином по левую. Царствие ей, берлоге, небесное.

- Жора! Дружище! Вот так встреча! Вот не ожидал. – и я толкнул его в плечо. Что далось мне, скажу положила руку на сердце, не без труда.

- А чего тут не ожидать то, – пробасил шкаф Жора. – Дело житейское.

- Какой же мир стал маленький, черт побери, – глупея на глазах от нахлынувшей на меня растроганности констатировал я. И в самом деле чуть-чуть прослезился. Да и Шкаф Жора, кажется, тоже.

- Не мир маленький, а аэропортов мало. Самые встречи в аэропортах.

(Ну да, конечно, как раньше назначали встречу у дома книги, так теперь в зале продажи драгоценностей Франкфуртского аэропорта – подумал я, - Ничего особенного, дело житейское). И спросил, как старший по возрасту беря беседу в свои руки:

- Ты мне скажи лучше, Жора, как ты живешь? И вообще?

- Как живу? Братки, он спрашивает, как мы живем? Пока вроде неплохо живем.

Видишь? Сопровождают! – кивнул Жора на стоявших за ним холеных амбалов с дипломатами и подмигнул. Я пригляделся и увидел еще одну стайку, состоявшую из четырех девушек, отдаленно напоминавших сборную СССР, но не по гимнастике, а по красоте. Девушки застенчиво примеряли кольца, а также браслеты, цепочки и колье, которые надевали на их удлиненные пальцы и шеи, как будто заимствованные для рекламы с картины художника Боттичелли *Весна*, аккуратные немецкие продавщицы, груди которых едва доходили покупателям до талии.

- И куда же тебя сопровождают (эти сопровождающие тебя ноги – добавил я мысленно и не без зависти)?

- В данный момент, на Мальту. Оттуда – в Париж. Потом Канны, фестиваль, сам знаешь, нельзя пропустить. Потом Лондон, Барселона – и домой. В Питер, на хуй.

- Так ты бизнесмен?

Большой Жора усмехнулся.

- У меня доля в четырнадцати бизнесах. Игорные дома, Экспорт алюминия. Недвижимость. Немного нефти, но в нефть меня серьезно пока не пускают, так, мелочишка. Словом, живем как можем, – и он опять подмигнул и постучал указательным пальцем по золотому перстню на мизинце, громадному, как и сам мизинец.

- А как Витя Робин Гуд? – спросил я не без волнения.

- Витя? Ты что... Витя вообще... Он бизнес классом не летает.

- А что так? Денег нет?

- Хорошая шутка: у Витьки нет денег? Слышали, братки? Этот чудак думает, что у Графа денег нет.

И тихий магазинчик сотрясся от хохота. Такого гулко, что остальные покупатели вздрогнули, огляделись, и расступились кто куда мог.

- А тогда чего ж он бизнес-классом то не летает, если деньги есть? Экономит?

- Да не опускается он до бизнес класса. Он все больше на своем Боинге.

- Погоди ка, Жорик, ты о каком Витьке говоришь? О Робин Гуде?

- Ну!

- Тогда почему ты его графом назвал?

- Ой, да ты не знаешь! Братки, он не знает! Да Витька же теперь граф.
 - Что, кликуха такая?
 - Какая там кликуха... Самый натуральный граф! Ему удостоверение за подписью комиссии при президенте и при патриархе дали, он его на стенке в кабинете под золотой раме держит, чтоб не сомневались на хуй.
- Я потряс головой, пытаюсь стряхнуть с нее абсурд. Как паутину. И присвистнул.
- То есть как это – удостоверение графа? Графа чего? Каких земель? Или это звание теперь присваивают, вроде заслуженного артиста? Народный барон России... Заслуженный князь республики... И это как это: комиссия при патриархе и при президенте одновременно? То есть у нее что же, две головы, как у орла не гербе? А как же с единоначалием? И кто такой у нас президент чтобы графские титулы раздавать? Английская королева? Президент Всея Руси и прочая и прочая и прочая? Или приемный глава дома Романовых? Скажи честно: ты, часом, дружище, не привираешь?
 - Пацаны, он думает, что я привираю! Я сам не верил, пока удостоверение графа у санька на стенке в колонном зале повешенным не увидел. Вот те крест! – тут Большой Жора широко перекрестился и поцеловал висящий на груди золотой с бриллиантами и изумрудами крест граммов этак на сто, для чего ему пришлось предварительно освободить шею от галстука и расстегнуть ворот.
 - Ах да, конечно, у Вити же голубые крови были – вспомнил я – от Ньюши.
 - Насчет голубых кровей ничего не знаю. Знаю только что немало ему это графство стоило. Не крови – бабок. По этому случаю даже Юсуповский дворец, в котором Распутина замочили, закрыли.
 - Кто закрыл?
 - Как кто? Мы.
 - Ничего себе! Как же его теперь величают, Витьку?
 - Я же сказал – граф Виктор. А разве что-то не так?
 - Ну да, все правильно, – подумал я – Лингвистически так и должно быть. Граф Виктор. Вроде как Князь Андрей в *Войне и Мире*. С ума сойти можно.
 - А Робин Гудом он как был, так и остался. Не без этого. За правое дело любому врежет! – смачно добавил шкаф. И показал своим здоровенным кулаком, как именно их сиятельство по морде дает.
 - Скажи пожалуйста... А Славка Башка как?
 - Уух! Славка! Лихая Башка Славка. Славка Башка! Такие пирамиды строит – куда фараонам! Ты б к нему какнибудь отдохнуть слетал. На остров в Эгейском.
 - А, вот оно что? А то думаю, куда это он запропастился? А он в Эгейском!.. Какнибудь непременно залечу, если пролетать неподалеку буду... А уж привет точно пошлю. Сверху. Пролетая...А кстати, ты случайно Шурика не видишь?
 - Какого Шурика?
 - - Того что в карты играл? Помнишь, ты позвонил, что Саня хочет его в дело взять, а потом он исчез куда то.
 - Никуда он не исчезал. С Шуриком мы последний раз только вчера полиэтиленовыми мешками перебрасывались.
 - С мусором, что ли?
 - Сам ты с мусором. С зеленью!
 - То есть с овощами?
-

- Да кто же станет овощами перебрасываться из мерседеса в мерседес? Ну ты и шутник!
- Да зачем же перебрасывались то? И почему в полиэтиленовых?
- Мужики, вы посмоните на него. Он вообще ничего не понимает. Как из социализма свалился.
- Да уж такое я мурло. – скромно признал я собственную ущербность. - А как Саня? Жив? – спросил я, и почувствовал как внутри у меня что то сжалось.
- Саня? Саня это вообще... Саня это вообще... Это ведь он все придумал!
- Что все?
- Вообще все. Постой, ты что, ничего про Саню не знаешь?
- Да мы сто лет как не виделись.
- Если не знаешь, то тебе и не надо знать. И я тебе ничего не говорил. – сказал Жора, вдруг посерьезнев и, мгновенно превратившись в напроказившего мальчика, почему-то огляделся по сторонам. Точь-в точь как некогда в коридорчике. Где он окурок о подошву тушил.
- Вот они, “римляне, мира владыки, одетые в тогу”, – процитировал Некто, сидевший внутри меня, Горация.

Я внимательно посмотрел на Нового Русского Мира Владыку пытаюсь постичь, что стоит за этой внезапно нахлынувшей на него осторожностью.

- А тот, который по правую руку от Сани сидел? Которого вы мне никогда так и не представили и никогда при мне по имени не называли? Понимаешь, о ком я говорю? Он как?

Ну брат, это тебе телевизор смотреть надо. Телевизор! – и он опять расхохотался. А потом спросил бодро, с еле подавляемой жалостью, заранее предвкушая ответ.

А ты-то сам как живешь, а то все про нас, про нас, а сам то ты как?

- А все-таки он мне друг, – подумал я. И вспомнил, что сострадание бывает только с положительным знаком.
- Да все так же. Все больше по науке. Нормально, в общем.
- А...- сказал Жора сочувственно. И вздохнул: Бюджетник...
- Не совсем бюджетник, как видишь, все таки. – сказал я неопределенно, - Но в широком смысле ты прав. До вас мне не то чтобы далеко, а даже в телескоп не разглядеть. Вы для меня где то на небесах, в созвездиях.
- Это точно что в созвездиях, – самодовольно сказал Жора, и как бы невзначай посмотрел на часы, усыпанные бриллиантами так густо, что за их блеском время проглядывалось с трудом. Над часами на руке была татуировка, и я скорее вспомнил, чем прочел, то что там было написано: : “Люблю тебя Зинка, до гроба”. И я вспомнил, что выше ее, скрываемая руковом пиджака от Диорова, красуется трагическое: ”Ну и сука же ты Зинка!” надпись, узнав о которой, Диор, несомненно, пришел бы в восторг и стал бы работать на своих новых клиентов с утроенной энергией...
- А как там у тебя, новые записи в летописи любви на теле появились?- спросил я Жеру, улыбнувшись воспоминаниям.

Ты что? – расхохотался Жора. – Они ж теперь все мои. Так что увековечивать их на себе неинтересно. В смысле никакого стимула нет. . Да погляди сам: шелковые. Видишь, гарцуют?

Я поглядел: не знаю, были ли девушки шелковыми. Но что кожа у них была бархатная, сомнения не было. И я вздохнул, сам не зная отчего.

- Ну и как богатым быть? Трудно? Рыбу вилкой и ножом есть, во фраке ходить, раков разделявать?
- Трудно? Шутишь, Федя! То что богатым быть трудно – это вранье, которые пиздоболы, детки богатых родителей Европы и Америки придумали. А я тебе скажу: нет ничего проще, чем быть богатым. Миллионером быть проще, чем кем угодно. Даже проще чем двоечником. Зуб даю!

Вдруг Жора замер и прислушался, повернув, как мне показалось, уши в направлении звука, словно антенну радиолокатора.

- Погоди ка... Это не наш рейс на Мальту объявляют? Ты по немецки соображаешь? Послушай ка: Бритиш или не Бритиш?
- Да вроде бы British Airlines.
- Извини, бежать надо. Тут тебе не Москва, тут тебе Франфурт на хер, за бабки самолет не удержишь (Франкфунт ⇒ НА ⇒ Хер для меня было географическим отковением. До того я слышал только о
- Франкфурте ⇒ НА ⇒ Майне). Европа – это тебе не Россия, констатировал Шкаф и вздохнул с сожалением. - Ничего, мы тут у них еще наведем шухер. Ну как, девки, выбрали? Косой, расплатись-ка по быстрому. И руки в ноги.

После дачи распоряжений, Жора Шкаф снова оборотился ко мне. Замер на мгновение. Залез во внутренний карман.

- Неужели за деньгами? Позор то какой! Дожил! – как выстрел, успело промелькнуть у меня в мозгу. Но, к счастью, я слишком плохо подумал о старом приятеле (и за это мне до сих пор совестно). Жора раскрыл бумажник, битком набитый долларами и другими не знакомыми мне купюрами. Вытряс их из него все до последней стодолларовой бумажки на прилавок. Обыскал. Потом вытряс все, что было в карманах брюк и пиджаке от Диора. На прозрачном стекле прилавка выросла приличная куча. Немецкие продавщицы смотрели на желтого дьявола зеленого цвета, как загнипнотизированные удавом кролики, и (в той мере, в какой это позволительно дочерям благовоспитанной нации) открыв рты.

Шкаф брезгливо шуровал в горе денег, как будто это была куча мусора, ища в ней что-то. И, не найдя, хлопнул себя по лбу.

- Эх черт, визитки в багаже отправил. Ну ничего. Запоминай телефон.
- И назвал семь цифр. Обнял меня. Мы троекратно облобызались, но не так чтобы он наклонился, а, на пару секунд приподняв меня за плечи до своего уровня. Как если бы я был денежным мешком, который проверяют на вес.

Потом он стал было распахивать деньги с прилавка по карманом, как пацан яблоки потрясенные с дерева, но опять махнул рукой и отрывисто рывкнул запутавшегося в своих бумажниках мамонтоподобному джентельмену:

- Сколько раз тебя, кривой, учить на хер, чтобы не мудохался с кредитками когда посадка объявлена. Плати из этих На Херр и руки в ноги.

Послал звонкий воздушный чмок своей сборной по красоте, восторженно и в то же время заискивающе глядевшей на предводителя гарема. Помахал рукой продавщицам, которые в эту минуту напоминали не аккуратных немок, а истуканш острова пасхи. И, успев крикнуть мне: “Ты обязательно позвони! Обязательно!” – исчез в толпе.

Через пару минут исчезли и сопровождающие его ноги. Золотые цепи. И пиджаки от Диора. Ушли в Европу и растворились в ней, как таблетка цианистого калия в стакане воды. То есть так, как будто ее вообще не было.

. Wie kann ich innen helfen, herr?– спросила вернувшаяся к жизни от окаменения продавщица. Все еще весь в своих мыслях, я чуть было не ответил по русски, чтоб шла сама туда же, но во-время сообразил, что ко мне обращаются по немецки, а в этом языке слово Herr не матерное. Я все еще стоял истуканом и размышлял, нужно ли мне запоминать телефон Шкафа. И тем более звонить по нему. Нужно ли, нужно ли? Если захотят, сами найдут. Да и я их найду, если придет нужда. Вот только нужно ли? Нужно ли? Нужно ли?

А потом, когда самолет набрал высоту, и, прорвавшись сквозь облака, взял курс на солнце, оставив идущий на земле дождь далеко под белыми облаками, я заказал *блади мери*. И перед моими широко закрытыми глазами стали проходить одна за другой картины в берлоге моей молодости. как если бы она вернулась ко мне.

Я заказал еще блади мери.

- Перед обедом пить водка не принято. Перед обедом выпивать надо аперитив или легкий вино – сказала чепорная бортпроводница с сильным Оксфордским акцентом, разумеется, по английски.
- Она будет учить меня, как сдвигать время! – с неприязнью подумал я о снобизме всех этих *Brittish* и *Airlines* иже с ними. И повторил с вызовом:
- А мне блади Мери! *Bloooody Mary*, *pleeeeeaaaaase*, мать вашу.

И опять ко мне пришла Берлога, на этот раз вылетев из кабины пилотов, как медуза. Она плыла по салону, собрав щупальцы сзади, чтоб не мешали плыть; и, только оказавшись над моей головой, замерла, наподобие нимба, опустила щупальцы и сомнула их со всех сторон. Но я лишь на мгновение почувствовал себя под колпаком, ибо колпак этот тотчас исчез, став трехмерным, и я мог свободно ходить - не то в нем, не то за ним - по берлоге, и даже пожимать самому себе сквозь него руку, как если бы был толиной ложкой. В ней, в берлоге моей юности, побывал весь – или почти что весь - цвет одной из европейских столиц, которая была и останется одной из европейских столиц навсегда что бы с ней ни вытворяли, и в которой всегда будут рождаться гении потому что там учат стены. Цвет науки. Цвет Бизнеса. Цвет музыки. Цвет богатства. Цвет литературы. Цвет просвещения. Цвет преступного мира который вдруг вырос до титанических размеров и слился с властью. Академики всех ведущих академий наук европы и америки. Танцоры Королевского Балета и певцы Миланской оперы. Профессора Гарварда и Кембриджа. Вице президенты и президенты не меньше чем ста американских компаний, в том числе и транснациональных. Те, кого которых теперь, с завистью или презрением в зависимости от материального благосостояния, называют Новыми Русскими, в несколько лет изменившими мир (к добру или не к добру – судить не тому кто летает самолетами, а тому, кто летает над самолетами) так круто, что земля – а это факт! - встречает новое тысячелетие совершенно неузнаваемой. Те, кого кому тогда плевали в спину а теперь с сожалением называют *утечкой мозгов* (вот мол, утекли, гады, точно речь идет а о кобелях в определенный период а не о свободных людях, которыми

Россия должна была бы гордиться, как гордится Испания Пикассо и Дали, нисколько не обременяясь тем, что последние утекли в Париж) и те, которые никуда не утекали и к которым по этой причине стали относиться с пренебрежением, называя то нищими интеллигентами, то бюджетниками (словом произносимым с той же интонацией, что и нахлебники, то есть висящие на шее), а то и (худшим из бранных слов) демократами, но от этого ничуть не менее достойными уважения и гордости, чем утекшие из под контроля. Оттуда шли на дело бандиты, чтобы ограбить на бутылку водки, и воры, которые крали не из бюджета страны, а всего лишь из карманов граждан, таких не нищих, как и они сами. Одних мемориальных досок, надписи на которых начинались бы со слов “ЗДЕСЬ В НОЧЬ С ТАКОЕ ТО НА ТАКОЕ ТО ...” можно было бы приколотить к фасаду Нашего Дома – Нашей Крепости, приютившего в своих недрах берлогу, столько, что пришлось бы делать расширение фасада, если начать. Но все это можно разглядеть только из далека. Того самого, которое видно из самолета Франкфурт – Лондон, поднявшегося над берлогой на двадцать лет. Так что стало видно и ее самое. И то, что она была всего лишь берлогой в берлоге. И берлогой в берлоге в берлоге. И берлогой в берлоге в берлоге в берлоге... В которую в рваных пиджачках приходили лучшие математики мира работавшие сторожами. Голодные художники, картины которых менялись на полбанки, а теперь покупает Русский музей и не без гордости оповещает о каждой покупке. Будущие бизнесмены, которые через пятнадцать лет будут ворочать миллиардами, а тогда собиравшие копейки от сданных бутылок на опохмелку. Где великих людей недалекого будущего можно было потрогать руками и сказать поутру: старик, прими рассольчика ...

Странное дело: я смотрел на берлогу одновременно со стороны и изнутри. То есть я знал, что лечу в боинге над Европой, когда до третьего тысячелетия уже рукой подать; что многих из тех, кто жил или бывал в берлоге либо нет в живых, либо весьма далеке; и что сама берлога, каковой я сохранил ее в своей памяти, уничтожена превращением в чьи-то роскошные апартаменты. Но одновременно я смотрел на берлогу из берлоги. Такое вот божественное супервидение вдруг было даровано мне, и от этого дара мне было не отмахнуться и не избавиться, так что приходилось его принимать какой есть. Причем внутрь.

Я пригляделся. Изнутри берлога казалась – и кажется! - чем то средним между баракком, кафе-шантаном и бомбоубежищем, в котором смешные маленькие человечки спасались от лицемерия, жестокости и подлости ядерного взрыва, в одном из эпицентров которого им посчастливилось жить. Но глядя на берлогу с расстояния всего каких-нибудь десять лет, ВСЕГО ДЕСЯТЬ ЛЕТ! она кажется яйцом вселенной, из которого родился новый мир. Более того – Она Им Была!

Я встал с кресла и пошел по берлоге. Вот Деревянное Королевство Толика, в котором он, не видя меня, сидит у ствояго верстака и мастерит Мою Первую Ложку. Вот Раек Ньюши, где беззвучно беседуют Великий Саня, Шкаф Жора и третий, имени которого я никогда так и не узнал, и что-то замышляют, но, к счастью, я даже не знаю, что. Вот Предбанник, у двери которого Леха Геракл не видя меня, до умопомрачения выжимает свои гири. Вот чистилище с вбитым в картину *Утро стрелецкой казни* крюком, на котором висит ватник, с которого капает кровь. Вот сияющий кафелем и турбулентным унитазом Тронный зал с зеленым бачком для спуска воды, в котором на стульчаке

почему-то никто не сидит, и нет в нем той, кого я хотел бы сейчас увидеть больше всего на свете. А вот и сакральня, где на табуреточке между двумя газовыми плитами сидит девочка с распущенными русыми волосами в ночной рубашке и читает Библию, не видя меня и вообще никого и ничего, и только Мадонна с иконки на стене следит за моим перемещением по прошлому ясными всепонимающими глазами. Вот корридор с телефоном, расколошмаченным некогда Толей и сломанным, оказывается, до сих пор. А вот и моя берлога. Я стою перед ней – и медлю открыть дверь. Не могу...Нет... Но я знаю что должен и что открою. Потому что если не я, то кто же? Кто еще посмотрит мне, молодому в лицо? Кто осмелится на это? И главное: кому это еще надо? И кто еще помнит берлогу? И берлогу в берлоге? И берлогу в берлоге в берлоге? И медведя в берлоге, гигантского свирепого Медведя, которого образуем собой все мы вместе, отзывчивые и добрые? И я открываю дверь. И я вхожу. И ВИЖУ СЕБЯ качающегося в кресле качалке и спокойно что-то читающего. И я вхожу в себя самого. И закрываю глаза. И чувствую, что ко мне подходит женщина в халате. И знаю что это не Нюша.

- Was wollen sie bitter, herr?
- Что? Ах, ну да, конечно. Bloody Mary, bitte.

Я заказал себе блади-мери. И еще одну бладимери. Берлога исчезла из глаз. Оставшись только занозой в мозгу. Острой, как та, которую Толик вытаскивал когда то из моей пятки. И мне пришло в голову, что если бы кто-то с сверхчеловеческим бизнес чутьем мог вложить деньги в Берлогу в то время и скупить ее акции, это было бы лучшее помещение капитала в истории человечества. Выгоднее чем покупка всех акций Пепси Кола при ее первом выходе на рынок. Потому что суммарный годовой доход тех, кто жил в Берлоге, или провел хотя бы одну ночь в ней, через каких нибудь пятнадцать лет по порядку величины стал сравним с доходом государства Россия. А может быть, и превысил его. И утекшая половина этого капитала никуда бы не утекла. Если бы его обладателей не утекли. Причем с достойной лучшего применения настойчивостью. И история нашей ни на какую другую не похожей страны – кто знает! - могла бы поехать по другой колее.

Я заказал еще Блади мери. И еще Бляди мери. И еще блядимери. И еще. И еще. И пил до тех пор, пока в самолет не вошла Нюша. Она села рядом со мной в своем никогда не незастегивавшимся ни на одну пуговицу бардовом халате на голое тело. И гладила. Гладила. Гладила...

МЫ РУССКИЙ МЕДВЕДЬ

Вызывается Дух

Как то зашла ко мне в Берлогу Люда Захарова, красавица, некогда восемнадцатилетней лаборанткой пришедшая в институт где я работал. Впервые я увидел ее на политинформации, которая была посвящена даче отпора (без уточнения кому и в чем; вообще отпора). Политинформатор, присланный из райкома партии, в течение сорока пяти минут рассказывал ученым о зверствах капиталистов, в частности, о пытке безумного дантиста, якобы популярной среди диктароров Бразилии, которые (якобы) дырявят бормашиной здоровые зубы членам коммунистической партии, единственное преступление которых состоит в любви к Стране Советов. Все поморщились как от зубной боли, одна Люда Захарова продолжала блаженно улыбаться. *А эта красотка не то мзохистка, не то садистка* – подумал я, обратив внимание сначала на неадекватность реакции девушки и только потом на ее внешность. И ошибся. Люда не была ни садисткой, ни мзохисткой. Просто она была такой здоровенькой от макушки то пяточек, что просто не знала что такое зубная боль!

Так или иначе, войдя в Берлогу уже двадцатипятилетней выпускницей филологического факультета университета, Люда как то странно заморгала, потом внимательно осмотрела все восемь углов комнаты своими карими глазами, и сказала мне шепотом, отведя предварительно за диссиденский шкаф, подальше от глаз: будь осторожен, Федя. У тебя тут очень насыщенная астральная обстановка.

- И что же это значит? – спросил я также шепотом.
- Это значит что вокруг много духов, вот что это значит.
- И ...что? Что же теперь делать? Бежать? Избавляться?
- Бежать поздно, избавиться невозможно. Их можно только вы-зы-вать.

Так в берлоге был устроен первый и единственный сеанс спиритизма. Не спиритизма, а именно спиритизма.

Компания собралась лихая, главным образом физики, до того верившие, по крайней мере на людях, только в одного духа, а именно того, который вылетает изо рта когда тебе говорят А НУ, ДЫХНИ; был вызван, по предложению веселого твердотельщика (специалиста не по тому, о чем некоторые подумали, а по физике твердого тела) Толи Анисимова дух поэта Кузьмина, погашен свет, зажжены свечи, участники сеанса положили руки на блюдце, которое лежало совершенно неподвижно, что, впрочем, большинству участников было совершенно неудивительно, после чего Людой Захаровой блюдцу (!) был задан вопрос, что дух поэта Кузьмина о нас думает. Блюдце подумало несколько секунд, потом задрожало, да так, что чуть было не лопнуло, и вдруг забежало по столу, как бешеное – так что уже секунд через двадцать сложилось первое слово :

Г-Р-Я-З-И

Затем столь же стремительно блюдце написало второе слово:

Д-Р-Я-Н-И

также во множественном числе, что звучало на современный слух изысканно и старомодно, после чего я, скептический и подозрительный, сменил весь состав участвующих в спиритическом сеансе, а стартовую пятерку спиритистов включая и Люду Захарову, в полном составе выгнал на лестницу, где они, мерзавцы ржали, к огорчению прекрасного медиума. После этого медиумом стал я сам, скептический и подозрительный, но это не помешало блюдцу написать еще одно слово во множественном числе – ЖИЛЬЦЫ, которое в сочетании с первыми, казалось довольно таки неуместным, после чего закончило совершенно неожиданной второй строкой, слагавшейся вместе с первой в двустиишие:

*ГРЯЗИ. ДРЯНИ. ЖИЛЬЦЫ.
ДУХА СМЕРТИ ИЗБРАННИКИ.*

от которого всем вдруг сделалось не по себе и все как-то быстренько разбежались по домам. А мне пришлось спать в берлоге, причем одному. Потому что Людочка Захарова остаться со мной для совместной обороны от духов, заниматься спиритизмом и вообще чем бы то ни было в этой потусторонней квартире присно и во веки веков отказалась наотрез. И даже вернуться в Большую Берлогу с лестницы, чтобы взять свою сумочку, отказалась. Она так и ушла, в рассеянье и задумчивости. И больше в Берлогу никогда не заходила.

О Том Что в СССР Народу Принадлежит Все

В то солнечное не по городу утро Онегин вышел на кухню и прикрепил кнопкой вырезку из газеты Правда, в которой был опубликован новый закон ¹⁴ об охране живой природы. Первым же пунктом которого значилось:

ВСЕСЬ ЖИВОТНЫЙ МИР СССР ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

Толя сразу живо заинтересовался этим изречением.

¹⁴ Не смотря на то, что еще Салтыков Щердин сделал великое русское открытие, заключающееся в том, что старый закон лучше нового (уже по одному тому что он старый, и к нему уже худо-бедно а приспособились, так что все бреши в нем наглухо закрыты правильными людьми, как Матросовым амбразура, и новым со своими загребущими не подступиться) водопады новых законов продолжают неуклонно падать на головы населения.

- Вот ведь как придумали, пиздюки. Муравьишка еще только родился, а уже народу принадлежит. Бабочка еще в куколке – и вот пожалуйста. Еще крылышки не раскрылись, а народ уже может делать с ней что хошь.

Галина Михайловна с ним не спорила. И спора не получилось.

Центральное Время

Осень можно определить не только по тому что листья с деревьев падают, но и по тому, что стрелки часов на час назад переводят. Сообщить о переходе на зимнее время в этом году в программе *Время* доверили какому то Большому Начальнику, который, очевидно, не привык являть свой лик народу и заметно волновался, а посему выразился так:

- ‘Сегодня все жители нашей страны переведут стрелки на один час вперед. Даже жители Москвы тоже переведут стрелки на час вперед. И главные часы страны, кремлевские куранты, будут переведены как и все остальные часы в нашей стране, ровно на один час вперед.’

Разумеется он немного оговорился, этот вестник кремлевских богов. Но очень характерно, прямо по Фрейдю. ИХ, НАВЕРХУ, удивляет и раздражает, что есть такие вещи которые Москва а в особенности те кто правит ею, и уж наверняка те кто правит теми кто правит нами - вынуждены делать как все остальные люди. Мечта ИХ, НАВЕРХУ – стать новой породой существ, которые могут скрещиваться и давать потомство только между собой, питающихся особой пищей, имеющих особые законы природы, особое время и особое солнце над головой .

Такова их истинная цель, а вовсе не коммунизм, как написано на их логунге. ИХ, НАВЕРХУ, крайне раздражает что ОНИ вынуждены смеяться над шутками того же Аркадия Райкина что и простые люди и любоваться тем же самым звездным небом.

Сталин, продвигая Лысенео в сущности мечтал именно об этом и ни о чем другом. Когда тот обещал вождю что благодаря воздействию неуклонному воздействию на овес можно превратить его в пшеницу. А последователи народного академика обещали что под воздействием на человека можно будет вывести новую породу людей. Сталин знал, что ему не врут, хотя бы потому что побоялись бы, И предоставил ученым биологам работать над такой уникальной перспективной.

Впрочем еще за двадать лет до него в советской библии по вопросам секса именуемому половой вопрос в условиях советской общественности, наряду с двенадцатью половыми заповедями пролетариата зпнстлось ПОЛОВОЙ АКТ С КЛАССОВО ЧУЖДЫМ ПАРТНЕРОМ ТАК ЖЕ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЕН КАК ПОЛОВОЙ АКТ ЧЕЛОВЕКА С КРОКОДИЛОМ, С ОРАНГУТАНГОМ. Так что лысенко оставалось сделать всего один шаг, совсем казалось бы небольшой: добиться того чтобы от полового сношения с классово чуждым партнером не рождались бы дети.

У коммунистической партии много времени для экспериментов над народом. Так что не все еще потеряно.

Два Красавца

Направляю я как то стопы свои, обутые в тапки, в чистилище и машинально обращаю внимание, что на косяке ванной висит табличка перекочевавшая с двери четы Онегиных и повернута той стороной на которой начертано ПРОШУ УБРАТЬ НОМЕР.

Захожу и вижу дивную сцену: стоит Леха-Геракл напротив повешенного кем-то на крюк зеркала для бритья и любуется в нем своим отражением. А ведь в ванну мог зайти и не я (подумал я): ночная рубашка, Ньюша, или Аленушка, к примеру.

- Ты чего не закрываешься? – с просил я, собираясь уже было выйти, когда заметил, что именно разглядывает юный Геракл. А разглядывает он не все свое тело, а одну его часть, расположенную приблизительно в центре тяжести Лехи. И такую монументальную, что пожалуй, мог бы накренить суперпарня вперед, если бы тот не откидывал торс назад при ходьбе.

Услышав мой голос Леха взрогнул и засмушался.

- Извините – говорит простодушный юноша, - я не думал что это вы.
- А кого ты ждал? Господа бога? – иронически спросил было я и осекся. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, я передумал уходить и сказал восхищенно.
- Красавец. – не уточняя, относится ли это замечание к отроку в целом или только к части его.
- Правдо, внушительный? – быстро переспросил Алексей, и я понял, что попал в точку, и что подобные сравнения габаритов среди гребцов были обычным делом.
- О таком каждый человек мог бы только мечтать, – ответил я уклончиво, не уточняя о чем именно таком речь и какого пола человек.
- Это как сказать, – усомнился Леха, поворачиваясь профилем, так что было заметно, что на его щеках уже начал появляться пушок. И добавил тоскливо – Я с девушками больше жить никогда не живу.
- Это почему же? – не понял я. – На результатах сказывается? Тренер запретил?
- Вы что? Тренер у нас классный мужик. Не смотрите что он пенсионер и ему уже за сорок: он один с восьмеркой распашной живет и никого близко не подпускает.
- С целой восьмеркой? – ужаснулся я.
- Ага.
- С мужской?
- Зачем с мужской. С женской.

Я облегченно вздохнул. А Леха продолжал.

- Из- за гуманности я с девушками не будут спать, а не из-за тренера.
- Ты что же, думаешь, что тем самым сохранишь поголовье девственниц в городе, как хороший председатель колхоза поголовье скота? – восхитился я. – Ну ты, Алексей, и гуманист!
- Вы меня не так поняли. Федор Федорович, в смысле слишком черезчур. – объяснил грепец. - Я не то чтобы вообще не сплую. Я с кем угодно спать могу, но только не с девушками.
- Тогда другое дело, – успокоился я. Но ненадолго. – А почему, собственно бы и не с девушками? Отчего такая вдруг дискриминация?
- Не хочу их несчастными делать. – сказал юноша. И, как мне показалось, смахнул слезу.

- Да почему же несчастными? – Удивился я. – Боли не хочешь причинять, что ли? Так это еще не несчастье, поверь мне, старому гуманисту. До свадьбы заживет. В смысле до свадьбы заживут!
- Боль это полбеды, – сказал Леха рассудительно. – То, что когда я вхожу, больно, это нормально. Это все равно как если бы в эту ванную сейчас зашел слон. Хуже другое: они думают, что у всех такие габариты как у меня, а потом жить ни с кем не могут. И, как мне показалось, чуть не заплакал. Потому что приблизил лицо к зеркалу и стал разглядывать что-то в глазу.
- Что ты там ищешь? – спросил я страдающего от своей мощи юношу.
- У меня от ветра на сборах волосики на бровях порыжели и я на солнышко обиделся. – сказал Геркулес жалобно.

Я смотрел на юного Геракла, на его непревзойденные бицепсы и разгибатели спины, и думал о том, что сделают с ним время, страна и женщины совместными усилиями, а также о том, что очень хотел бы посмотреть на него, обветренного и бывалого, лет через десять.

Тут дверь скрипнула и в ней проявилась Вечно Веселая Тоня с кремом в руках. Увидев меня, она на минуту застыла, а потом рассмеялась и сказала:

- А мы тут с Алешей массажем тренируемся.
- Массажем – повторил Алеша.
- Тогда я пойду – сконфузюсь сказал я, - я тут кажется, лишний.
- Да почему же лишний? – засмеялась вечно веселая – поучитесь.
- Эээх! – рывкнул вдруг Геракл, и вышел из ванны, оставляя на полу лужи и на ходу надевая штаны на голое тело. Отчего последние оттопырились, как гульфики у крестьян на картинах Брейгеля мужицкого. Оставив нас с вечно веселой Тоней наедине. Ситуация выглядела довольно пикантно. Стоять было глупо. Кто то из нас должен был первым либо раздеться, либо выйти. Естественно, этим первым был я.

Желаю приятных тренировок – сказал я на прощание, и аккуратно закрыв за собой дверь собирался было перевернуть табличку той стороной на которой начертано ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ но увидел что кто то уже сделал это до меня. А кто из двоих – это вопрос интереснейшей.

Красота Скелета

Как то в конце октября я увидел Толю застывшего у своего излюбленного кухонного окна.

- Смотрю как с клена листья падают – сказал Толя. – Каждый по своему и каждый день по своему, и с каждого дерева по своему. Один кувыркается, другой ныряют, третий как на танцплощадке –кренделя выделявает, четвертый вообще загулял... И погляди, как постепенно вместо сплошной массы листьев прорисовывается логика.
 - Какая еще логика, Толя?
 - Каждое дерево обязательно имеет свою логику, Федя. Летом, когда они листьями покрыты, их задача – покрыть объем. А осенью видно, как оно это делает. Каждое дерево решает свои проблемы на свой манер. У каждого своя философия. И каждая порода вообще непохоже, они все такие разные, как рыба и курица.
-

- Скажи Толя, а что для тебя самое красивое в мире? Если бы скажем тебе надо было умирать, на что бы ты смотрел?
- На очертания деревьев на вечернем небе, конечно – не задумываясь ответил Толя. Но только до того момента как на них, на очертания эти, снег выпадет.

-
А вот еще одна лекция Толика данная единственному его слушателю - мне.

‘У русских деревьев две формы одежды, как у солдат советской армии: зимняя и летняя. Летняя – живая. Это листья. Они шелестят и дышат. Зимняя мертвая – это снег, который так весело покрывает все на свете, что и не распознаешь что под ним – живая елка или мертвая, сарай или часовня. Но самое красивое – это когда природа переходит с одной формы одежды на другую. В армии это происходит за один день, а у русской природы растягивается на полгода. И я даже не знаю, какой из них интереснее. По мне весна и осень, это как кино, оно с каждым кадром новые, все в движении куда то, а лето и зима – вроде фотографии. Они как бы всего достигли и только и думают как удержать достигнутое. А для нас из всех искусств важнейшим является кино. Это еще Ленин сказал. Вот и я больше весну и осень люблю чем зиму и лето. И даже не знаю какие из них больше.’

Кроткая Аленушка

Проказник Коля, где то раздобыл круглую табличку с дыркой, на которой с одной стороны было написано ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ, а с другой ПРОШУ УБРАТЬ НОМЕР, как в лучших отелях Европы. Эту табличку он вешал на дверь Зоны, той или иной стороной. И если кроткая Аленушка придя с работы обнаруживала, что ее муж требует чтобы его не беспокоили, она шла на кухню, где начинала готовить, или вязать или штопать, время от времени обмениваясь впечатлениями с Галиной Васильевной и Нонной. И терпеливо ждала переворота таблички. Такой вот у нее фатализм!

Последний Стимул

Однажды вечно веселая Тонечка вышла на кухню Разгневанная. Оказывается у них в отделении состоялось профсоюзное собрание, посвященное повышению морального облика советского медицинского работника. И секретарь парткома, в присутствии представителей райкома партии, с трибуны показал всему коллективу стенной календарь, *который какая то сука украла из кабинета заведующего хирургическим отделением*, на котором, как всем было давным давно известно, тот заштриховывал красным карандашом дни дежурств, а зеленым карандашом – дни месячных у медсестер моложе сорока, и эти два цвета – как едко заметил секретарь парткома – в этом месяце на календаре почему-то ни разу не пересекались. Что являлось доказательством крайнего морального разложения заведующего хирургическим в частности и нашего здорового коллектива в целом.

Собрание единогласно осудило моральное разложение коллектива в общем и *херурга* (как довольно прямолинейно пошутил секретарь парткома) в частности, и разбежалось по домам, что привело Тонечку в ярость.

- Если врачам не разрешат спать с медсестрами, и у них отберут этот последний стимул к труду за гроши, то работа в медицине вообще потеряет всякий смысл и наше здравоохранение окончательно развалится.

Этим своим пророчеством Тонечка показала, что она возвысилась над делением человечества на мужчин и женщин, и, болея за интересы противоположной команды, которая атакует и забивает голы в ее ворота, одной из первых поняла, что после короткого смятения в умах вызванного изобретением контрацептивов, люди разбились на новые две команды, не те, что прежде: на тех кто, стремится к удовольствиям и тех, кто видит смысл в воздержании от удовольствий.

На следующий день Тонечка возобновила кухонный рассказ, словно он и не прерывался

- В ординаторской ведь день об этом расписании менструаций говорили. И больше всех возмущались кто бы вы думали? Мужчины? Начальник отделения? Ничуть не бывало. Сами медсестры.

- Одно было – говорят – удовольствие на работе, так теперь и его хотят отнять, как тринадцатую получку. Это говорят, если врачам нельзя с медсестрами на работе спать, так за такую зарплату вообще никто работать не будет!

- А я по радио только что слышала аналогичную историю – сказала Галина Васильевна. В Бразилии замужние женщины объявили забастовку, когда там недавно попытались запретить проституцию. Они предпочитают, чтобы их мужья ходили известно к кому и когда, чем неизвестно с кем и куда.

- А я предпочитаю чтобы мой Толя вообще никуда не ходил – сказала Нонна, сияя - Пусть ложки строгают и делают что и с кем хочет – но дома. Если и есть грешок, но под надзором – то грешок этот как бы и не в счет.

Тут из ванны, мокрая, как новорожденная Афродита, явилась Маленькая Ню (почти что, кстати сказать, голышом, если не считать пены, скрывавшей кое-как кое-что) и сообщила Аленушке, что она видела, как из зоны высунулась Колина рука и перевернула табличку. Кроткая Аленушка извинилась, взяла в одну руку пальто, сковородку в другую, и поштопала в свою комнату. Она так и не услышала, как Начальника хирургического выгоняли с работы. А выгнали его с треском. Хотя, разумеется, и по собственному желанию.

Книга у Нее Уже Есть

По коридору Ночная рубашка обыкновенно слонялась. Впрочем, то же самое троянцы говорили о Кассандре слонявшейся по Трое без дела целыми днями, в то время как они работали на победу. У себя же в комнате, название которой – ПРЕДБАННИК - никак не вязалось с образом девочки не от мира сего, я видел Ночную Рубашку сидящей только на своей кровати и только читающей – или спящей. Казалось, что она читала вечно, даже во сне. Когда дочка заканчивала читать одну книгу, папа Коля мягко и ненавязчиво подсовывал ей другую, так же, как остальные, принесенную из библиотеки, нередко совсем не детскую. Прочитанная от корки до корки немедленно исчезала из Предбанника, а на ее место приносилась новая. Будучи мыслителем не только оригинальным, но и независимым от кого бы то ни было, Коля считал, что каждая лишняя книга в доме не увеличивает, а уменьшает их суммарную ценность (пойдя, о чем он не подозревал, на шаг дальше Сивилл, которые, как известно, сжигали книги своих пророчеств по одной, не уменьшая при этом их общую стоимость ни на сестерций, пока удивленный римский царь, перед которым хитроумные бабы разыгрывали этот

спектакль, не купил оставшиеся три из шести изначальных и не присвоил находчивым женщинам звание официальных пророчиц).

Так или иначе, в Предбаннике была только одна постоянная книга: Библия. Эту Книгу Ночная Рубашка читала каждый день по много часов. Либо у себя в комнате, либо, когда папа Коля вешал на дверь табличку ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ, на кухне, между двумя газовыми плитами, то есть на том месте, которое было ближе всего к иконке. При этом огни конфорок (которые, кстати – все восемь - в зимние холода не выключались вообще) мерцали белым, желтым и голубым пламенем попеременно, напоминая об огнях жертвенников древних святилищ. Газ освещал лицо девочки естественным ночным светом (не цветом - светом), каковым является, несомненно, не электрическая лампочка, а огонь, будь то костер, свеча или факел, в свете которого предметы, благодаря непредсказуемой хаотичности теней, оживают¹⁵. И весь красный угол обшарпанной кухни жуткой ленинградской коммуналовки куда-то уплывал, то-ли в другое время, то ли вообще в другую вселенную, вместе с Ночной Рубашкой, горящими светильниками и иконкой, из за стекла которой мадонна спокойно переводила взор с девочки на струи огня, с огней на нас, грешных, а потом опять на девочку, которая читала Библию поджав босые пятки под табурет.

Меня интересовало, что может понимать в священном писании ребенок, которому о нем ничего не рассказывали и вообще, судя по всему, никогда ничему не учили с самого рождения, кроме, кажется, алфавита. Однажды, когда Ночная Рубашка была поглощена чтением, я осторожно спросил: “Интересная книжка?” Девочка посмотрела на меня, как на идиота и не ответила. Тогда, поняв, что имею дело не совсем с ребенком, или даже совсем не с ребенком, я поставил вопрос по иному: О чем эта книга, как тебе кажется?

Ответ Ночной Рубашки меня потряс.

- Эта книга о том, что Бог может говорить с людьми двумя способами: словами и тем, что с ними происходит. То есть либо мыслями, либо историей.

Ничего не говоря более, я отошел от девочки и до сих пор размышляю над ее ответом.

-

¹⁵ История о Пигмалионе и Галатее, несомненно, возникла ночью. Она дошла до нас из эпохи язычества (слова, произносимого ныне со странным для обозначения целой цивилизации оттенком пренебрежения), когда жизнь статуи при свете факела бала не исключением, и даже не правилом, а каждодневным чудом, происходившим с каждой статуей в каждую ночь. Но вот то, как именно статуя оживала, зависело от гения скульптора. Не случайно лучших из них звали Божественными при жизни, в то время как императоров Рима (точнее тех немногих из них, которые не превратили жизнь своих подданных в апокалиптический кошмар) – только после смерти. Древний скульптур и даже мастер эпохи возрождения выполнял совершенно иные задачи, намного более сложные и возвышенные, ибо статуя должна была быть прекрасна днем и жить ночью – громадная разница, примерно соответствующая пропасти, отделяющей фотографию от кинофильма и красоту от обаяния. Мы сможем возвыситься до уровня хотя бы понимания задач, стоявших перед Праксителем и Микельанжело только после того, как вернем нашим ночам живой свет. То волшебство таинственности взглядывания в неведомое и прелесть общения с темнотой (будившие фантазию мыслителей и мастеров прошлого несравненно эффективнее, чем интернет сегодня) которые мы, самонадеянные, утеряли.

Рай библии был раем дня. Но рай ночи еще не поздно обрести опять, ибо из него изгнали себя мы сами.

Дешевле Быть Не Может

Заходит как-то Онегин на кухню, когда там были все, и многозначительно помахав листом бумаги, оказавшимся при ближайшем рассмотрении платкатом, прикрепил его к двери четырьмя кнопками. Все заинтересованно столпились, мгновенно превратившись в стадо, как если бы это был декрет советской власти которым объявлялась продразверстка, и помолодев, как если бы это был список удачно сдавших вступительные экзамены в институт. На плакате же значилось:

**НИЧТО НЕ СТОИТ ТАК ДЕШЕВО
И НЕ ЦЕНИТСЯ ТАК ДОРОГО
КАК ВЕЖЛИВОСТЬ
И
КУЛЬТУРА**

Сервантес

Тираж 20000 экземпляров

Тираж, разумеется, был напечатан мелким шрифтом, но от этого смысла плакату не убавлял. Скорее наоборот: благодаря ему сентенция приобретала соответствующий ее новизне вселенский масштаб.

- Да. Пробурчала Галина Васильевна, грусто это. Ну прямо ничто не стоит так дешево, как культура. Ни макароны, ни соль, ни даже спички. Ничего дешевле чем культура в нашей стране и найти нельзя. Кошмар какой.
- А что тут, собственно не так, Галина Васильевна? – спросила кроткая Аленушка. – Мне кажется, что я эту фразу и раньше слышала. И всегда думала, что это из Сервантеса цитата. А что, это разве из кого то другого? Плагиат?
- Я Аленушка, эту цитату с подлинником не сверяла. Но то, что слова *культура* у Сервантеса не было, можете не сомневаться. Всего одно слово добавили, негодяи. А как смысл изменили! Дескать, если несогласны, с нас взятки гладки. Сервантес сказал! Представляю себе хитрую рожу писемника, когда он этот плакат сочинял. И начальника который утверждал. Для которых верх культуры – читка газеты и изучение циркуляра.
- Ну и чем же он вам так насолил, этот плакат? - Спросил Толя. – Добавили культуру к вежливости и добавили. Дело великое!
- А тем он плох – совершенно спокойно сказала Галина Васильевна – и тем он страшен, что от него один шаг до того, чтобы учитель получал меньше школьного сторожа. А хирург - чем уборщица в его операционной. Что и имеет место.

- Ну дура! – сказал вдруг Толя, повернувшись ко мне. И разразился запальчивой тирадой. С Галиной Васильевной он всегда почему-то спорил. Бывало, она еще только собирается что-то сказать, а по лицу Толика видно, что он с ней уже не согласен. Чем-то эта женщина его раздражала. Может быть своим спокойствием?
- Все то у вас шиворот навыворот, Галина Васильевна. Все в голове у вас наперекосяк! Правильно написано на плакате! Ничего ведь не стоит быть культурным. Чтобы на пол не харкать и в парадной не сцать ведь ни копейки не стоит! Так ведь все равно: и харкают, и сцут, гады. И вообще, засирают Россию. До такой степени изгадили, что ступить некуда чтобы не вступить! По нашей лестнице одна Нонна не зажимая нос пройти может, да и то она это преимущество перед остальными имеет только потому что у нее хронический насморк! Если хочешь быть культурным – будь им, и все! И ничего это не стоит! Потому что нашему народу до культуры еще чесать и чесать! Хотя во всех остальных отношениях мы далеко впереди.

Галина Васильевна всплеснула руками, предварительно поставив на стол кастрюлю, чтобы их освободить.

- Да зачем же нам чесать до культуры, Анатолий Михайлович, если у нас у всех есть Пушкин, Чехов и Мусоргский? Конечно вы правы. И не харкать в музее культура, и не какать в подъезде культура. Но в том наша беда, - не вся, конечно, но одна из наших бед, - что Глинка и Толстой у нас уже есть и чесать за ними не надо, а до того чтоб не сморкаться в два пальца, как вы это сейчас сделали – как до луны.

“Кто может сравниться с культурой моей?” – вдруг пропела Нюша, подняв руки с луковицей в одной руке и ножом в другой вверх, точь-в- точь как Нефертити две сестры на известном барельефе, встречая солнце. Все заплодировали (хотя и не все, кажется, заметили, что, как и на плакате, одно слово в классической арии было изменено) и ждали что она продолжит. А Нюша наоборот - замолчала, и стала опять на доске лук резать. Не утирая слезы. Было у нее такое удивительное свойство – не плакать. То есть никогда. Не только по какому нибудь поводу, но даже от лука.

На кухне стало тихо. Накал только что прошедшей перепалки стал остывать, как чайник. И пока сама беседа не растворилась в воздухе без следа, как пар от вскипевшей воды, я обратился к Онегину, осторожно возвращая разговор на круги его:

- Где ты добыл этот плакат, Коля?
- На вокзале красовался. Над кассами, – ответил свободный Коля почему-то с гордостью.
- И ты просто так взял и снял? Как Донкихот?
- А как еще я должен был его снять? – удивился Онегин – Под звуки пионерских горнов? Или с почетным караулом?
- Это точно что с караулом, – вздохнула Галина Васильевна. – У нас куда ни ткни - караул. И то, что он кое где еще и почетный, только подчеркивает.
- Ну ...! –сказал Толя в сторону. А в лицо ответственной съемщице продолжал:
- Культура нам нужна. Даже больше чем яйца в магазинах. Всего у нас в стране есть больше чем у кого бы то ни было – только культуры пока не хватает. Потому в парадных воняет и на стульчак залезть не испачкав штаны только по камушкам можно.
- Ах Анатолий Михайлович, - сказала Галина Васильевна. - Вашими бы устами! Могут вас успокоить. Культура то у нас как раз есть. Мировая культура, понимаете? В этом

наш парадокс, который умом понять невозможно и уж не знаю, каким другим местом. В том то и счастье или горе наше, опять же не знаю - что культура мирового уровня у нас есть, а культуры уровня писсура у нас нет. Если весь мир знает как минимум четырех русских писателей: Толстого Достоевского, Чехова, Набокова, это как минимум, то есть каждый дворник в Париже знает. И как минимум четырех композиторов: Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Стравинского, и трех-четырех русских балетмейстеров – Фокина. Баланчина, Пятипая, да еще и Нуреева, коли уж всех по-четыре берем. И четырех музыкантов – Рихтер, Ойстрах, Гилельс, Растропович, это как минимум, и так во всем, - то мало это или много?

- Четыре это мало, – сказала вдруг Нонна, что-то помешивая в кастрюле.
- Это в супе четыре картофелины мало. – уточнила Галина Васильевна. - А на иконостасе культуры в каждом ряду по три-четыре-пять русских имен - это невероятно много.
- На иконостасе четыре это много – подтвердила Аленушка. – А если в ряду евангелистов – так вообще все.

И перекрестилась.

- Наш вклад в мировую культуру – вы вдумайтесь только, Анатолий Михайлович! - никак не меньше чем Италии и Франции.
- Всего то не меньше? – возмутился Толя. – Где же ваш патриотизм?
- Чем же это вам мой патриотизм не угодил, Анатолий Михайлович, - удивилась Галина Васильевна. – Ведь если других не уважаешь, то не уважаешь и себя. Это же очевидно. Да поймите же вы все наконец, что обидеть нашу русскую культуру невозможно. Как невозможно обидеть гору. И самое печальное, что вам, то есть не конкретно вам, а вам вообще – это очень трудно объяснить. Вот уж сколько лет вам это объясняют, и опять объясняют, и опять и опять, а вы опять на защиту нашей культуры с кулаками встаете. И хорошо еще если только с кулаками а не с смиренными рубашками и пистолетами. Культура то у нас как раз есть. Может быть единственное, что у нас есть, это культура.
- Так если культура у нас есть, чего же у нас тогда нет? – спросил Толик ехидно. – У нас, у которых есть все, и по сравнению с которыми Саудовская Аравия, у которой есть только нефть, сравнительно бедная страна. Казалось бы сци и радуйся.
- Культура у нас есть, – повторила Галина Васильевна. – Цивилизации у нас нет.
- Ну дурра, – смачно сказал Толя и звонко высморкался в раковину из второй ноздри. – И что же по вашему мнению цивилизация? Есть у вас определение? Или цивилизация для вас что то вроде дыма от папиросы?
- Есть и очень даже простое, Анатолий Михайлович. Цивилизация – это когда двум людям вместе, то есть не обязательно мужу и жене, а вообще людям – вместе живется лучше чем порознь.
- И все?
- И все.
- Ну дура! – сказал Анатолий Михайлович. (Что то Толик сегодня зачастил с этой своей приказкой, –подумал я- К чему бы это?) Вот у нас в квартире что же, не цивилизация? Или например, Ленинград, в котором дворцов больше чем общественных туалетов? Это разве не цивилизация? Да как у вас язык поворачивается такое говорить? Как не русская!

- Да вы только что сами себе и ответили, Анатолий Михайлович – вздохнула Галина Васильевна, - Вот мы с вами в этой квартире порознь все очень милые, добрые, безобидные, даже талантливые. То есть все поголовно. А посмотрите, как мы живем вместе?

И она обвела глазами кухню. А следом за ней все. И я вместе со всеми. Скажу честно: глаз не ликовал.

- Да что это у вас за такие настроения пораженческие, Галина Васильевна? – возмутился Толя. - Если с фашизмом справились, неужели цивилизацию не построим? Еще лет пять пройдет, максимум десять. И, заживем как люди, если войны не будет. Надо только говно искоренить. И будет порядок.
- Ой, – сказала Кроткая Аленушка и перекрестилась.
- Ты о каком гавне, Толя? – спросил я, останавливая мгновение в его полете, и давая времени возможность сделать петлю.
- Да о любом! У нас ведь гавна больше чем продуктов в гастрономе. Все возможных сортов, больше чем во Франции сыров, больше чем в Америке жвачки, больше чем в Англии лордов, такие гавнистые разновидности, в какие, пока не вступишь, или по уши в нем не искупаешься, не поверишь, что такие на свете бывают.
- И как же с ним справиться? – спросил я наивно, - с говном этим? Если оно такое многоликое и повсеместное?
- Объявить всенародную компанию надо, –сказал Толя уверенно. - Все на уборку гавна! Чтоб вышли, как на ленинский субботник, всем миром. Когда мы все это...
- Пожалуйста. не надо повторять это слово... – скороговоркой проговорила кроткая Аленушка молитвенно сложив на груди руки.
- ... говно – договорил Толя с видимым удовольствием – соберем в одном месте, чтоб под ногами не путалось и не приходилось ходить зигзагами, как пьяные, которые может вообще люди будущего и совсем не потому зигзагами ходят, как думают трезвые, а потому что я сказал! И если б все русские люди, дружно, как Валентин, хотя бы по одной сволочи, которая на нас срет...
- Ой! – сказала кроткая Аленушка.
- Да, именно срет- повторил Толя отчетливо – грохнули...
- Как Раскольников по старухе процентщице, – успел подсказать я.
- Раскольников не надо, раскольники святые люди, – сказал Толя, не поняв подсказки. - А стукачей и сволочей, и мелуху, и подлянку, которая вокруг них суетится – и каждый бы взял на себя всего одного, по образу и подобию Валентина, а нам бы за это отпущение грехов и амнистию, всего то на один воскресник делов! уж ты мне поверь! – тут мы бы в России так зажили, что Америке с Европой только и останется что опыт перенимать.
- Да уж, – скептически прознес Онегин, не выдержав многослойности тирады.
- Так что воскресник нам позарез нужен, – закончил Толя, получив поддержку. – Всего один воскресник. Рубить – так с плеча! Делать так по большому! Только одна с этим воскресником трудность может выйии. А все остальное – без вопросов.
- И какая же это трудность, Толя? - спросил я осторожно, чтобы не вспугнуть ответ, как птицу.
- Да такая и проблема, чтобы убрав одно гавно тут же на воскреснике по его уборке новое не наложили.

- Вашими бы устами, Анатолий Михайлович – сказала Галина Васильевна почему то очень печально. – А по моему, если мы и дальше будем гордиться тем, что все до крайности доводим, так наша беспросветная жизнь не надолго.
- Вот и я говорю, не надолго. – Сказал Толя. – а вы спорите.
- Не надолго. – Повторила Галина Васильевна уныло, - Если из бездны в бездну шарахаться будем и гордиться этой нашей самобытностью и яркой окрашенностью, то это не надолго. Это навсегда.
- Да откуда же в вас такой пессимизм? – спросил Толя гневно.- Какие для него основания, если мы такой великий народ, что над нашей страной солнце никогда не заходит?! Даже если окурки бросаем мимо урны и счим в лифтах, все равно мы великий народ! В смысле можем себе позволить и это!

И ударил себя в грудь. Да так настырно, что медали, которых на ней не было, зазвенели.

- Да в чем же, господи, мы такие великие? Размерами лифчиков? Количеством ракет? Или народов, которые в кулаке, как букет, зажали? В том то и дело, Анатолий Михайлович, что велики мы русской культурой. Это не нуждается в доказательстве, это очевидно всему миру. И только ничего не понимающие обалдуи могут, извините, бить себя при этом грудь, думая что защищают нашу культуру, тогда как они ее оскорбляют. А в смысле отношения друг к другу, мы, к сожалению, третий мир.
- Ну и дура же вы Галина Васильевна, - сказал Толя прямо в лицо Галине Васильевне. Все таки обычно он этого себе не позволял в силу врожденной деликатности. Видно, уж очень его задело. – Это кто оскорбляет нашу культуру? Это я оскорбляют нашу культуру?

И в самом деле, большего абсурда, если отвлечься от контекста разговора, чем представить себе гения русского дерева Толика, оскорбляющим русскую культуру, придумать было нельзя. И я покосился на доску с фризом из переплетающихся фиг и прочими вензелями, на которой Нюша резала лук.

- Да разве я о вашей работе, господи! Я о том, что вы делаете и говорите, как только отходите от своего верстака! Повторяю, вам, Анатолий Михайлович: культура у нас есть. И у вас есть культура, успокойтесь. И даже у меня есть культура, слава Богу. Потому что от нас ее не отнять. Как нельзя отнять сердце.

Слава богу. – сказал Толя – а я то разволновался. (и в сторону) : Вот дурра! (в лицо) А чего же у нас тогда нет по вашему?

Все замолчали, ожидая что скажет Галина Васильевна. И даже две черные кошки старой женщины не по кошачьи заинтересованно уставились на нее.

- Цивилизации у нас нет. – сказала Галина Васильевна очень спокойно, и повторила - Культура у нас есть, а цивилизации нет.
- Ну д..Галина Васильевна! – сказал Толик. - Это как же у нас нет цивилизации, когда ракеты в космос летают и на Америку мирно нацелены через Атлантический океан?
- А вам от этого уютнее живется, Анатолий Михайлович, от этой нацеленности? – спросила Галина Васильевна.- Или вам после очередного межконтинетального запуска лишний раз в гастрономе улыбнется продавщица?
- Намного уютнее. –сказал Толя. – Стою я у верстака, строгаю, строгаю, подниму глаза - а надо мною мирное небо. И я могу опять спокойно строгать. И еще я уверен в завтрашнем дне.
- В каком именно завтрашнем дне, Анатолий Михайлович? Завтра, например, понедельник.

- Уух. Галина Васильевна. – сказал Анатолий Михайлович в сторону – Вообще в завтрашнем дне. Не в каком то конкретно, а вообще в завтрашнем.
- И в чем это вы так уверены в этом завтрашнем дне?
- Что выпить будет, закусить будет, и с кем будет – сказал Толя, подумав. И, помолчав, добавил. – Что куда захочу поеду в своей стране, совершенно между прочим безопасно. Даже одному ночью в лесу безопасно. И человека в лесу встретить не боюсь. За что между прочим, спасибо партии, которую во всем остальном в гробу мы видали. И сделаю я в своей стране что захочу и ничего мне за этого не будет. А попробуйте в Англии?! Мало вам? Мало вам?
- Да вы сами отвечаете на свои вопросы, Анатолий Михайлович, вздохнула Галина Васильевна.
- Не справится Толя с гавном, – прошептала Нюша мне на ухо, улучив момент тишины. – И никто не справится. У нас оноечно. И знаешь почему Федя? Потому что в нем мы как рыба в воде. И нам в нем тепло и уютно.

Я посмотрел в лицо Нюши и понял, что она знает, о чем говорит. Мне показалось даже, что застывшая улыбка на краешках ее губ чуть чуть приподнялась кверху, вместе с краешками глаз. Потом так же искоса посмотрел на лица обитателей берлоги – одно за другим, и запомнил их, как фотокарточки. Аленушка увлеченно готовила борщ. Онегин, заваривший кашу, с удовлетворенным лицом наблюдал за манипуляциями и священнодействиями Аленушки в кастрюле, чувствуя себя чем то вроде Фурманова при Чапаеве, в функцию которого входило одновременно присматривать и вдохновлять на подвиг. Нонна чистила картошку, расставив ноги над мусорным ведром. Черные кошки о чем то мяукали на ухо друг другу. И только старая женщина, которую все кроме Нюши называли ведьмой, казалось совсем не слышала этого разговора. И лицо у нее было, я бы сказал, брезгливое. Как если бы она не вступила в то, что с таким пафосом пытался искоренить Толя, по одной единственной причине: по той самой, по которой рыба не может вступить в воду. Потому что вступить в то, в чем живешь, невозможно.

- И что же нам делать? – подала вдруг голос Нонна. И все удивились. Потому что привыкли, что она – эхо.
- А вот это вопрос, на который считается что нет ответа, потому что следовать ему, очевидному, неохота. – очень спокойно сказала Галина Васильевна. - Рецепт известен: бросить пить, вести умеренный образ жизни включая в это понятие и работу, и перестать гордиться собой по любому поводу. Тогда цивилизация у нас быстро появится, уверяю вас. Не такая как в Европе или Японии, но хоть какая-то. Чтобы двоим вместе жилось если не лучше чем порознь, но хоть мало мальски по-человечески. И все тогда у нас мало помалу станет замечательно, потому что страна у нас не только богатая, но и образованная. Хотя конечно, с другой стороны, тогда мы уже не будем так ни на кого не похожи и ярко окрашены, как сейчас.
- Ну, дура! – сказал Анатолий Михайлович с чувством. Плюнул в раковину. Смыл плевок из ладони. И ушел с кухни.

Парторг Под Юбкой

На третий день после того, как вместо изгнанного, в отделении Тонечки заведующим хирургическим стал победоносный секретарь парткома, она пришла на кухню рагневанная.

- Представляешь, эта гнида парторг в первую же ночь, когда наши дежурства совпали, начал лезть ко мне под юбку. И когда я отрезала, что сообщу в парторганизацию, он расхохотался и, пытаясь дотянуться до трусов своими идейными пальцами (где ему! – прошептала, кажется, при этом Тонечка и при этом погарцевала своими упругими ножками, как кобылка):

- Сообщай сейчас. Здесь и немедленно. Ведь я и есть парторганизация.

И при этом бурно задыхал, гнида.

Рассказав об этом действительно омерзительном эпизоде и наполовину облегчив душу, Тонечка побежала к телефону жаловаться бывшему заведомому. И вернулась окрыленная.

- Максим Михайлович сказал, что женщин победителям-варварам джентельмены не оставляют. А он джентельмен.

И действительно, уже на следующий день Тонечка по чьей-то рекомендации пошла устраиваться в больницу, обслуживавшую обком партии. И ее туда взяли. Да так быстро, что уже вечером она осталась на ночное дежурство. Словно и впрямь спасали от Синей Бороды.

- Ну как? – спросил я ее после второго дежурства.

- Скучно. – уныло сказала Вечно Веселая Тонечка - Все друг за другом стучат и никакого секса. И еще... (она перешла на шепот) ты знаешь, Федя, у меня впечатление, что там все кадры проверены до седьмого колена. И поэтому ничего не умеют.

Вскоре в больнице поняли какого потрясающего работника они взяли на работу, который не смотря на безукоризненную анкету, был великолепным профессионалом, и Тонечка заработала в поте лица. В то время, как у других было по полбольного на одну здоровую медсестру, Тонечка носилась по клинике, как кобылица Мухаммеда, не присев и не прикурнув. За неумех отдувается тот, кто умеет. По крайней мере, так это выглядело со слов Тонечки.

Примерно месяц Вечно Веселая Тонечка ходила как в воду опущенная. Никто к ней не приставал и даже по ночам не было никакого секса, так что если верить ее пророчеству, медицина в этой больнице уже была за гранью распада.

Рассказывала она о происходящем в месте лечения полубогов мало, ссылаясь не на клятву Гиппократу, а на какое-то неразглашение. Однако то, что у руководителей партии сердце, печень и легкие находятся на том же месте, что и у рядовых тружеников, кажется, вызывало у Тонечки в первое время удивление, ибо интуитивно почитала их, как и весь советский народ, сделанными из другого теста. Прорвало шлюз молчания Тонечки только раз. И выглядело это в ее пересказе так.

Однажды ночью привезли к ним на хирургию жену первого секретаря обкома, однофамилицу царской династии, где-то подвернувшую ногу и упавшую оземь. Немедленно собрали консилиум медицинских светил со всего города. И тут же

выяснили, что ни перелома, ни трещины, и вообще ничего кроме ушиба у супруги первого человека в городе нет. Ну то есть вообще ничего, здоровая женщина, может жить и радоваться. Однако выписывать лицо приближенное к телу столь высокого лица со столь смехотворным диагнозом было несолидно и пахло несоответствием служебному положению. Поэтому всю ночь ушибленную прогоняли сквозь всевозможные тесты, многие из которых были исключительно малоприятными. Затем еще в течение двух недель от чего-то лечили двадцать четыре часа в сутки лучшими и самыми дорогими импортными лекарствами. И только после того, как вылечили от всех недугов с латинскими названиями, которые едва умещались на странице, ушибленную выписали, получив благодарности в личное дело и премии. Включая и Тонечку.

На премию вечно Веселая Тонечка купила четыре пары колготок.

Глаз - Алмаз

Я был очень способным пареньком – скромно сказал Анатолий Михалылович. У меня с самого детства был не глаз а алмаз. И такие руки, что все что угодно умели делать. Вот только применения этим моим способностям сначала не было. Лет примерно, до одиннадцати. А потом мою способность заметили взрослые и я стал им делать отмычки за мороженое. А когда этих взрослых посадили, мне дали срок условно со скидкой на ребячество, после чего я опять перестал находить себе применение, а жрать хотелось. И я стал делать печати за конфеты, Сделаю печать иголочкой: хоть с мясокомбината, хоть с совета министров – одна к одной. Такой у меня был глаз алмаз. Ну, а когда и этих посадили, я уже вышел из ребячества и мне закатали пять лет по несовершеннолетию. И это было большое везение, потому что остальным политическое дело пришили. Так я на Колыму попал. Но, так как статья была бытовая, считался я классово не совсем пропащим. А наоборот – классово своим. Поэтому когда война началась, была мне оказана большая честь защищать Родину в штрафбате.

- Смертью - сказали – сотрешь пятно со своей биографии. Такой твой патриотический гражданский долг.

Бразильский Синдром

Мы не похожи ни на кого в мире – сказал мне Коля – а если кто-то не может с нами стыковаться, то это его проблемы.

Вот например, помню, приходим мы в Бразилию.

- Почему именно в Бразилию? – спросил я.

- Нипочему – ответил Коля, подумав – Помню – и все. Короче, приходим мы в Бразилию. А там нас наши партнеры уже ждут и знают.

Мы еще даже не пришвартовались, мы еще только на рейде стоим, а они уже гребут к нам вонсю на своих лодочках. Спускаем мы им с палубы бронзовые краны, которые со всего корабля отвинтили, а они в ответ ром, виски и водку целыми ящиками. У нас давнее партнерство, все на доверии, без предоплаты. После этого вся команда гуляет неделю. И ровно через два дня они опять гребут. Потому что у нас надежное партнерство и мы уже друг друга хорошо знаем. Ну. мы им опять бронзу. А они нам опять бухало ящиками. И мы еще два дня гуляем. А капитан наших уже знает, опытный

морской зубр, поэтому все краны с двойным запасом взял. Но разве на нас напасешься? Мы и во второй, и в третий раз все отвинтили и за борт партнерам спустили. Но время идет, и наш сухогруз в конце концов загрузили. Только отчалили – пожар. А тушить нечем, ни одного крана на корабле нет, и с помпы тоже все свинчено. Хорошо что недалеко от берега были, француз помог, а то бы совсем сгорели. Возвращаемся в Рио и еще ждем месяц, пока запчасти привезут. А нам что? Нам ничего. Командировочные идут, суточные идут, заграничные тоже идут. Чем плохо? Тем временем краны на самолетах завезли. На этот раз, конечно, капитан поставил около каждого крана офицера с именным кортиком, краны от нас охранять. А нам что? Нам ничего. Продавать то в открытом море их некому, на хрен они нам в открытом море нужны. Пусть себе стоят до поры до времени. Все равно они наши, как тела живых и могучих львиц заранее принадлежат питающимся падалью гиенам. Которые они запросто могут разорвать поодиночке. Но не как класс. Так что пусть пока потелепаются. Как цыплята в инкубаторе. Так и вернулись в родной порт. Ну, дома меня с Димой, конечно с заграники списали, хотя доказательств кто краны свинтил и не было никаких, одни догадки и предположения. Погулял я пару месяцев, туда сюда потелепался, а потом в троллейбусный парк пошел. Что мне в троллейбусе нравится – то что во первых, никакой тебе грязи, чистое электричество, а во вторых, что ни вправо, ни влево особенно не раскатаешься. Только по маршруту. А мне по моему настроению сейчас это как раз то, что надо. Троллейбус – это я вам скажу очень даже русский национальный транспорт. Свобода – но в рамках. Рули куда хочешь – то только пока провода не оторвутся.

Пируэт Жизни

Это не шутка. Я в самом деле чуть не вошел в историю Великого Русского Балета – Гордости Мирового Искусства. Но не так чтобы вдруг эпохально станцевать партию принца в Лебедином и это бы стало событием мирового масштаба. И не поставив Щелкунчика в революционной, например, лесбийской или, скажем, нудистской, интерпретации. А совсееееем другим способом. Похожим на тот, которым вошли в историю:

- Агамемнон, разрушивший Троию.

- Парис, убивший Ахилла, с меткостью ворошиловского стрелка попав в пятку последнего так точно, что даже контрольного выстрела в голову не понадобилось..

- И Каин, убивший Авеля, и тем поставивший самого Бога перед необходимостью выбора: либо создавать Человека заново, либо делать человечество, Главное Средоточие Разума во Вселенной - все человечество до последнего человека:

от Моцарта до Сальери,

от Грозного до Курбского,

от Шопена до Байрона,

от Клеопатры до ее рабыни,

от Марии Медичи до Эйнштейна

- потомками братоубийцы.

Да! Я чуть было не наследил в истории балета, не только русского, но и

мирового,

как Алексей Орлов, поставивший себе вечный рукотворный памятник в пантеоне
Мировой Истории, задушив Петра Третьего,

как нарком НКВД Ежов, изуевекочивший себя тем, что советское искусство
пошло совершенно другим путем после того, как были уничтожены все, кто шли не тем
путем, каким им следовало маршировать,

и как Шарлотта Корде, заколовшая (как сообщают все энциклопедии мира, даже
самые краткие) Марата в его собственной ванной.

Я чуть было не ворвался в историю Мирового Танца так же пылко, как Сергей Есенин,
благодаря которому у великой Айседоры Дункан появился есенинский период
творчества, и бурно, как Молодой Зевс на Олимп: то есть решительно и навсегда.

Не буду интриговать читателя. И приступлю непосредственно к рассказу о том,
как я чуть не убил великую русскую балерину.

Ночь с тринадцатого на четырнадцатое января в Петербурге была специфическим
праздником. Особенно для так называемой творческой интеллигенции. В этот день в
домах творчества отмечали Старый Новый Год ¹⁶.

Надо же было так случиться, чтобы Ирочка Тайманова (известное всему городу
очаровательное существо, бывшее по совместительству сестрой известного
гроссмейстера и женой не менее известного заместителя председателя Союза
Композиторов) которая считала, что у меня самые голубые глаза в Ленинграде и
испытывавшая по этому поводу ко мне чисто эстетическую слабость, пригласила меня
на Старый Новый Год в Дом Композиторов. Это была, кажется, последняя цитадель
интелигенции, которую я до того не удостоивал чести встретить в ней самый элитарный
праздник Страны Советов.

В доме Кинематографистов бывал.

Во дворце Искусств – многократно.

В доме Писателя (почему то, кстати, в единственном числе) – непременно.

В доме Архитекторов обязательно.

В Доме Ученых – а как же.

¹⁶ Как известно, коммунисты размежевали интеллигентов по творческим союзам: писатели получили
счастье сидеть в дворце Шереметьевых, расположенном в зоне прямой видимости из окон штаб-квартиры
Комитета Госбезопасности, именуемой в народе Большим Домом. Артисты театров были ошарашены
заниматься творчеством отдельно от артистов кино, в Игровой Дворце Юсуповых на Невском, который
был игорным и до революции, но не в смысле игры на сцене, а в смысле игры в рулетку. Архитекторы
собирались в своем, в архитектурном отношении эклектичном, но во всем остальном вполне
респектабельном дворце на Большой Морской. Композиторы получили в свое распоряжение дворец
создателя Исакиевского собора Монферана (в то время как музыканты, исполняющие их произведения,
своего дворца почему не заслужили). А Рыцари познания Истины - Ученые - вообще были отделены от
деятелей каких либо Искусств, будучи ошарашены Дворцом Великого князя Владимира, настолько
подавлявшим всех приходящих в него своей вызывающей роскошью, что реанимировать в этом дворце
жизнь или хотя бы ее подобие никогда не удавалось не смотря на предпринимаемые время от времени
усилия.

А вот в доме Композиторов на Старом Новом – дотоле не присутствовал никогда.

Столики в дубовом зале (название, которого, хотя и не звучало столь же одиозно как словосочетание *Дубовый Зал Дома Ученых*, но все же интриговало) были организованы человек, если не ошибаюсь, на двенадцать каждый. Компания за нашим столом, куда флюидами Ирочки – буквально за красивые глаза! - я был посажен явно не по ранжиру, собралась изысканная: Председатель Ленинградского отделения союза композиторов, заместитель председатель Ленинградского отделения Союза композиторов, дирижер оркестра филармонии, Главный дирижер театра оперы и балета имени Кирова, Татьяна Михайловна Вячеслова, не занимавшая никакой официальной должности а просто великая русская балерина, и еще несколько человек, которым не имели чести быть мне представленными.

Примерно к третьему часу ночи все куда-то разбрелись, по большей части танцевать под оркестр (судя по качеству исполнения, явно не состоявший из выпускников инструментальных отделений консерватории, разве что из композиторов и музыковедов) а многие перемещались от столика к столику, иногда просто чтобы переброситься парой слов, а иногда чтобы засесть основательно. Все смешалось и все смешались, как и положено на празднестве. И наступил момент, когда за нашим столом (к которому никто не подсаживался, несомненно, по причине его элитарности – хотя после того, как за никого из сильных художественного мира сего за ним не осталось, элитарность стола, предмета неодушевленного, стала чем-то вроде улыбки чеширского кота, которая, как выяснилось таким образом, может придавать атрибуты живого даже изделиям из дерева) остались только мы с Татьяной Михайловной. С легкой руки Примы Балерины Кировского Театра (неважно, что в далеком прошлом; по моему глубокому убеждению, *Прима Балерина* в таких театрах, как Большой и Мариинский – пожизненный титул, наподобие звания *Олимпийского Чемпиона*) оживленно беседовали. Хоть и в веселой толпе, но как бы наедине. Сначала великая балерина (которой я все за те же красивые глаза, пришелся по душе) предавалась воспоминаниям о Вахтанге Чубукиани, ее любимом партнере, таком же легендарном, как и она сама ¹⁷. Потом Вячеслова заговорила о плане новой книги, которую она собиралась назвать *“Шестьдесят лет без мужчины”* (*“...не в том дело, что у меня не было в жизни ни одного мужчины, а в том, что ни одного настоящего мужчины не было”* – втолковывала мне, хмельному и непонятливому, Татьяна Михайловна). И наконец, когда оркестр заиграл танго, Вячеслова, внезапно прервав поток легкой болтовни смешанный с блеском глаз, гирлянд и ожерелий, вдруг предложила:

- Идемте танцевать, Федя.
- - Что Вы, Татьяна Михайловна. Да как же я могу танцевать с Вами? Я же не Чубукиани.

¹⁷ Судьба этого великого танцовщика сложилась бы еще более удачно, если бы он мог быть менее великолепен. Непростительная ошибка Чубукиани состояла в том, что в балете *Тарас Бульба* он станцевал предателя Андрия настолько блистательно, что затмил исполнителей всех положительных персонажей. За политически вредные па, граничащие с изменой Родине, танцор был решительно осужден компетентными в искусстве органами и сослан на родину в Тбилиси.

- Неужели вы думаете, что я такая старая, что не вижу, что вы не Чубукиани? – сказала Балерина кокетливо. - Но я ясно вижу также, что мы не на сцене Марининского. Так что перестаньте передо мной комплексовать и идите танцевать.
- Что правда то правда, Татьяна Михайловна, мы с вами не на сцене Кировского театра, – обреченно согласился я. - Но все таки мы в дубовом зале Союза Советских Композиторов, и...
- Да бросьте вы! Идите танцевать, Федя. Идите. Да идите же!
И, взлетев со стула, как пушинка, и обойдя стол упругой балетной иноходью, гордость русского балета решительно потянула меня за руку в направлении эпицентра дубового зала, в котором под ногами танцующих уже потрескивал дубовый паркет. Куда деваться? И можно ли отказать великой женщине в ее последнем (как она кокетливо сообщила мне для убедительности – и чуть не накликала!) желании?

Ну мы и пошли. Надо сказать, танцор я лихой, но, разумеется, не профессиональный. Любительский я танцор. Одно дело поражать воображение девушек на студенческом вечере, и совсем другое – танцевать с гордостью русского балета, собственноручно придерживая ее за стан, являющийся достоянием государства.

Танцевали мы с Татьяной Михайловной, однако же, повидимому, не так уж скверно, потому что все остальные гости (а среди публики были замечены и балетмейстеры) танцевать перестали и, сделав круг, принялись за нами наблюдать, аплодируя время от времени, кто из вежливости, а кто то, несомненно, от умиления. Глаза у Татьяны Михайловны разгорелись, как бенгальские огни. И она забыла. Причем не одну, а сразу три вещи:

Во первых Татьяна Михайловна забыла, что танцует не с Чубукиани.

Во вторых, Татьяна Михайловна забыла, сколько ей лет.

И, наконец, в третьих, Татьяна Михайловна забыла, сколько она весит.

И забыв все это разом, Вячеслова опрометчиво совершила то, что чуть не заставило меня навсегда войти в историю мирового балета.

Когда мы с Татьяной Михайловной, подогреваемые всеобщим вниманием, немного растанцевались и делали, по ее, разумеется, инициативе, дорожку по диагонали дубовой залы дворца Монферана, лицо балерины вдруг осветилось божественным светом и помолодело раза в три. После чего произошло то, что и сейчас заставляет меня, холоднокровного, холодеть. История Русского Балета двадцатого века закрыла глаза, грациозно отдалилась метра на полтора от меня, якобы поддерживавшего ее, стала на пуанты (хотя была обута в обыкновенные австрийские туфли на довольно таки не низком каблуке), театрально закинула за голову все еще тонкую руку, и вдруг – совершенно внезапно и без какого бы то ни было предупреждения! - стала падать на спину в направлении, противоположном моему местонахождению, причем не какнибудь осторожненько, а головой об пол.

Это было так страшно, что оркестр перестал играть. В воздухе повисла пауза, такая тяжелая, как если бы до ее наступления исполнялось не аргентинское танго, а Кольцо Нибелунгов.

Как сейчас вижу падение Татьяны Михайловны Вячесловой замедленным – словно при убыстренной съемке. То есть растяжение восприятия, несомненно, происходило только в моей голове, а Татьяна Михайловна падала головой оземь с естественной скоростью, определяемой законом всемирного тяготения и ничуть не медленнее того. Чего, однако, было более чем достаточно, чтобы шутка о последнем ее желании незамедлительно воплотилась в явь.

Не сомневаюсь, что Татьяна Михайловна сделала знак, когда, как и куда она собирается падать, и знак этот Великий Чубукиани несомненно бы понял и, сделав соответствующий контрпирует, выполнил бы поддержку в полном соответствии с требованиями классического па-де-де. Но я не был Чубукиани. И даже если бы заметил какие бы то ни было знаки, на их расшифровку и интерпретацию без посторонней помощи мне понадобилось бы никак не меньше чем двадцать четыре часа.

“... и вот летит!” – успел однако процитировать некто лукавый, сидящий внутри меня, относящуюся к данному случаю половину бессмертной пушкинской строки.

Не знаю, каким чудом совершил я первое и последнее па в жизни, которому в самом деле мог бы позавидовать великий Чубукиани - но я успел таки в результате нечеловеческого усилия подставить под падающую гордость русского балета свое тело. И оно, мое тело, на несколько секунд оказалось между плотью великой балерины (на протяжении десятилетий, начиная с конца тридцатых годов, традиционно считавшейся первой красавицей советской балетной школы), шмякнувшейся на него с высоты, и полом, что при любых других обстоятельствах смотрелось бы чрезвычайно пикантно. Однако на пикантность происшедшего в тот момент не обратил внимания никто – не до того было.

Не исключено, что за спасение своей жизни Татьяна Михайловна должна благодарить не столько меня, сколько моего тренера по карате. Нельзя полностью исключить также, что во мне умер новый Чубукиани, как после этого происшествия некоторые его свидетели упорно думают. Так или иначе, оба тела – мое и гордости русского балета - встали с дубового пола дворца Монферана без травм.

Когда почтеннейшая публика убедились, что жертв нет, раздался дружный вздох облегчения, переходящий в не менее дружный аплодисмент. Все рефлекторно бросились поздравлять Вячеслову, а заодно и меня, не отдавая, однако, отчет, с чем именно.

Прошло примерно полчаса, когда оркестр заиграл вальс и глаза великой балерины опять вспыхнули (к моему ужасу), как бенгальские огонечки. Она опять встала, обошла стол и, едва касаясь пола, легкой походкой сильфиды опять направилась ко мне (причем с каждым ее шагом я чувствовал, что каменю все более и более), а приблизясь, встала в третью позицию и опять потянула меня за рукав. Да как сильно!

- Татьяна Михайловна, я вас уважаю и преклоняюсь, но танцевать с вами больше не буду – твердо сказал я.

- Как вам не совестно, Федя! Неужели вы из за этого антраша? Подумаешь, падение! Даже без травмы голеностопа обошлось, не говоря уже о переломах. Сразу видно, что вы не балетный... У нас, знаете ли, в Кировском столько всего бывало... Вот помню, на генеральной репетиции Бахчисарайского, перед самой премьерой, Чубукиани ...
- Нет уж, Татьяна Михайловна. Увольте. – Наотрез отказался я и для пущей убедительности замотал головой. – Я вам больше не Чубукиани.

С тех пор я с великими балеринами не танцую. Какие бы заманчивые возможности для этого ни предоставляла судьба.

У Закона Есть Лицо

Когда меня насильно извлекли из объятий Морфея, я долго не открывал глаза. Когда все же произошло их торжественное открытие сопровождаемое гулом в ушах, я увидел Ньюшу в чулках. И я сразу понял, что ее приход ко мне торжественный. Приблизительно эквивалентный выходу кавалергардов на дежурство у трона императрицы Екатерины.

- Только что пришла передача от Сани, – говорит.
- По почте? Так быстро?
- Намного быстрее почты. Ногами. И есть сообщение для тебя.
- Давай.
- Дать не могу, потому как оно устное. Чтоб следов не было. А сказать могу.
- Тогда передай устно.
- Саня просил передать, что ему нужна твоя помощь.
- С удовольствием, – отвечаю. – А который час?
- Скоро час.
- Какого числа?
- Да все того же, первого января.
- А года какого?
- Все того же. Восьмидесятого. Ты что, спишь?
- А день какой?
- Какой день, не знаю. Для меня всегда четверг. А для всей страны первый день построения коммунизма.

Я как был так и сел.

- Чего? Так и объявили?

Нюша присвистнула.

- Ты что, Феденька, веришь в эти сказки? Объявили что вместо коммунизма будут Олимпийские игры. Но раньше партия торжественно обещала и обещание свое, вроде не отменяла.
- Вот черт! Вы уже там коммунизмом с утра наслаждаетесь, а я дрыхну напраполюю. Ну и как там у вас в коммунизме?
- Замечательно. Коля с утра на автобусе бесплатно поехал. До полудня катался, а контролеров все нет и нет – тоже, видно отсыпаются. Он уж было домой выходить собрался, как вдруг его уже на выходе за руку хватают и билет спрашивают. Ну он им и ткнул в морду старую программу КПСС, которую Толик со своей стенки

отклеил. А там черным по белому написано, что при второй стадии коммунизма будет бесплатный транспорт.

- Ну и как контроллеры?
- Контроллеры не знаю, а драчка между пассажирами была. Между сторонниками и противниками.
- Коммунизма?
- Проезда в общественном транспорте без билета. Да ты что, никак все еще спишь?
- Немного, -ответил я, и проснулся насколько это было возможно при коммунизме.
- Так что передать Сане?
- А это срочно?
- Почта ждет.
- Ты же знаешь. Для Сани я готов на все. Что в рамках закона.
- Значит, не так уж ты и готов, – сказала Нюша уныло. – Ты, кажется, не понял: Саня ЛИЧНО просил тебе передать, что ему очень надо. А я еще ни разу не слышала, чтобы он кого-то о чем-то просил. Обычно он сам берет.
- И что же именно Сане очень надо? – спросил я. – Об чем, собственно, речь?
- Понимаешь, у него в моей тахте записная книжка осталась.
- Почему в тахте?
- Потому что Саня ее между пружинами прятал, а пока я с Валентином и Витя с Нюркой на тахте барахтались, она закатилась куда-то, откуда не враз возьмешь. Вот он и не успел достать эту книжку, не смотря на свои чудо-руки, когда менты в Берлогу ломиться начали. А там все телефоны, адреса, цифры и прочие записи. Ужас, одним словом. Если в ментовку попадет, многим придет хана. Так просил передать Саня.
- Ну а я чем могу быть полезен?
- Надо на пять минут убрать ментов из моего райка. Только на пять минут.
- И больше ничего?
- И больше ничего.
- А чего они у тебя там делают?
- Ты что, забыл? Они же в засаде сидят.
- Ах да. А мне показалось, с тех пор прошло по крайней мере лет десять. Опохмелиться у тебя нету?
- Да я о серьезном.
- И я о серьезном. Как же я ментов уберу без полбанки?
- Этого уж я не знаю. Только Саня сказал, что очень нужно убрать.
- А записная книжка?
- Это не твоя забота.
- Чего ж ты не взяла эту книжку, когда с засадниками в предбаннике Новый Год отмечала?
- А это как всегда: если б вчера знала, сегодня проблемы не было б. А теперь менты с бодуна, нипочем вдвоем посцать, или еще куда, не выходят. А мне надо – чтоб оба сразу.

Посмотрел я на Нюшу. Первой мыслью моей было - мало мне своих приключений, так еще чужие на свою буйну голову вешать. А потом подумал: господи, да ведь это ж Саня. И, если не я, то кто же?

Поглядел вдругорядь на Ньюшино лицо, как всегда освещенное ясной улыбкой а ля Будда. И понял, что, хотя она еще не знала, что я скажу, была абсолютно уверена, что делать будем.

- Не обещаю, но попробую, – говорю как запрограммированный. Чьей то далекой волей.
 - Так и передать Сане?
 - Так и передай Сане. У тебя водка есть?
 - Немного есть. В серванте.
 - Не годится. А достать еще где-нибудь можешь?
 - Да у кого ж я тебе достану водку в час дня после Нового Года? Винно-водочные до завтра закрыты, забыл разве?
 - Неужели даже при Коммунизме закрыты?
 - Тебе все шуточки! – сказала Ньюша и сердито помахала халатом.
 - А десятка есть?
 - Какие могут быть деньги после Нового Года, Федя? Это просто смешно спрашивать.
 - Ладно. Денег нет – тоже как при коммунизме. Который как бы и наступил. Это, кажется, был его первый ленинский признак – чтобы денег ни у кого не было. Мда... У меня вроде бутылка осталась. Почти полная.
 - Какое все таки счастье, что у нас в квартире живет хотя бы один настоящий интеллигент! – обрадовалась Ньюша.
 - Не хвали, сглазишь. Интеллигентность это не орден. Это клеймо. А закуска есть?
 - Какая может быть закуска после нового года?! А впрочем... дай на кухню сбегая. (Исчезла и моментально материализовалась, как не исчезала). Половина плавленого сырка есть. Два куска хлеба. И огурец.
 - Не густо... Ладно. Пошуруй в холодильнике Галины Васильевны. Все что есть путного, бери. Мне она простит.
 - То есть как? Разве ты больше не интеллигент?
 - С сегодняшнего дня я больше чем интеллигент, Ньюша. Я криминальный интеллигент. К тому же, после открытия магазинов завтра же куплю и поставлю назад в холодильник то же, только свежее. Как учил Саня, деньги должны не лежать, а работать. Как говорю я, и еда тоже.
 - Так ты согласен?
 - А будто не знала. Вот только...
 - Что?
 - Есть у меня одно последнее желание.
 - Наконец то! – искренне обрадовалась Ньюша.
 - Если меня загребут, обещаю, чтобы расчет с холодильником Галины Васильевны Саня взял под свой личный контроль. Для меня это очень важно. Это можно сказать, разговор с Богом.
 - Обещаю – сказал Ньюша очень серьезно, - клянусь моей материнской грудью. Которую тут же и обнажила. Чем обнаружила свое неожиданное сходство с мадоннами Леонардо. Такое неожиданное, что я даже опешил. Не хватало только младенца.
- Впрочем, я отвлекся не по теме. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Минут через двадцать накрыли мы с Ньюшей вполне приличный стол на клеенке с двумя почти полными бутылками водки, огурцами, рассолом, капустой, колбаской которую кошки не жрут, картошечкой, маслицем, да еще и хлеб на четыре части нарежали. Ну

прямо не опохмелка, а пир у Тримальхиона! Поставили граненые. Посидели на дорожку. Выпить для смелости не выпили, мало водки было. Так что пришлось мне идти закрывать амбразуру грудью без сталинских ста грамм. Помолчали. Потом на прощание облобызись мы с Ньюшей, точнее, она меня. Причем четыре раза подряд: два раза сверху вниз и два раза слева направо. Может, и вправду никогда больше не свидимся? Кто знает...

- Иди – говорю – Ньюшеньшка.- Дай мне напоследок побыть одному.

- Это зачем?

- Во первых, выпить чашку sake, хотя бы чисто символически. И во вторых тоже. Ньюша, умница, все поняла и беззвучно исчезла куда-то. А я опять сел. Закрыв глаза. Расслабился. Некоторое время мысленно подбирал правильную мелодию и ритм речи, с которыми предстояло совершать подвиг. Поколебавшись между Шенбергом и Шостаковичем выбрал последнего как более созвучного действию. Настроился на твердость и готовность пройти сквозь стену. Приказал себе забыть о том, что в берлоге я не прописан и засим, если попросят показать документы, то это хана.

Эти или похожие мысли вертелись в моей голове во время самопогружения. Состредоточился. Настроился на победу. Открыл глаза. И пошел на дело.

Постучал в дверь райка. Молчание. Опять постучал. Молчание. Открываю. И тут мне каак закрутят руки за спину, кааак врежут по башке и каак повалят на пол мордой об пол – я чуть сознание не потерял.

- Мужики вы чего?- хриплю.

- Ты кто? Документы.

За волосы голову поднимают и, задрав до упора, так, что шейные позвонки хрустнули, держат. “Вот так просто это и происходит, – думаю совершенно спокойно, и даже успев удивиться собственному спокойствию –загремел.”

А вслух говорю:

- Какие документы? Вы что охуели? Я ж тут живу.

- Где тут?

- Первая комната, от лестницы налево.

- Чем докажешь?

- А чего тут доказывать? Я ж только что вышел. Там на столе даже водка нагреться не успела.

Тут напор на мою шею чуть-чуть ослабел.

- И чего же ты сюда суешься, мудозвон?

- Как чего? Выпить хотел Ньюшку позвать. Баба моя не пришла, а я один пить не воспитан.

Тут меня мусора отпустили совсем. Это у них рефлекторно произошло. Почуяли нюхом, что я свой, и опустили. В смысле не вообще из райка, а шею ослабили. И с штанов мусор отряхнули, что вообще то было хорошим знаком. И я как бы воспрял.

- А вы чего тут, мужики?

- Работаем. Не видишь, что ли?

- Ни хуя себе работка!

- Да уж какая есть.

- А чего ж это у вас вонища такая?

- Да заткнись ты, – сказал тот, у кого на плечах было на одну лычку меньше, чем у напарника, и который все время гарцевал, как жеребец. – Я уж забывать стал, вроде принохался, а ты, падла, опять напомнил.

А тот, кто постарше и на плечах на одну лычку больше носил, и движения которого были более расслаблены, что выдавало в нем старого профессионала, посмотрел на младшего своей удлиненной лошадиной мордой укоризненно и произнес очень печально, хотя и бодро: Мы места себе не выбираем. Куда партия пошлет, там и служим. Надо охранять – охраняем, надо в говне сидеть – сидим.

- Вот и я такой, – говорю. – Только наоборот. Куда ни пошлют, всех на хуй посылаю.
- Так ты ж гражданский. Я бы, если б погон не было, тоже бы размудохался.
- А вы ребята ничего, - говорю. – Правильные вы ребята. Только шею заламывать за волосы ни с того ни с сего – это перебор. Так и быть – прощаю.
- А мы вроде и не извинялись – сказал тот, у кого на одну лычку больше.
- А на что мне твое извинение? На хуй его не намотаешь.
- Это ты хорошо сказал что не намотаешь – сказал старшой задумчиво. Поглядел я ему в глаза пронизательным партийным взглядом, и сказал решительно.
- А ну пошли, треснем.
- Кого треснем? – не врубился старшой.
- Не кого, а чего.
- И чего треснем?
- Да есть кой чего.
- Где?
- Я же сказал – от лестницы налево.
- Нельзя, –сказал тот, у кого на одну лычку больше, сообразив. И одернул пытавшегося ему немедленно что то сказать на ухо младшего за кобуру. А потом произнес торжественно и громко, как с трибуны: На службе не пьем!
- Ну и балда, если не пьешь. Без ста грамм какая служба? Так, одно пиздобество.
- Это верно, что пиздобество, – согласился старшой уважительно, мысленно крутя новое слово и так и эдак. - А если пацаны, которых мы поджидаем, вернутся, а нас нету?
- Да какой на хуй вернутся? У меня комната прямо напротив двери. Муха не пролетит, не то что человек.
- А если они с черного хода?
- Черный ход у нас досками заколочен.
- Ни хера. Мы заднюю дверь нарочно полуоткрытой оставили. Для приманки.
- Ну, мудозвоны. Да кто же на такую дурацкую приманку клюнет? Это все равно что шуку ловить на голый крючок.

Я уж думал было, что дело провалено. Потому что логических доводов у меня в запасе больше не было. Но и история порой делает реверансы. А не только по башке прикладом с размаху. Помогла выдержка, которой меня обучали в секции карате. Смотрю и вижу, что тот, у кого на плечах на одну лычку меньше, отозвал старшего в сторону и принялся ему шептать что-то убедительное. Старший три раза повторил: “Нельзя. Нельзя, говорю. Говорю, нельзя.” А на четвертом круге вдруг поинтересовался: “А сколько у тебя там?”

- Всего ничего, а по стакану найдется.
- Ну если только по стакану, то давай. Только чтобы по-быстрому.

Тут я, видя что лед треснул, сменил я тему. Помотал головой и перешел с сфорцандо на аллегро:

- А вы здоровые, суки. Чуть башку не отвинтили. Кстати, будем знакомы. Федюха я.
- Шурик.
- Константин Степанович.
- А я Федюха.
- - Павлик.
- Константин Степанович.
- А я Федюха.
- Да ты ж вроде уже говорил, что ты Федюха.
- Не может быть.
- Точно тебе говорю.
- А ты кто?
- Да я ж тебе говорил. Я Павлик. А он Константин Степанович..
- А я Федя. Извините, мужики, - говорю – с бодуна у меня недержание памяти. Да если честно, и на свежую голову тоже. Есть у меня такая мужская слабость. Но как выпью – все помню. Дубиной не выколотить.

Тут старший вдруг поманил младшего, как в фильмах о пехоте, идущей из окопа в ночную атаку, осторожно высунул один глаз из райка в корридорчик, как будто кругом шрапнель летала, и приказал:

- А ну за мной! По стеночке! Только тихо. Стой, бя. Я первый, погляжу нет ли кого в том коридоре на хуй... А то всю нашу засаду ебаную завалим... Ну, вперед! Только по-тихому.

Ввалились мы в мою берлогу. Первым, конечно, жеребец присакал. У которого на одну лычку меньше. А старшой последним, как капитан с тонущего корабля. зачем-то заодно прикрывая и меня. Увидели стол с закусконом и ...полтора поллитра? Полторы поллитры? С Полторой поллитрой? С Полторами поллитрами? Одним словом, говоря строго по русски, с одной целой и пятью десятыми поллитры ¹⁸. переглянулись. Замерли, как перед святыней. Сели. Я как хозяин, родимую по булькам разлил. Помолчали парутройку секунд. Во время которых успел я мельком на часы глянуть и положение минутной стрелки запомнить. Чекнулись. Дернули. Закусили сырком. И расслабились. Я начиная с ремня, а мужики с портупьями – с кобур. После того, как засада и я по первому кругу приняли на грудь родимую, а на втором похлебали рассола из бидона, все прониклись друг к другу доверием и начали заливать. Причем я молчал в тряпочку, видя, что паровоз и без машиниста поехал. Мне чего? Я ничего. Солдат пьет, служба идет. В смысле время. Которое в данном случае было не на вес золота, а покруче - на вес срока.

¹⁸ В русском языке есть словосочетания, которые грамматически правильно вообще ни сказать, ни написать невозможно. То есть никоим образом и ни под каким видом. Не верите? Тогда вот вам следственный эксперимент. Может судья, оставаясь в рамках русского языка, приговорить человека на пятнадцать суток? Правильно, без проблем. А на двенадцать? Хоть на сто тысяч суток, хоть на миллион – никаких проблем. А если на 24? То это как? Двадцать четыре сутки? Двадцать четверо суток? Вот то-то и оно! Даже приговор вынести невозможно без внутреннего противоречия! Так о чем же говорит этот взятый из жизни пример? О том, что на 24 раза по двадцать четыре часа русского человека судья, которого в университете культуре учили, приговорить не может. На двадцать пять суток посадить можно, даже на двадцать двое суток если очень кирнуть, то можно, а на 24 – ни под каким видом. И ни в каком подпитии. Чего и не делают.

Между тем, рассказы пошли крутые. Из цикла без полбанки не придумаешь. Наверно, и впрямь в берлоге духи шалят. И аура здесь, о которой все время вспоминает Люда Захарова, специфическая. А может, все проще и научно объяснимо: просто амуры по углам потолка совместно с задницей Геракла на противоположной стене образуют бермудский треугольник, и на сознание действует так, что вдруг целые недели из памяти пропадают или наоборот. Что-то в Берлоге с людьми происходит. Он чего они становятся самими собой. В смысле ближе к детству человечества. Башка у меня, однако, поехала и запоминал я, что вокруг говорилось, плохо. Тем более что такого задания не было. Упел однако подумать, что было бы здорово, если бы четвертым к нам сейчас посадить Хемингуэя. Уж тот бы описал!

Все началось с объяснения в любви жеребца (у кого на одну лычку меньше) к киноискусству.

- Больше всего – говорит – я в кинотеатрах люблю дежурить.
- Сдурел что ли? – удивляюсь я. – Один и то же фильм смотреть по десять раз? Неужто не остоебеваает?
- При чем тут фильмы? Главное в кино не фильмы. Главно в кино люди.
- Не понял.
- А если я скажу зрители, будет понятнее?
- Намного понятнее. А чего понятнее то?
- Зрители в кино вещи оставляют. Как будто только за этим туда и ходят. Кажется, каждый по своему мудохается: одни обнимаются, вторые целуется, третьи ябутся, четвертые ананизмом занимаются – а результат один: рассеянности полные штаны. Пройдешь по рядам после сеанса – и уходишь с добычей в клюве. И так семь сеансов за дежурство.
- Да. Говорю, - повезло тебе в жизни, Павлик. Не на каждого такое счастье сваливается, как на тебя. На меня, например, никогда.
- Так иди к нам. Мы тебя порекомендуем к себе. Будешь, как сыр в масле, кататься за нашей каменной стеной.
- Поздно. – говорю, - Павлик. Годы у меня не те. Да и если б только в кинотеатрах порядок поддерживать приходилось, я бы может, и бросил все и пошел к вам к ебеней матери. Но вам ведь и жизнью рисковать приходится, и в говне залегать. Романтика, бля, а я уже не в том возрасте.
- Опять напомнил!- схватился за нос Павлик. – Ну и мудило же ты.

На том и закрыли тему.

- А все таки мудаки эти пацаны, которых мы ловим. – сказал вдруг старшой раздумчиво. – Это же надо быть такими ослами – снимать папаху с брата начальника районного УВД. Тут не то что засаду в квартире – Кировский завод раком поставят. Но только чур – я тебе ничего не говорю, Федя. Это я так, сам с собой.

И замолчал, а за ним и мы оба, как бы приобщенные к тайне. И молчали пятьдесят девять секунд ровно, по часам Победа. С которых я глаз не спускал. Ну вот, еще один милиционер – думаю – родился, если верить пословице. Восемь минут прошло с начала операции. Девять. Десять. Пиздец! Отработал! Можно брать полковую трубу и трубить отбой. Только расслабился и переменял внутреннюю музыку на третью часть лунной сонаты Бетховена, как вдруг тот, у кого на одну лычку больше, и который во время дискуссии о преимуществах кино перед другими менее главными искусствами молчал в тряпочку, вынул из кармана грязный носовой платок, поплевал на него и принялся

стирать им с моего лица кровь, приговаривая: “Жестковато я тебя...”. Да как заботливо! Слово мать ребеночка после ванночки. Тут я почувствовал себя тем самым младенцем, которого так доставало у бесхозной груди Ньюши, обнаженной почти что на том же месте, где сейчас стоял старшой мент, но только часом раньше. И чуть было не растрогался. Вернул меня к реальности взгляд старшого, который не мигая глядя мне между бровей. Изучал, изучал, просвечивал. Просвечивал - и вдруг предложил идти в свидетели. Да так резко, что я опешил.

- Свидетелем? С превеликим, – отвечаю с готовностью в голосе. – Ты только скажи, Константин Степанович, чего свидетелем? И я как только, так сразу.

- Да херня, говорит, только расписаться надо в двух местах, всего и делов.

- Где расписаться?

Константин Степанович на-одну-лычку-больше профессионально обыскал себя по карманам. И только после этого стукнул себя кулаком по лбу.

- Забыл, бя. При себе нет, но я тебе завтра с утречка бланк занесу.

У меня отлегло от сердца.

- А чего свидетельствовать надо?

- Говорю, херня.

- Понимаю что херня. У нас все херня. И все же? – спросил я, остановив исполнявшийся внутри меня турецкий марш на полуноте.

- Херня и никаких все же. Завтра на углу Кировского проспекта и Приморского шоссе *МАЗ* столкнется с *Жигулями*.

На секунду я обомлел. Что это мне напомнило? Где я это уже слышал? Ну да, конечно! Аннушка пролила подсолнечное масло. Луна в четвертой четверти. И Берлизу отрежет голову комсомолка. Классика!

- А *Жигули*-то чьи?

- Мои, чьи еще.

- А *МАЗ* чей?

- Чей надо. Зачем тебе много знать?

Я начинал что-то соображать.

- Страховку, что ли, лепишь?

- Что-то ты больно любопытный. А свидетель не должен быть любопытным.

Но все же кивает. Хотя и неопределенно. Мол, вроде бы да, но не будем уточнять в общих народных интересах, так что я ничего не говорил.

Ну думаю, влип. Не хватает только для полного счастья два срока в одно утро намотать.

Ничего себе, первый день коммунизма! Но про себя что-то соображать все-таки начал.

Как никак, тридцать лет в Советском Союзе барахтался. Не ребенок.

- А трупов в инциденте не будет? – спрашиваю. – А то потом затаскаете. Знаю я вашу систему.

- Никаких трупов, обещаю. Честное милицейское. Только легкие черепномозговые травмы – не более. Чтобы госстрах наябать.

- Так бы и говорил, – говорю. - Наябать госстрах, – это дело почти святое. Это все равно что жене, которая домой под утро пришла, как с орденом, с засосом под грудью, между глаз врезать. Только, говорю, зря ты меня обижаешь.

- Чем же, я тебя, на хуй, обижаю. Федя? – удивился Константин Степанович на одну лычку больше. - Я тебя уважаю, а не обижаю.

- Конечно обижаешь. Использовать хочешь на дармовщину, в свидетели ему иди, понимаешь ли.

- А ты кем хочешь? Жертвой, что ли?

- Ясно дело – пассажиром. А на меньшее я не согласный.

Жеребец, до того некоторое время молчавший, вдруг треснул кулаком по столу.

- Ну ты и гусь! А с виду скромный, приличный, даром что не в очках.

Константин Степанович с лычками на погонах махнул на младшего рукой, после чего рука, описав плавную кривую, приложилась к тому месту на форме, под которым у людей бьется сердце.

- Не могу. Честное слово, не могу. У меня весь салон уже расписан и забит по самые яйца. Даже на коленях друг у друга сидят. В следующий раз возьму в инцидент – клянусь. А в этот – не могу. Посадить некуда.

- А если в багажник его засунуть, как в тот раз? – залихватски спросил Павлик, как бы сдвинув отсутствующую фуражку на затылок.

- На это ГАИ не пойдет. – Очень серьезно ответил Константин Степанович. - У них ведь тоже проверки бывают. Зарываться, знаешь ли, тоже надо с умом. Чего это, спросят, пострадавшие у тебя в багажниках ездят? В тот раз от ревнивого мужа прятался, а в этот? В багажниках, - скажут, - только трупов возят, а у тебя ходячие. Которые после инцидента в живых остаются норвят. Ты ведь хочешь живым остаться?

- Хочу! – выразил я последнее желание, совершенно расслабленно поглядев на часы. Только в этот момент я почувствовал что пошла моя игра, и что эндшпиль уже выигран, хотя партия еще продолжается. И разом выпустил все своих слонов, коней и прочую живность в пампасы, на оперативный простор.

- А может такое случиться что дстраховки не дадут? - спрашиваю серьезно.

- Как не дадут? Ты бы еще спросил, останавливают ни милицейские машины гаишники. То что дадут, не вопрос. Вопрос, сколько это будет стоить. Делиться с ними, дармоедами придется, а это никому не надо. И потом: быть одновременно и свидетелем, и участником негоже. Так уж лучше начать со свидетеля. По крайней мере будет куда расти.

- Черт с тобой. Но хоть полбанки то поставишь?

- Какой ты практический, Федя! – сказал Павлик у кого на одну лычку меньше. И харкнул на пол, зараза.

Гляжу на часы – семнадцать минут прошло, как пить начали. Пиздец, думаю, пора выходить из штопора. И спать.

- Ни хуя я не практический. Просто не люблю когда меня за дурака держат.

И кааак стукну кулаком по столу – аж в ушах зазвенело.

- Ну, ты не кипятись, Федя, – вздрогнув от неожиданности, и, кажется, даже немного оторопев, сказал Павлик, у кого на одну лычку больше. - На нет и хуя нет. Это я так, для разговору.

- Тогда и я для разговору – говорю. И как бы пробую налить. И как бы обнаруживаю что бутылки пустые – причем обе!

- - Кстати, мужики – говорю тревожно - башлей нету до полочки ? У меня треха. Еще семь рваных надо – и в такси полбани возьмем. Я мигом!

- Нам на службу пора – быстро сказал Павлик у кого лычек меньше. - Попиздели – и будя.

Засим поправил он кобуру на своей сбруе и встал, гарцуя на месте, опять таки как жеребец. Который как известно из анекдота, ни минуты не стоит. И Константин Степаныч тоже встал. И я встал. То есть все встали.

- Так всего-то, говорю стоя –семи рваных не хватает.
- Ты что, не слышал? На службу пора. На боевой пост. У нас работа такая – не посачкуешь
- Ладно говорю. Чайком захотите побаловаться – милости прошу. А если семерик найдете, так я мигом слетаю. Одна голова здесь, другая там.
- Хорроший ты, Федюха, мужжик, - резюмировал Константин Степанович на-одну-лычку-больше. - И кирять с тобой одно удовольствие. Семерик мы сегодня навряд ли найдем. Но если тебе чтонибудь кроме денег надо – звони в управление без разговоров.

Написали корявыми цифрами номер, слюнявя химический карандаш. И пошли было широко и вразвалку, как хозяева мирового порядка, но вдруг Константин Степанович вспомнил, что он засада, и подался назад в Берлогу, увлекая за собой Павлика. Потом они вместе профессионально и одновременно высунули из берлоги по одному глазу и по половине лица в Корридор: Константин Степанович, пониже, а жеребец Павлик - повыше. Так что со стороны могло показаться, что не они засада, а на них - засада. И скрылись.

Когда я проснулся, на кровати опять сидела Нюша, как будто и не уходила, и все остальное мне в объятьях Морфея пригрезилось. Поцеловала меня в макушку, как это делают только матери, и прошептала своим поставленным от природы голосом:

- Какой ты все-таки молодец, Феденька.
- Пустяки, – ответил я, сам удивляюсь собственному спокойствию. Сердце билось абсолютно ровно, шестьдесят ударов в минуту. Наверное я мог бы быть неплохим паханом. А я все по науке, по науке...

Саня вернулся в Берлогу месяца через два. Тиихо вошел, как ласточка пролетела. Вдруг вижу – чья то рука на стол амулет кладет, что у меня на веревочке на счастье на шее болтался. Как тут его не узнать по почерку, Саню Великого? Я обрадовался дважды искренне: во вторых, потому что почти любил Саню, не смотря на его величие, а во первых, раз Я ему сделал доброе дело, то теперь ОН по гроб для меня хорошим человеком будет. Такова уж человеческая природа, никуда от нее не скроешься.

- Привет, говорю, буднично. - Какие новости?
- Ты хорошо отработал, Федя, - говорит лаконически.

Я ничего не ответил и возобновил писание формул.

- А я и не подозревал, что ты, Федя, такой бешеный, – услышал я из-за спины.
- Да какой там бешеный – говорю. – Тихий я. Можно даже сказать тишайший. К большому для меня огорению.
- Если Саня говорит, что ты Бешеный, значит ты Бешеный.- проговорил Алексаня Великий твердо. Положил мне на плечо руку, как будто в рыцарское достоинство посвящал. И повторил три раза подряд: “Бешеный. Бешеный. Бешеный.”
- - И еще вот что Саня хочет сказать тебе сказать, Бешеный, – произнес Саня, переходя в третье лицо. - Если у тебя когда-нибудь проблемы будут, в смысле

любые, убрать кого, вразумить или вообще по жизни, – ты только меня найди. И все будет путем.

Я сделал было жест, мол чего там, но Саня неожиданно крепко схватил меня за запястье.

- Знаю что ты хочешь сказать, но не скажешь. Что тебе ничего от Сашки- вора не надо. А я тебе, Бешеный, отвечу на это так: не зарекайся! Я твой должник, а жизнь длинная.

Положил на стол часы Победа, которые он каким то образом тоже успел у меня упереть (потому что ни минуты не сидел без дела, как член Союза Писателей ни дня без строчки). И беззвучно вышел куда-то.

Так я получил второе крещение. Став дваждырожденным, как брахман. Хотя, обряд, бесспорно, прошел не совсем по-индийски.

Таков был первый день нового тысяча девятьсот восьмидесятого года. Тот самый обещанный Партией, первый день Второй Стадии Коммунизма, эры вечного прогрессивного счастья. Когда от каждого своего члена общество грозилось взять по способностям а отдать - по потребностям.

КНИГА ОТРЫВКОВ ИЗ НЕНАПИСАННОГО

Следующий раздел летописи представляет собой отрывки из моих дневников. Я включил в него только те наблюдения, которые были сделаны во второй половине 1979 года, а из записей, относящихся к этому полугодию, оставил те и только те, которые прямо или косвенно относились к Берлоге. Я занялся самоограничением по очень простой причине: уж лучше сам себя, чем кто-то. А на вопрос:

Почему из тысяч страниц записей по свежим впечатлениям, которые я добросовестно вел двадцать лет, с самой студенческой юности, был выбран именно этот отрезок длиной в четыре месяца и двадцать шесть дней?

– я решительно отвечаю вопросом:

А почему бы и не этот, друзья мои?

Перечитывая написанное мной некогда, я осознаю, что дневники вел совершенно другой человек, в котором с расстояния в двадцать лет с трудом узнаю себя. Стиль лапидарен. Фразы и мысли обрублены, как мясные туши. На всем видны следы поспешности, нередко – умышленной недоговоренности. Значительная часть написанного, к сожалению, была зашифрована – да так основательно, что в ряде случаев я, не смотря на все усилия, не могу вспомнить, на что намекал. С тем большим энтузиазмом включаю я Отрывки из Ненаписанного в *Летопись одной Квартиры*. Ибо они с вероятностью единица подтверждают тот непреложный факт, что Берлога (кстати сказать, несколько лет назад окончательно вычеркнутая из сущего; в том месте, которое она некогда занимала в трехмерном пространстве, вездесущими Новыми Россиянами устроен Новый Мир с охраной, бронированными дверями, телекамерами и сторожами), какой я ее запомнил и знал, равно как и обитатели Берлоги – включая меня — действительно имели счастье существовать.

• • •

5 августа Сегодня мне приснились рыбы. Они плавают по воздуху и жрут друг друга. Большие меньших. Тех – еще большие. А тех – и вовсе гигантские, с плавниками до облаков. Повсюду одно и то же, сколько хватает глаз.

Все Жрут Друг Друга. И больше ничего не делают.

Только жрут. **ЖРУТ. ЖРУТ.**

Этим воздухом дышать нельзя. В нем летать нельзя. В нем можно только плавать и жрать. Почему я не рыба? Почему не жру других рыб? Почему под ногами не земля, а дно?

Проснулся в холодном поту.

6 августа В глазах девушки Насти все еще отражается кишиневское солнце. Глядя в окно на сад и лужи в саду, юница меланхолично произнесла: “У вас некрасивые дожди. На юге дожди теплые, приятно промокнуть. А после все такое чистое-чистое, даже грязь. А у вас в Ленинграде попасть под дождь ну никакого удовольствия.”

8 августа В Эллада жрицы набирались из рослых белокурых красавиц. Таковыми греки представляли себе и богинь. А вот хариты воплощались в миниатюрных телах. Нынче не особенно модных. Все то у них соразмерность с человеком, у этих эллинов. Даже население города – и то соразмерность с человеческим восприятием имело, дабы граждане друг друга в лицо узнавать могли, хотя бы теоретически. Если размер полиса превышал некий предел, то он, как живая клетка, делился на два. И Эллада в целом была не там, где хотя бы раз ступил греческий сапог – простите, сандалий. Эллада была там, где Эллада была издревле.

11 августа Выпил по стакану с Саней. После принятия на грудь великий человек начал говорить откровениями:

“Раньше бритвы между пальцев носили. Если кто видит, что крадут и завопит, раз между глаз! - и деру. И правильно: не суйся. Я же не суюсь где ты и чего воруюшь! Но сейчас перестали это. Найдут бритву – срок накинута.”

“В нашей стране хищник всегда живет лучше чем жертва. Возмездие не наступает никогда. Жертв репрессий миллионы – а палачей можно пересчитать по пальцам. Ежов – раз, Берия – два, Сталин... – уже спорят: может не палач, может гений? А где же остальные, которые миллионы человеческих тел мучали и убивали? Если бы только в бронзе и в мраморе стояли! А в лимузинах и на трибуне Мавзолея живьем не хочешь? А знаешь почему? Потому что у нас власть всегда принадлежит волкам, сколько бы ни переходила из рук в руки. У нас кто слабый тот и виноват. Так было, Есть. И будет.”

“Кировский проспект беднее Большого. А та сторона где янтарь, богаче, чем другая. А на Невском та, где дом Книги богаче Гостинного двора. Не спрашивай почему – это от бога. Но на Невском мои ребята не работают. Только гастролеры. Там городской штаб дружины. Их люди через одного – не разгуляешься.”

12 августа На Кировском мосту повстречал Олега Леонидовича Соколовского, доцента, разгоряченного принятыми и непринятыми экзаменами. Глаза бегают. Взгляд ни на чем не задерживается и места себе не находит. Иосиф Виссарионович Сталин точно расстрелял бы такого, даже не посмотрев контрольным взглядом в спину.

- Представляешь, - говорит доцент, словно мы старые кореша, - кладу, как обычно во время экзамена, руку на колено симпатичной абитуриентке, и вдруг ее накрывает тяжелая лапа. Да какая здоровенная! Меня как током передернуло- по закону

Кулона, который ей как раз, кстати, надо было отвечать. Дергаю руку – не вырвать. Дергаю сильнее – НЕ ВЫРВАТЬ! Кто-то держит мою в общем то не слабую рученку железной хваткой. Что за напасть? Чья это лапа? Абитуриенточки? Но уж больно шершавая для девушки нежного возраста. Парткома? Не верю. Парткомы мелкими шашнями преподавателей с абитуриентками и студентками пока не занимаются, слава те господи. Вот если б я ее изнасиловал или она бы у меня забеременела не отходя от экзаменационного листа – тогда еще может быть кто-то что-то укоризненное бы и произнес; а из за положения руки на колено – даже подумать смешно. И в конце концов я тоже партком! Что еще остается? Ты предполагай, предполагай... Нет, не собачья. У собачьей лапы ладони нет. Что? Рука правосудия? Ты бы еще сказал рука Москвы! Сдаешься? Вот и я сдался. Наклонился и под стол заглянул. И что бы ты думал? Оказывается, на колено абитуриентки положил руку другой абитуриент. Бугай, которого я посадил сдавать экзамен за тот же стол. Сволочь такая! Представляешь, до чего молодежь обнаглела!?!

- И что же дальше было? – как бы нехотя поинтересовался я.
- Что было, что было... Пришлось им по пятерке поставить, сучатам.
- Это еще почему?
- А если пожалуются?
- Да ты же сам говорил, что партком шашнями не занимается.
- Ни с того ни с сего партком троганием коленок заниматься не будет. А если эти детки в Президиум Верховного Совета телегу накатают? Еще как будет! И что самое обидное: вместе ушли. Рука об руку, сукины дети.

Ля-мур де-трау по-советски. Страсти – по-социалистически.

17 августа Был в бане на Фонарном. Встретил самого красивого пианиста города Ленинграда. За пивком замечательный (несмотря на свою красоту) музыкант рассказал среди прочего, что победил на конкурсе Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже без отрыва от службы в армии. Якобы, когда он вышел на сцену в солдатской форме и строевым шагом, комиссия уже ошалела, то есть еще до того, как он взял первый аккорд. И премию ему просто были не в силах не дать.

- Я считаю, что жизнь удалась, - произнес разморенный красавец, задумчиво закутавшись в простыню.

Парил нас Иван Абрамович, большой мастер этого дела. Именно он научил меня мягкому пару, который исходит от веников, как радиация от реактора.

- Как парить будем? Для удовольствия али для здоровья? – обыкновенно спрашивал он неофита.

И если новичек говорил ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ Иван Абрамович хмурился и отвечал сурово:

Для удовольствия не парю. Для удовольствия парить грех. А для здоровья – самое богоугодное дело.

Чем отличается первое от второго, Иван Абрамович не уточнял.

И еще было мне в бане видение. Маленький мужичек с громандым фаллосом, делавшим его похожим на изображения Приапа, которые женщины в древности носили на груди в качестве талисмана, стоит в облаке на самом верху парилки. Божок держал конец конца

десницей и остервенело хлестал свое необыкновенное божественное начало веником со всех сторон: справа- слева, сверху-снизу, приговаривая не без загадочности: Туды его, туды его...

После бани зашел к Салику в ателье перекроить брюки, ставшие сшитыми как бы не на меня после летних восхождений на вершины и сплавов по рекам. Салик – бог-закройщик, неизменно является мне с одним из своих атрибутов: либо с утюгом в руке, либо с сантиметром через шею. Отмечу также, что он обладает редким даром – умением говорить не вынимая изо рта иголки.

Начал Салик, однако, не с примерки, а с рассказа. Сияя, поведал он мне о завершении комсомольского собрания на котором разбирали портного Фиму, подавшем заявление в Израиль.

- С утгечка Фима подошел ко мне – говорил Салик с улыбкой а-ля новолуние во все лицо, - и пошептал: Ты меня, Салик, чехвость в хвост и в гхиву, я на тебя не буду в обиде. Давай штаны. (Последнее было сказано мне. Я дал.)

- Как я могу тебя чехвостить, Фима – говорю ему (говорит Салик)– когда ты мой лучший друг.

- А ты меня все гавно чехвость, И в хвост меня, и в гхиву меня, – говорит Фима. – И хагактеристику дай ну очень плохую, такую поганую, что хуже некуда, если тебя, конечно, не затгуднит. Потому что чем хуже хагактегистика, тем лучше шансы что меня не задегжат и что я им тут и на фиг не буду нужен. А у тебя, кстати, тоже алиби будет как у комсомольского вожака. В смысле не заподозрят в симпатиях ко мне.

Ну, собрались мы на собгание. Да что я говою – собгались, мы ведь и не гасходились. Фима сидел там где стою я, а я сидел там где стоишь ты. Потом, пгавда, пришлось мне и Фиме таки встать для погядка. И я сказал стоя, – сияя как луна в полнолуние, продолжал Салик: *Фима! Одумайся! Ты же изменник Годины!* Сегъезно так говорю. С металлом в голосе. Но все все гавно засмеялись. Гезолюцию все таки пришлось наложить... Не на штаны, и не в штаны, а на Фиму. Штаны будут готовы завтга. – неожиданно закончил свою речь Салик не меня интонации и радостного выражения физии.

24 августа Пили с Саней. Он говорил, я молчал. Запомнил, к сожалению мало. Но все таки больше, чем ничего.

“Воровство – это вечный двигатель прогресса. По крайней мере у нас. А ты не знал? В СССР построен особый строй, не капитализм и не социализм, а такой, где воровство творит и созидает. Из-за того, что у нас воруют все, а не некоторые, количество перешло в качество и возникла новая сущность. У нас от залезания в карман друг друга все в прибыли. ВСЕ!! Хотя конечно и в разной мере. А ты не знал? ”

27 августа Сегодня я был русским соломоном мудрым. Бердяева почитать так и не удалось, не смотря на неоднократную попытку. Сначала заскочил Валера Агафонов с двумя барышнями и чего-то попел. Потом вдруг ввалились близнецы с бутылкой и потребовали, чтобы я разрешил спор. Коля утверждал, что русский народ особенный из за своего простодушия, и что для того, чтобы он воспрял, ему надо раскрыть глаза. Васютка же считал Николку недиалектическим оптимистом, что дело намного глубже, и что если сделать страшное предположение, что радио стало говорить *правду, всю правду*

и только правду, население такого кошмара не выдержит и не успокоится, пока ему не вернут его идеалы.

Кто истинный патриот: дисидент или политинформатор? Что было раньше: медведь или его спячка? Эсotericический вариант проблемы курицы и яйца не мог не запасть в душу.

Воздух наполнился чем-то бердяевским. Книги, которые стоит читать, по настоящему раскрываются только тогда, когда их закрываешь.

Выслушав тяждущихся, я вынес соломоново решение, предложив выпить по стакану. После чего диспут разрешился сам собой не смотря на то, что стороны не переставали спорить ни на минуту. Различие между точками зрения, как и между самими близнецами, расплылось и они мало помалу стали неотличимо похожи, как если бы в киноаппарате сбилась резкость или близорукий уронил бы очки.

1 сентября Девочки в белых передниках пошли в школу. Из окна видны букеты и бантики. Символы непорочности и чистоты мелькают там и сям. Вперемешку с алкашами и стукачами.

- У вас что, одна красавица на всех? – удивленно спросил я, увидя как Заинька целовала воров и бандитов по кругу, не отдавая предпочтения никому и ним.
- - Нас сколько? Один, два, три, четыре. Но Заинька справляется, обслуживает всех, – ответил Саня.
- Я справляюсь, – подтвердила Заинька, легко улыбаясь. И повторила, игриво загибая пальчики и пересчитывая присутствующих мужиков: один, два, три, четыре, пять.
- Не надо заиньку обижать,- сказал я назидательно.
- Мальчики меня не обижают, - сказала Заинька, и села на колени троим стразу. Глядя четвертого – Саню – по чему-то интимному. –С чего ты взял, что меня можно обидеть, доставляя мне удовольствие? Иди к нам. Пятым будешь.

6 сентября На Адмиралтейской набережной сидит мужчина с Грундигом и слушает голос Америки, еле слышный сквозь голос России. Рядом на той же скамейке влюбленная пара целуется, затыкая уши. В конце концов ухажор, ошалев от глушилки, возмутился: “А может теперь музыку послушаем, дядя?”

8.9 Заскочила вроде бы все еще влюбленная в меня Маня с подругой, маленькой Светочкой. Последняя была совсем не в себе. Предположил, что из-за того, что завтра улетает на тот свет. В Израиль то бишь. И не угадал. Ее довел до потустороннего состояния контакт с таможенной.

-
- Поехали мы с мамой утром багаж сдавать. А грузчик позвал меня в какое-то помещение. Закрыв дверь и спрашивает: *Чем расплачиваться будешь?* Представляешь, Федя, он ждал меня в одной рубашке!
 - - То есть как?
 - А вот так. Сверху рубашка и все.
 - А снизу?
 - А снизу ничего. Кроме того, чем этого подонка Бог наградил.
 - Надо пойти в милицию, - возмутился я, наивный.

- Зачем? – не поняла маленькая Светочка.
- Как это зачем? Заявить и вообще...
- Ты с ума сошел. Какая милиция и на чьей стороне милиция? Ты забыл куда я лечу? Дай бог, чтобы этот грузчик свое обещание не выполнил.
- Какое еще обещание?
- Он сказал, что если я с ним не лягу, мой багаж у него улетит в Токио.
- Прости не понял. Где не ляжешь?
- Да прямо не выходя из таможни.
- Так конкретно и сказал?
- Так конкретно и сказал: “Если сейчас на этот прилавок не ляжешь и ноги не раздвинешь, твой багаж у меня улетит в Токио!”

Мда. Куда уж конкретней...

Чем завершилось дело и куда улетел багаж маленькой Светочки, как впрочем и сама Светочка, не знаю.

(без даты) Говорил с Великим Вором Нашего Времени. Учился практическим основам ремесла. Потом начались теоретические занятия.

“Зону вору держат. Но много зависит от счастья. Магазины тоже уважают. А кто по изнасилованию – последние люди. Что ты за мужик, если с бабой добром не совладал? Но теперь и вору стали попадать по изнасилованию. Отношения меняется. Двое ребят – классные карманники, между прочим – собрались поработать вечерком. Идут мимо парикмахерской и видят в окне: уборщица пол моет. Молодая. Крепкая. И в розовых между прочим трусах. Они, конечно не прошли мимо. Конечно, зашли. Сначала один пристроился, потом, конечно, другой. А она все моет и моет пол. Не останавливаясь. Как бы в упоении работой. Только попой качает. И тут, конечно, черный воронок едет. Видят в ветровом стекле, весь этот хипеш – как в кино. Ментам конечно, интересно, какие никакие, а мужики. Как не поучаствовать? Заходят и, натурально, застают парня на бабе. Той неудобно – мол в рабочее время отдалась нерабочему делу – и в крик:

Насишишиляют!

Тому, кого на ней застали восемь лет дали, а кто слез – трояк. А если б пораньше приехали – тот бы восемь имел, а этот три. Кому какой фарт выпадет – тот то и хавает!” – философски закончил Саня.

22.9 Среди ночи Верочке померещилось, что сквозь стенку с замурованным в нее Гераклом гуляют духи. Один из них, во фраке, якобы прогуливается, заложив руки за спину, материализуясь и дематериализуясь из обоев, другой, в латах, смотрит на нас сквозь перегородку, по наполеоновски скрестив на груди руки, третья духиня в бальном платье, скачет в каком-то неведомом танце, возможно мазурке. Верочка описывала шлявшихся окрест призраков так зримо, что чуть не напугала меня. Включил свет и раскрыл Гамлета, как Библию – наобум. Взору явилась строка из четвертого акта:

High and mightly, you shall know I am set naked at your kingdom.

Пока Верочка готовила чай, чтобы разогнать наваждение, стал размышлять с сюжете Гамлета с точки зрения латинского принципа *qui bono*? И очень быстро пришел

к очевидному выводу, что убийство всех, кто мог претендовать на датский престол, выгодно было Фортинбрасу, а также Горацио, слишком много знавшему и, не смотря на это, оставшемуся в живых. А что если Горацио – датский двойник Яго, только неразоблаченный? Засланный в Эльсинор компетентными органами Норвегии?! Мысль совершенно в духе социалистического реалиста. Пока чайник кипит, в голове пронеслась фабула, в которой злодей Горацио, играя на суеверности наследного принца, нанимает бродячего актера исполнить роль призрака, для которой коварный негодяй сам же и пишет провокационные слова. После чего, ловко манипулируя потрясенным наследником престола, враг уничтожает руками находок для шпиона Лаэрта, Полония, Офелии, Королевы и Короля правящую династию до последнего человека – к вящей славе злейшего врага Родины – Норвегии.

Как ни странно, такая детективная фабула (не более, впрочем, детективная, чем трагедии *Отелло*) вроде бы не противоречит ни одной строчке Шекспира. Кроме разве что молитва монарха, произнесенная им после досрочного окончания просмотра трагедии Убийство Гонзаго с добавленными Гамлетом провокационными монологами. Однако это обращение к Богу можно трактовать и в обобщенном смысле: как покаяние царствующего философа, этакого датского Марка Аврелия, считающего себя виновным за все на свете. А что? Запросто! Если бы Смоктуновский играл не Гамлета, а короля, не исключено, что он получил бы Оскара. Пылкая королева, бдительный Полоний, Лаэрт с горячим сердцем и чистыми руками и девственная Офелия, готовая выполнить любое задание отца и правительства, делают во имя матери-Дании все. Трагедия истинных патриотов... Почему трагедия? Не потому, что все положительные герои падают смертью храбрых. А потому, что в то отсталое время в Дании не было компетентных органов, способных разоблачить врагов страны.

Не накropать ли пьеску на досуге? Которого у нас, как парковок: пруд пруди, хоть экспортируй. А может, замахнуться на постановку? Это же так просто: менять смысл, не меняя текста! Если убрать прямые ассоциации и зашифровать намеки, Запад примет *на ура*. Дело за малым: чтобы Товстоногов или на худой конец Лоуренс Оливье пригласил меня осуществить мой эпохальный замысел.

Борясь со сном, задумался, как построена фабула Гамлета, если анализировать ее *от сохи*. Чем больше думал, тем меньше понимал. Засим нарисовал на подвернувшемся листке из тетради в косую линейку граф намерений героев синим карандашом, а граф результатов их действий - желтым. Получились два цветка, в которых цель не соответствует результату. Гамлет целится в короля – попадает в Полония, опять целится в Короля – попадает в Офелию, король подсыпает в кубок яд предназначенный Гамлету – убивает королеву, Лаэрт мажет острие ядом, целясь в Гамлета – а попадает в себя, и так далее до самого конца, пока отравленная сталь не поступает по назначенью. Написать научную статью, что ли? А куда послать? В Доклады Академии? Или в Советский Экран? Дилемму *de facto* разрешила Верочка, поставив на листок, знаменовавший собой начало новой науки: математической драматургии - мокрую чашку.

Заснули под утро. Верочка доверчиво прижалась ко мне, как Офелия прижалась бы к Гамлету, если бы вражий призрак не явился принцу в ночи. Я закрыл глаза – и приснилось мне, что они открыты. И пригрезился мне мрачный замок на скале, о которую, как волны прибоя, бьются тучи, и мост, поднятый надо рвом, на дне которого кипят небеса, и я, кричащий королю, стоящему в латах на крепостной стене, аки дух (и потому обезличенному, как если бы на лицо натянули чулок):

High and mightly, you shall know I dream to be set naked at your kingdom.

30.9 Одноглазый дядя Витя, сторож гаражного кооператива, расхваливал своего Султана:

- Он пятнадцать человек покусал! Нервничает. Но работает отлично – кость ломает. Тут подходит один из членов правления сильно в расстроенных чувствах:

- Кто у вас в прошлую ночь дежурил? – спрашивает.

- Я – говорит дядя Витя. – А чего?

- Султан человека покусал. Это же подсудное дело.

И ушел гневный в контору, сам с собой руками размахивая. А дядя Витя подмигивает:

- Слушай его больше. Подсудное! Вот насмешил. Я человек простой, страну охраняю. За усердие у нас еще никто никого не сажал. Лучше перебдить чем недобдеть. Нас этому учили когда он еще даже под стол пешком не ходил. А он: подсудное! Пиздюк. Кто меня засудит в моей стране? Покажи мне такого?

И с видимым удовольствием сделал отметку на косяке ножиком.

- Чего это ты там ковыряешь? – спросил я.

Шестнадцатую зарубку ставлю, – сказал дядя Вася и с гордостью потрепал Султана по шее. Тот счастливо зарычал.

- Мы воры всегда будем выше бандитов – сказал Саня, почесывая грудь - не только потому, что умнее и ловчее (а в конечном итоге побеждает не сила а ловкость и ум). Мы воры всегда будем над бандитами, потому что являемся частью цивилизации. Мы не экспроприуем, как коммунисты, не берем силой, как варвары, а признаем частную собственность. Доказательством чего является то, что берем скрытно. Вор – человек цивилизации, а бандит – доисторический, и даже хуже того – внеисторический человек.

1 октября Маня по-секрету поведала, что одна из ее лучших подруг (из порядочности не уточняя какая) вернулась из Гагр изнасилованная. И не кем-то посторонним, а сыном хозяина дома, где та жила. Грузинским мальчиком с длинными ресницами. Который повел девочку показывать горы. Подвел к краю пропасти, с которой самый красивый вид. Камушки ногой скидывал, и они долго летели вниз, а молодые люди смотрели. И на закат смотрели. И на море. А потом грузинский мальчик с длинными ресницами вдруг сильно взял за плечи Манину подругу, наклонил над пропастью и сказал: *Нэ сньмешь трусы – столкну. И будешь у мэня лэтэть, как этот камэнь.* И столкнул в пропасть еще один камушек – для убедительности. И он – камушек - долго и красиво летел. А когда долетел до земли, сын хозяина дома наклонил Манину подругу над пропастью еще сильнее. И сказал: НУ! СНЫМАЙ ТРУСЫ, БЛЯДЬ. И Манина подруга сняла трусы, будучи наклоненной над пропастью. То есть с двойным риском для жизни. И теперь мало того что лишилась девственности и была изнасилована, так еще забеременела и заболела.

А когда спускались с горы, сын хозяина взял в руки камень и сказал, поигрывая оружием пролетариата: *Скажешь кому нубудь – найду и убью. Смоты у мэня, падла.*

Мда. Если искать утешение бедной девочке, так разве в том, что место было необыкновенно красивое. Да и позиция уникальная - возможно даже не включенная в Кама Сутру.

Впрочем, моя улыбка, конечно же, неуместна. Эта юная падла с длинными ресницами – уверен - не в первый и не в десятый раз девочек смотреть на закат с этого красивого места водит.

И еще: меня просто поражает, как много моих знакомых девушек было в первый раз изнасиловано. Даже, пожалуй, не меньше, чем добровольно отдавших девственность черт те знает кому, кого ни до, ни после никогда больше не встречали.

3 октября. Случайно обнаружил, что Ньюша на ночь прячет хлеб под матрац, а под кроватью сушит сухари. Мудрому достаточно...

4 октября Вспомнил университетскую молодость, когда взял за правило мимо Эрмитажа не проходить – и неуклонно соблюдаю оное (что стало намного легче, потому что по Дворцовой Набережной хожу реже – столбовой маршрут боле не пролегает, к сожалению). Это у меня называлось *побродить и поразмыслить*. Перемещение по Эрмитажу должно происходить по наитию – куда душа и ноги несут, таково мое глубокое убеждение. Потому что Эрмитаж не музей. Эрмитаж это галактика.

В зале импрессионизма (направления в искусстве, название которого ничего не имеет общего с сионизмом, как заподозрил было один из экскурсантов, шепотом спросивший меня об этом, ошибочно приняв за работника органов, скорее всего потому, что я смотрел на обнаженную Таитянку Гогена долго и неотрывно) внезапно был окружен экскурсией, как курортник цыганами. Узнал на дармовщину, что Ван Гог, суммарная стоимость работ которого перевалила за миллиард не только долларов, но и рублей (ибо еще товарищем Сталиным было решено, что доллар будет смотреть на рубль снизу вверх, и с тех пор курс так, гордый, и стоит: назначенный, как секретарь райкома, и незыблемый, как Братская ГЭС) при жизни продал всего одну работу. Уверен, что первым делом потенциальные покупатели смотрели на художника – а он, разумеется, не смотрелся – и только потом (к тому же не более чем в одном случае из десяти) на полотно. Подумал, что искусствоведы (даже самые безобидные) подобны грифам, питающимся падалью. Профессия у них такая. То, что смерть творца

развязывает руки **И**нтерпретаторам его творчества, так же естественно, как то, что бабочки летают, потому что у них есть крылья. Только став *наследием*, картины приобретают устойчивую тенденцию расти в цене. Хозяин галереи, распорядитель аукциона и коллекционер смотрятся, а художник не смотрится – все правильно, так и должно быть. Пусть живые Рембранты и Бахи не путаются под ногами и не вмешиваются в дебаты при решении главного вопроса: наследил ты в искусстве или не наследил, стал вечно живым или не стал вечно живым? Не вашего это ума дело, товарищ Вивальди и товарищ Ван Гог! История Модильяни, картины которого были скуплены сразу после того, как их создатель перестал дышать, и тот факт, что пушкиноведы между собой называют поэта “*Наш Кормилец*” (он чего меня, непрофессионального, всякий раз коробит) – подтверждает эту крамольную мысль, превращая ее из гипотезы в теорию. Которую, впрочем, вслух не высказываю, а доверяю дневнику и только ему, дабы не оказаться заклеванным преждевременно.

5 октября. Вечно веселая Тонечка со вздохом поведала, что первое, что ее потрясло в Ленинграде был... асфальт! До того она асфальт только по телевизору видела. И мечтала об асфальте, как иные о принце. Заметив мое удивление, пояснила, что сколько себя помнит – и девочкой лет пяти, и девушкой лет пятнадцати – мечтала пройти по улице на высоких каблуках. А у них в деревне туфли с каблуками девчонки только в помещении надевали. Потому что ходить на каблуках можно было только по полу. На улице все только тропинки, проселки да колеи на дорогах – на шпильках не разгуляешься. А в Ленинграде Тоня с замиранием сердца прошла по настоящему асфальту сразу, как только на вокзал приехала. Шла по асфальту такая счастливая-счастливая – и сердце замирало оттого, что мечта сбылась. Дворцы заметила позже. А туфли на высоких каблуках появились у Тонечки только месяца через два – с первой полочки.

6 октября Несколько раз пил с Витькой, Саней и примкнувшим к ним Шкафом Жорой. Воняет в Райке, как в нужнике, зато атмосфера наэлектризована, как на Олимпе. Так и кажется, что взмахни Саня скипетром – и над градом Петровым раздастся гром. Нахмурь он бровь – и молния небо прорежет.

Вот что запомнил из Саниных изречений (в переводе на русский).

“Раньше мафия была. Кради в своем районе! А теперь свобода. Никаких зон. Работай, где хочешь. Это уже не Совок, это прообраз будущей России.”

“Наше профессия - зарррразная штука. На первое дело идешь – трясешься. А выйдет – азарт появляется. Скоро без учителя работать начинаешь, потому ученики появляются. Молодежь к мастерам тянется. Особенно в зоне. Выходят зрелыми специалистами.”

“ГосБезопасность и воры одной породы - волчьей. Ты поставь рядом меня и Васю: разве мы не похожи? Настоящие близнецы не Васька и Николка Онегины, а Васька Онегин и я. Мы одной крови, хотя и от разных матерей и отцов. Как только рухнет стена между мелухой и ворами, мы станем одним правящим классом. Падлой буду, если ошибусь.”

“Я шесть лет сидел. Пропавшие годы. Там я, конечно, король. Но тебе один на один признаюсь: на воле лучше.”

7 Октября. Разгар золотой осени. Деревья каждый день меняют цвет и обличье, обнажаясь с каждым днем все больше и больше. Но, в отличие от людей, их осень не необратима. Она всего лишь приготовление к очередной зиме. За которой последует новая весна.

Поехал в Комарово с биноклем. Сквозь окуляры люди, до которых, кажется, рукой подать, прогуливаются вдоль берега как бы на месте в мире безмолвия, а далекие волны застыли, как замороженные. Прошел сквозь скопище чаек, разевавших хищные клювы и угрожающе махавших крыльями. Представил себе, что эти агрессивные мощные птицы атакуют меня, и я буду беспомощен – как в фильме Хичкока. Но они расступались при моем приближении – и вернулись на то же место. Это меня заинтересовало. Я повернул назад, стараясь понять причину привязанности пернатых к месту на песке. Оказалось, двое старичков со скамейки бросали птицам хлеб. Но хватали хлеб не только чайки, но и голуби, которые были раз в десять миниатюрнее, слабее и не столь проворны. Обычно голуби боятся чаек. И правильно делают. Смешно предположить, что пигмеи могут вступить в борьбу с гигантами. Но борьбы не было.

Что за чудо? Я пригляделся и понял причину феномена. Маленькие слабые голуби не боятся людей, а хищные мощные чайки боятся! Поэтому куски хлеба, брошенные недостаточно далеко, доставались голубям. Дальше безраздельно хозяйничали чайки. А детеныши чаек, у которых рефлекс самосохранения был слабее, чем у родителей – но которые все равно были намного осторожнее самого робкого голубя, составляли передовой отряд. Они образовывали границей двух царств. Наименее осторожные из сильных – самые слабые и несмышленные из них.

Созерцая локальную экологию кормления, я мало помалу уразумел, что она регулируется иерархией страхов. Которые правят живым миром. Тот кто не знает страха, может получить больше, чем тот, кто намного сильнее. Где? Вблизи того, кого боятся сильные.

Северная Саванна...

8 октября *Средь бела дня* приснился сон. Я в саду Верочек. Пышном, как заросли на картинах Анри Руссо (альбом которого Верочка обажает листать). Куда ни глянь – верочки. Цветы – верочки. Кусты – верочки. Деревья – верочки. Травинки – верочки. У верочек нет тела – только листья и головы на длинных шейках. У Верочек нет возможности сопротивляться насилию. Они устроены так, что могут быть только безобидны. Даже вскрикнуть не могут – только плакать и улыбаться. Что кто хочет, тот то с ними и делает. Жук приземлился на голову Верочки, как вертолет, и неспешно (как гурман за соседним столом ципленку табака в ресторане ВТО, где я вчера сидел допоздна) откусывает ей половину лица. Бабочка (с крыльями, похожими почему-то на занавес в Кировском Театре) села на другую верочку и языком слизывает с нее пыльцу, сдирая с него, нежного, кожу. Ворона (которая последнее время прилетает и смотрит в окно моей Берлоги так долго и пристально, что вчера Верочке сделалось страшно), схватила в клюв третью и унесла. Громадный комар жужжа, как глушилка, запустил жало в глаз четвертой верочке и, счастливый, сосет из него кровь. А паук с человеческим лицом, почему-то похожим на портрет Сулова, сплел паутину между ветками-верочками и поймал в нее меня. Я запеленут по рукам и ногам, как в детстве. Кругом паутина и верочки. Но я уже взрослый, и у меня есть нож. Я вырываюсь. Мне членистоногий не страшен, я не Верочка. Я продираюсь сквозь заросли верочек, опутывающих меня, как лианы. Я обрубаю стебли верочек ножом, чтобы уйти от преследующего меня паука, который гонится за мной, ступая лапами по верочкиным головам, как в эквилибрист цирке. Как хорошо что у него слишком много лап и он не может ни лететь ни бегать. Я жестокий. Я такой же, как все живое. Я могу причинять только боль. Зачем я спасаю себя? Среди тысяч и миллионов одинаковых верочек я ищу мою, одну единственную, продираясь сквозь остальных, точно таких же. И найти не могу, потому что выродок. Потому что любая из верочек могла бы быть моей. Куда я рвусь? Оборачиваюсь – за мной никто не гонится. Никто! Я свободен. И это самое страшное. Проснулся в холодном поту. Верочка лежала рядом и улыбалась во сне.

9.9 Золотая осень, короткая, как выдох, на этот раз в Павловске. В тысячный раз петлял по двенадцати дорожкам. Бронзовый Фаллос Апполона в центре ансамбля так же вечно сияет, как когда я мальчиком глядел на него с завистью. Не ленится народ в парк по статуи ходить с напильником наперевес! Или, быть может, Бог-покровитель искусств совершает это чудо собственноручно? Не верю.

Некоторые белки едят с рук. Однако, как я заметил, не все. У доверчивых судьба незавидная. Недоверчивые живут дольше.

11 октября Зашел Мамрин. Не решил еще, ехать ли ему на Запад через женитьбу (вспомнив, что он красавец-мужчина) или через родственников (вспомнив, что он наполовину еврей). О своем приятеле (персонаже зримой песни: *Дан отказ ему на запад*) сказал с завистью: “Ему хорошо, у него родителей нет...”

Мне хорошо, я сирота Шолом Алейхема только при Николае Втором казалось неслыханным остроумием. Но не нам. Мы с Мамриным даже не улыбнулись. Даже в голову не пришло, что кому то эта фраза может показаться забавной. Громадный общественный прогресс!

12.10 Приковыляла Катя из Пушкинского дома, ведя за собой каких-то московских искусствоведов, как утка утят.

Столичные гости осмотрели затылок, зад и пяту Геркулеса, а также амуров на потолке с видимым удовлетворением. Судя по лицам, их представление об абсурдности гармонии мира получило еще одно зримое доказательство.

Это был первый визит в мою Берлогу как в музей-квартиру. Уверен, что не последний.

Что то везет мне с музей-квартирами при жизни. Это уже вторая.

13 октября Только что разведшаяся, очаровательная Прасковья впервые за годы, которые я знал ее исключительно как невзрачную подругу Верочки, пришла с глазами, горящими как угли в печке. До чего же штамп в паспорте – о том, что предыдущий штамп является недействительным – может распалить женщину! За Прасковьей наперебой тотчас стали ухаживать Петя Обычин и Даня – а ведь раньше никакого интереса к ней не замечалось – ну ни малейшего!

- Так дело не пойдет – сказала Прасковья, до того оборачивавшаяся лицом и торсом (оставляя ноги неподвижными, как на утренней зарядке) то к одному ухажеру, то к другому. – Давайте, джентельмены, организуем ухаживание и проведем черту.
- Какую еще черту? – не понял Даня.
- Вертикальную, делящую меня по честному: пополам, – и Прасковья провела рукой сверху вниз точно по середине себя, от макушки к центру тяжести, словно рассекая себя мечем. – Ты, Даня, будешь ухаживать за мной справа, а ты, Петя, слева.

Засим прелестница села на стул и приготовилась принимать ухаживания, сделав руками цирковое движение, как если бы она произнесла *вуаля!* И о чудо: ручки ее немедленно и симметрично стали обцеловываться: от пальчиков к плечикам и обратно.

Тут я выпил по третьему, если не ошибаюсь, стакану с кем-то кинематографическим и отрубился. А когда вышел в коридор, узрел стоящих у Тронного Зала, загораживая его, как ширма, Ньюшу, Геракла Леху, Ночную Рубашку и Галину Васильевну. Раздвинув живую занавеску посередине, я разинул варежку. На унитазе лицом к коридору стоял маленький Петя Обычин и в упоении поочередно целовал груди здоровенной девицы баскетбольного роста, которой – я мог бы поклясться – среди моих гостей не было. Поскольку вера в то, что духи позволят целовать себе груди в сортире была слаба, пришлось предположить, что гигант-девица была гостьей недюжинного Алексея. Наблюдавшего за происходящим на его глазах безобразием на удивление миролюбиво.

Ввиду полной невозможности потревожить восходящую звезду физики твердого тела, а равно и девицу, стонавшую *Ааах, это прямо черт знает что, ну это вы уже черезчур* и опять *Аааах, это прямо черт знает что...* вышел в сад. Где оросил окрестности, утешив себя тем, что Купидон на моем месте поступал так же.

14 октября В коридоре перекурил с Валерой, поначалу представившимся по-блатному: *Огурец*.

Невысокий но сильный, неспешный но резкий, мастер спорта по боксу Валера рассказал, что в первый же день в камере его попробовали опустить. Он врезал не раздумывая, на рефлекс, правой-левой и послал двух амбалов в нокаут. Нокаутированные, оклемавшись, извиняться пришли. Ночью Огурца позвали наверх, к серьезным людям. Быстро нашли общих знакомых боксеров. На этом проблемы Огурца в зоне навсегда кончились. А начался заработок. Огурец организовал бизнес. Он с парой-тройкой коллег по советскому спорту давал прикрытие новичкам. Чтобы их не трогали. Между прочим, дело сравнительно благородное. Без дураков

- Я только вчера вышел, – сказал Огурец не без гордости, - а сегодня уже иду Жигули покупать и дом в Лемболово. Честно заработал. Для человека с кулаками и головой тюрьма – золотое дно.
- Золотое дно общества – уточнил я про себя.

Господи, да отчего же у нас золотым может быть только дно? И что ни идеоматический оборот, то с подлянкой?

21.10 Был на похоронах Евсея, директора винного магазина, много лет женатого, точнее как бы женатого, на тете Клаве. Перед тем как окончательно потерять сознание, умирающий мультимиллионер и воротила (всю жизнь проживший в коммунальной квартире – конспирация!) сказал тетушке под строжайшим секретом, что все накопленные деньги превращал в бриллианты и держит их в железной коробке под таким-то камнем на такой-то реке (ну разумеется, не в комуналовке же их скрывать!). И успел начертить карандашом план с местоположением реки и камня. И умер. То есть карандаш буквально выпал из рук на последнем штрихе. Ну прямо фабула романа *Граф Монте Кристо* какая то.

Завтра с утречка безутешная тетя Клава собирается ехать на эту реку. И попросила меня ее подвезти. Поневоле проболтавшись, зачем.

Воистину наша страна – страна кладов. Получится ли из эпизода многотомный роман Дюма?. Поживем – увидим. Если увидим. И если доживем. А доживем и увидим в зависимости от того, кому еще успела проболтаться безутешная тетя Клава.

21.10 Из окна катафалка, везшего меня (к счастью, пока только в качестве сопровождающего лица, а не главного персонажа) на Южное кладбище, наблюдал, собравшихся в многотысячные, а пожалуй что и многомиллионные – сказать не сосчитать – не стаи даже, а тучи, так что буквально солнце заслоняли. Представил, что было бы, если бы эти птицы организованно напали на людей (что для морских хищниц естественнее, чем ковыряться в помоях, да и мясо свежее), впервые подумал о том, что пернатым не свойственна коллективная охота, как, скажем, львицам, и что это величайшее счастье для всего человечества. В лучшем случае птицы могут коллективно

самообороняться и коллективно клевать падаль. Если бы пернатые охотились коллективно, да еще и организованно, они переклевали бы млекопитающих в два счета. От крылатых царей зверей и птиц одновременно на земле спасения не было бы точно. Что препятствует превращению фантазии Хичкока об охотящихся на homo sapiens птицах в повседневную явь? Что удерживает их от получения этого колоссального преимущества для самого естественного отбора? Чье это табу? Что мешает каким-нибудь орлам или, скажем, воронам, нападать на тех, чьи возможности перемещаться имеют на одно измерение меньше, не поодиночке, а стаями? Что (или Кто?!) запрещает чайкам проэволюционизировать еще раз и превратиться в коллективных, а не индивидуальных хищников, нападая, например, на коров, или похоронные процессии, или стада овец? Никакого рационального объяснения отсутствию этого, вне всякого сомнения, эволюционно выгодного (по крайней мере для некоторых видов пернатых) качества я не вижу. Факт, что хищные птицы запросто переключились на питание обродами на городской свалке с питания живой рыбой, но не переключились на совместные действия против тех, кто эти отбросы производит, вопиет против Дарвина. И наводит на мысль, что запертил птицам коллективно охотиться Тот Же, кто вселил страх перед человеком в чаек, а в голубей не вселил.

А вовсе не неодушевленная эволюция.

(без даты) “Вечная природа ... бесцельно творит один и тот же образ, а время так же бесцельно разрушает творимое” –сказал мудрый Алексей Федорович Лосев.

26.10 Галину Васильевну разбил радикулит. Поохивая вышла она, обычно необыкновенно здоровая, на кухню и прокряхтела в ответ на мой вопрос о самочувствии: “Сейчас еще ничего. А на пенсии болеть будет совсем ужасно. Никакого смысла болеть не будет на пенсии.” То есть бюллетень воспринимается ею пока не в связи с хворью, а как мера, добавляющая в жизнь свободу, как перец добавляют в борщ.

2 ноября Витька сходил на Работу в первый раз. На Работу в смысле в карман залез. В первый раз в первый класс. Дебют у него. И сразу засыпался. Так что бенефиса, как планировал Саня, не получилось. Саня дал ученику посидеть за решеткой до обеда. А когда поел, послал шестерку за участковым. Тот пришел, как Барбос в цирке – на задних лапах. Потом ушел. А потом Витька вернулся. Героем, как Папанинец с льдины. Отмазанный деньгами, которые его более опытные дружки успели насобирать для него, как землянику в лесу, по всему городу. Что-то вроде заработанные деньги безвозмездно передаются в фонд детей-сирот – а ля ленинский воскресник.

Малина цветет и пахнет.

3 ноября Воспользовавшись давно сделанным приглашением и тем, что оказался неподалеку, заскочил к Исачеву. У парня точный рисунок и картины, которые трудно забыть, но, как мне показалось, что то не в порядке со школой. О вкусе не говорю, потому что о вкусах не спорят по определению. Художник вырос и получил образование в черте оседлости, что объясняет типаж большинства его персонажей. В разгар ершистой беседы явился угловатый ученик, своим появлением приведший Мастера в ярость. Исачев извинился, надел ботинки, словно собрался уходить, долго и, как мне показалось, торжественно завязывал шнурки, потом по-отечески взял ученика сзади за

плечи, подвел к лестнице и неожиданно дал увесистого пинка под зад всей подошвой ботинка – да так, что ученик покатился по ступеням – сказав при этом, начав почему-то волжски поокивть: “Отправляйся ка ты в жизнь. Поучись у нее. И пока не поймешь в ней хоть что-нибудь, к краскам не подходи.”

После чего, удовлетворенный произведенным эффектом, вернулся в комнату, снял ботинки, аккуратно поставил их параллельно друг другу и продолжил беседу.

7 ноября Проснулся оттого, что меня, нежно погладив по чему-то интимному, чуть ли не по голове, разбудила Нюша и напомнила, что сегодня с утра – праздник Великого Октября. И поднесла заранее заготовленную рюмашку. Пришлось надеть штаны. А затем и все прочее. Выйдя на Кировский в промозглой ночи, оказавшейся при ближайшем рассмотрении утром, незамедлительно примкнул к какой-то колонне. Продефилировал в средних рядах демонстрации трудящихся. Народ чего-то там демонстрирует, приплясывая и прихлебывая. Пространство – сверху донизу – плотно усеяно транспарантами и головами. Кстати, слово *демонстрация* лингвистически может отвечать на два вопроса: “Демонстрация чего?” И “Демонстрация кому?” До демонстрации себя местным вождям на трибуне я дошел. С низких петербургских небес (в это время года скорее напоминающих потолок), с которых на гравюрах времен Екатерины Великой над этой самой Дворцовой площадью трубили херувимы, доносились тысячекратно усиленные репродукторами призывы – в какое-то светлое будущее и к чему-то прогрессивному вперемешку. Уставившись на наглядную агитацию размером в пятиэтажный дом, на которой гигантский Ленин марширует впереди маленьких народных масс, сделал открытие, обнаружив стилистическое сходство ее с искусством древнего Египта. После чего свернул с генеральной линии движения человечества к Атлантам Эрмитажа, с боем просочившись сквозь кордоны милиции, канализировавшей человеческие потоки, потом ползком, под грузовиками заграждения, пробрался к Большому Дому, обнаружив на нем транспарант:

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">НАША ЦЕЛЬ – КОММУНИЗМ</p> |
|---|

(причем прямо на этот прогрессивный лозунг с противоположной стороны проспекта были направлены две старинные пушки, с чуть ли не петровских времен установленные перед зданием арсенала, завершая прелестный праздничный архитектурно-агитационный ансамбль второй половины двадцатого века)¹⁹, от него Неве, и через

¹⁹ Потрясающее по форме и содержанию объявление

ПОСАДКИ НЕТ

висевшее на Большом ДOME неподалеку от *Главного Входа в Никуда* несколько лет, к том времени было снято, поскольку было связано не с перековкой мечей непримиримости к инакомыслию на орало терпимости, и относилось не к родственникам посаженных отцов и детей, а всего навсего к пассажирам автобуса номер

Литейный мост подался к родителям, помахивая купленным за гривенник раскидаем. От папы с мамой вышел ввечеру в преддверии праздничного салюта с Борис Михайловичем в легком подпитии по случаю того, что, как лучшего знатока Ленинграда, его третий год подряд награждают именованным телевизором Рекорд. Борис Михайлович, как замороженный, остановился у памятника Ильичу на броневике, возможно, чтобы отдать дань, но не как татарам (деньгами и женщинами): а благоговейным оцепенением. Я тоже стал бесцеремонно разглядывать вечно живого в упор, пользуясь тем, что он не английская королева. И вдруг понял, что увековечивание Ленина не на лошади (животном, со времен древнего Рима придававшим правителям величие), а на броневике, то есть движущемся символе державы, сидящие в котором со всех сторон надежно защищены от окружающего мира броней, а общение с теми, кто не внутри, происходит исключительно через пушку – и было началом нового мира. Который почему то не сделал следующего шага в искусстве. Ни Усамого, ни Бровастого так и не извляли за письменным столом. А ведь передовая была бы композиция, по количеству фигур не уступающая гражданам Кале, а в идеологическом отношении даже превосходящая их! Особенно, если бы бронзовый генсек вел заседание Политбюро, а за столом сидели бы медные соратники и, как живые, на него бы глядели в упор пустыми глазами. Впрочем, советский Роден не за горами, он грядет, ибо неизбежен, как социальный прогресс. Ведь случайностей в обществе, неотвратимо двигающемся вперед в Коммунизм, не бывает. А от этой неотвратимости этого прогресса у меня всякий раз, как о нем вспомню, мурашки по коже.

А Борис Михайлович все смотрел на вождя и смотрел, как замороженный. От обреченности на ожидание решил проследить, куда указывает рука вождя. И с удовлетворением обнаружил, что она указывает самое правильное направление из всех возможных. То есть на Большой Дом.

Когда первая радость открытия улетучилась, обратил внимание на то, что прямо напротив памятника Ильичу сияет гигантский неоновый транспортант: *Здесь Каждый Камень Ленина Знает!* Очень по-вечно-живому горит. И главное – надпись эта очень конкретно воспринимается. Потому что набережная на той стороне Невы, прямо под этим лозунгом, завалена гигантскими глыбами камня, подобными тем, из коих по слухам сложена пирамида Хеопса.. Что из сих параллелепипедов складывать собираются – укреплять ли берег, строить ли аллею советских сфинксов – неясно. Порыскав глазами, обнаружил еще один лозунг. Сиявший трехметровыми буквами над Артиллерийской академией, что по правую руку от каменного идола Страны Советов. Согласно анекдоту, лозунгом этим должен был бы быть НАША ЦЕЛЬ КОММУНИЗМ. Ничего подобного! Это антисоветское вранье. На самом деле этот плакат висит над КГБ под прицелом старых пушек. над Артиллерийской академией висит совершенно иной призыв. Похлеще, хотя при поверхностном прочтении, как бы неврачный и непритязательный. А именно:

В перед к победе коммунизма !

75, маршрут которого по случаю ремонта Литейного моста был вынужденно сокращен.
Комментарий из 2000 года.

В этом четырехстопном ямбе на крыше нет ничего особенного. Не считая того, что уважение к коммунизму и его пророку на площади Ленина – мекке Социализма – у создававших этот неоновый шедевр было настолько велико, что заглавную букву генералы агитационного фронта изваяли раза в три крупнее чем остальной текст, решительно оторвав ее от прописных. Так что первые шесть букв лозунга воспринимаются не как одно слово, отвечающее на вопрос КУДА? а как существительное с предлогом “В”. Сексуальная суть лозунга, изначально в нем заложенная, проявилась в полной мере, от чего он, безусловно, только выиграл, став и в самом деле вечно живым.

Тут вдруг пальнули из пушки и народ, сметая все и вся, побежал смотреть, какими огнями расцветет небо. Только мы с Борис Михайловичем никуда не бежали, изо всех сил сопротивляясь потоку. Сто метров до набережной мы преодолели вольяжно, борясь за право не течь со всеми изо всех сил, и вышли к Неве, когда давали десятый залп. Борис Михайлович вглядывался не в небо, а в лица толпы, почему то кричавшей УРА при каждом выстреле, и не произносил ни слова. И только когда фейерверк завершился, и народ в радостном возбуждении не отходит от набережной, приступил к питию, определявшему сознание, он прошептал: “Гунны”.

- Вы о чем? – спросил я подозрительно.

“Гунны”. – повторил Борис Михайлович. А что он хотел этим своим шопотом выразить, не уточнил.

11 ноября Явился Саня с бутылкой и Заинькой. Работать мне не разрешил. Только пить. “Не такой – говорит, - сегодня день”. А потом еще много чего говорил. “Карманник самый чистый вор. Сбросил лопатник – а деньги не пахнут. Пара секунд – и у тебя руки (он похлопал ладонь об ладонь, как бы стряхивая с рук муку) чистые.” “Стоит, например, она, на работу не терпится, вся уже там. Пока садится в автобус, поднажмешь народ сзади, кошель уже твой. Она уехала, ты остался. Или: она стоит, сумочку все больше спереди держит. Что делать, скажи? Неправильно. Назад поднажать надо. Назад поднажмешь – секунда – и ты ее раскрыл, то есть не всю ее, а сумку. Второй раз поднажмешь – и кошель твой. Вот так! Один кошель – два напора. Или: он стоит, за ручку держится. Прижал к нему газету, читаю. Он не видит, что у него внизу творится. А зря.”

Во время этого монолога гений криминального мира держал Заиньку за грудь и время от времени подергивал. Заинька не возражала, даже напротив: тихо повизгивала, как щенок.

12.11 Из Москвы вернулась Оля Давыдова. На Котельнической набережной к ней пристоился некий хмырь, который стал настойчиво предлагать девушке под сто девяносто ростом идти к нему в проститутки. Очевидно среагировав на неправдоподобную длину ног и вообще всей ее. Далекая от торговли телом, как от Аляски, Оля испугалась и стала приводить доводы, почему она отказывается.

- Во первых мораль.

Мужчина решительно отверг эту причину как несостоятельную.

- Несерьезно. Дальше.

- На здоровье дурно влияет.

- Поразительно, как такая с виду образованная девушка может быть так грубо дезинформирована. Дальше.
- Замуж не возьмут.

Хмырь аж подпрыгнул.

- Это кто это вас не возьмет? Француз не возьмет? Или, может быть, англичанин? Больше причин Оля придумать не смогла. В ужасе и не перевода дыхания, несостоявшаяся простигосподи села на метро, доехала до вокзала, оттуда на сидячем поезде в родной город (куда прибыла в сильном смятении ума), позвонила мне, рассказала эту историю и спросила:

- А ты что бы ответил?

14.11 На втором этаже, по-над лестницей филологического факультета университета, присел на один из старинных дубовых стульев, похожих на судейские, но используемых для перекуров, и слышу разговор меж студентками:

- ... он лекцию прервал, подходит и спрашивает меня:

- Что читаете?

- Стендаля.

- Понимаю, что Стендаля. А кто автор?

Это не шутка. Это факт, хотя и кажущийся невероятным для филологического факультета одного из лучших университетов Европы.. Просто предмет, во время преподавания которого происходил диалог, был, разумеется, не античной литературой и не семантикой романских языков. Предмет назывался Гражданская Оборона, сокращенно ГРОБ. И преподаватель носил мундир полковника. Так что история совершенно правдивая, более того: воистину произошедшая. При полной кажущейся невероятности.

17.11 Сегодня Саня говорил о Зоне.

“В зоне как себя поставишь тем и будешь. Не сила там нужна. Придешь – они начнут выкобениваться, а ты дашь ему – ребята заступятся. А другой будет по ночам портки им стирать.”

“Один пришел с гонором: “Я район в руках держал”. А как поставили раком – на побегушках бегал. Как мальчик! И ему еще повезло, что не как девочка.”

“Просто так девочкой не сделают. Раз оскорбишь, другой, или в долги залезешь.... Петухов за людей не считают. У них миски с дыркой. Отдельно едят. Смыть петуха можно только отомстив.”

20 ноября Проснулся оттого, что меня за плечо тряс Онегин. Не смотря на то, что рядом лежала Верочка. Которую он не тряс, но потряс – восклицанием:

- Да как вы можете дрыхнуть, товарищи, когда до коммунизма остался тысяча и один час?!

Тут мы с Верочкой протерли очи, голубиные от удивления.

- Ты что, рехнулся? До какого еще коммунизма?

- Который партия торжественно обещала. На первое генваря 1980 года.

Я посмотрел на часы. Будильник показывал семь утра ровно.

- Ты Коля забыл. Вместо ранее объявленного коммунизма будет что?.

- Большая беда будет, дядя Федя, – сказал голос Ночной Рубашки. И девочка материализовалась в дверях.

- Тебя, малявка, не спрашивают, - рассердился Коля. – Марш в сакральню. – И ответственвал, оборотясь к нам, все еще лежащим в обнимку. – Олимпийские игры может и будут вместо ранее объявленного светлого будущего, в соответствии с анекдотом. Но и коммунизма наша родная партия пока не отменяла. А слова Партии, как слова Бога, записываются огненными буквами на небесных скрижалях. Проговоривши эту идейно выдержанную тираду, Коля налил в граненые стаканы по сто пятьдесят. И мы выпили за неотвратимо приближающийся коммунизм в обстановке пикантности между нами троими.

Скажу откровенно: главный лозунг эпохи **НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ!** – я всегда воспринимал как угрозу. Сладко произнести его может только идиот – я лично никогда не мог договорить сию аброкадабру без смеха. Смысл это пророчество приобретает только если его произносить с угрожающей интонацией.

А тысячный час до наступления коммунизма мы с Верочкой встретили стоя и (в соответствии с традициями древних Олимпиад) совершенно голыми, держась свободными от стаканов руками за мраморные ступни основателя Олимпийских Игр, торчащие из стены.

23 ноября Во дворе проходного дома на Кировском детишки играют на крыше гаража, чернеющем между деревьями на фоне черного неба.

- Интересно, что они там делают? – подумал я, обнаружив что детвора смотрит куда-то сквозь крышу, приподнимая часть ее, как шляпу. И стал приглядываться сквозь мрак.
 - Лезьте к нам, дядя, – дружелюбно закричали ребята, заметив мой интерес к их деятельности. - Здесь дырка.
 - Ах, вот оно что... Тогда вам надо быть осторожнее. Как бы не сломали себе там чего, – вспомнив, кто из нас взрослый, посоветовал я.
 - А мы не ломаем. Мы только выносим, – объяснил басом мальченка в резиновых не по размеру сапогах, сидевших на нем, как болотные, по самые бедра.
 - Как это выносите?
 - Обнаковенно. Через крышу. Она до нас была сломана. Это не мы.
 - И... что вы выносите?
 - Какой вы смешной, дядя. Что надо, то и выносим.
 - А сейчас чего тащите?
 - Шину.
 - Запасную?
 - С колеса. Вы что, из деревни приехали?
 - Не из деревни я, а из колхоза. *Имени Того Парня*. И зачем вам шины?
 - Как зачем? Пригодятся. – Сообщил, как сказали бы в прошло веке, в спокойствии чинном, все тот же малой. После чего приподнял крышу за край, и крикнул кому-то внутрь внушительно: Эй, Влас, чего ты там копаешься?
- “Как звать тебя? Власом. Какой тебе годик? Шестой миновал...” – промелькнуло у меня в голове.
- А еще чего-нибудь вынесли кроме шин?
 - А как же. Руль. Фары. Сидения. Может купить хотите? – хитро спросил тот, кто звал Власа.

- А если хозяин придет и ... уши надерет?
- Кому? Вам?
- Нет. Вам.
- Не надерет. Он за границу работать уехал. И раньше чем через год не вернется.
Как у них все складно, ловко и ладно! И главное, раскрепощенно.
- Откуда вам это известно?
- Да уж знаем. Чай не маленькие. – в спокойствии чинном произнесло дитя. И я услышал здоровый и беззаботный мальчишеский смех. Каким сам уже давно не смеюсь.
Боже! Неужели это и есть голос светлого будущего всего человечества?

28.11 Выйдя из автобуса в гастроном, обнаружил пропажу бумажника. Потерял? украли? Всердцах рассказал Сане. Мэтр отнесся серьезно. Подробно расспросил в каком автобусе ехал, в котором часу и что в кошельке было. Вечером возвращаюсь – встречает красотка Нюрка.

- Тебя Саня зовет.

Иду в Раек чуть ли не строевым шагом. Мэтр встал навстречу и обнял, как родного.

- А ты, Федя, уверен, что лопатник пропал? – спрашивает, насупясь.
- Уверен.
- А в карманах ты смотрел?
- Смотрел.
- Покапайся ка еще разок.
- Зачем?
- Может, ты зря на наших грешишь.

Я молча вывернул карманы брюк.

- А теперь посмотри в жопнике.

Я порылся для виду.

- И там нет.

Саня нахмурился.

- Ситуация усложняется. А в пиджаке?

Пожав плечами, я залез во внутренний карман застегнутого на три пуговицы пиджака и вынул из него бумажник.

- Все на месте?

Я послушно покопался в недрах.

- Проездная карточка на месте.
- А деньги?
- По моему, десятка прибавилась.
- Это жалоба?
- Это констатация.
- Вопросы есть?
- Есть. Один. Я в другом пиджаке был.

Саня усмехнулся.

- Еще вопросы имеются?
- Имеются. Где твои бумажник то отыскали? Его ж наверняка скинули!

Саня свистнул сквозь зубы.

- Умнощий ты мужик, Федя. Великий вор в тебе пропадает. Найти, кто украл, не фокус. А вот отыскать, куда скинутое слиняло – это проблема.

30 ноября Был в гостях у прелестной Оли Давыдовой. Головка смотрит откуда-то сверху качаясь на неправдоподобно длинной шее. Она попрежнему химик. Перешла из университета работать в институт физкультуры по совершенно секретной тематике с повышением зарплаты в два раза.

- Господи! Да откуда же в спорте могут быть государственные тайны? – наивно спросил я.
- Какой же ты ребенок! – умилилась Оля. – Ведь я же теперь Советский Спорт. А в нашем Советском Спорте такая секретность, что даже знать о том, что тайна и что не тайна, нельзя. Но тебе по секрету наемкну: я работаю в отделе, который будет ответственным за выявление допингов на Олимпиаде. Понятно?
- Нет.
- Какой же ты ребенок! Ну как бы тебе это объяснить, прямо не говоря? У нас все по последнему слову науки и технологии. И разумеется, все засекречено. Особенно анализы. Понятно?
- Кажется, начинаю понимать. Ну и как грядущая Олимпиада? В смысле чистоты анализов?
- Можешь не сомневаться, что Советский Спорт, как всегда, будет самым чистым в мире. Хотя пока мы только Чемпионаты Союза проверяем.
- Ну и?
- Когда я нахожу у когонибудь допинг, скандала не поднимают, просто берут на заметку. (сказал Оля шепотом и почему то подозрительно посмотрела на Амура, летавшего под потолком).
- И все?
- Я и так тебе слишком много наболтала, ребенок.

И больше от нее я не смог добиться ни слова. Длинноногая и длинношеяя девушка лишь смотрела на меня сверху, как подсолнух, и делала многозначительные глаза.

1 декабря Салик выбросился из окна. Подробности пока не знаю.

2 декабря Во время перекура на лестнице Жора Шкаф ни с того ни с сего дружески сообщил, что если мы подеремся, я продержусь не больше пяти секунд. Потом подумал и уточнил: а может, не больше двух. Правой-левой – и ты в отрубе.

Разубеждать кореша я не стал.

Верочка пришла во тьме, ибо хоть отделение и вечернее, зимой лекции оканчиваются в ночи. Решил проявить чуткость и спросил усталую девушку, запомнила ли она сегодня чтонибудь такое, ради чего стоило коротать на лекциях молодость. Студентка подумала и сообщила, что оказывается волки-самцы могут принять человека за вожака стаи, а волчицы нет, потому что для волчицы вожак всегда волк. То есть *самэц* ее породы.

И тут меня осенило. Я вдруг понял почему Саня признает меня в чем то за равного, а в чем то даже за вожака, а его шестерки – никогда.

По той же причине.

Надо будет почаще расспрашивать Верочку.

3 декабря Тоска-матушка одолела. Может старею, а может ноябрьская ленинградская мгла навеивает на мысли, созвучные Октябрьскому перевороту. Пошел в кино, как в ресторан с девушкой: не глядя – с той только разницей, что не смотрел я не на ту часть меню, где цены, а на ту часть рекламы где пишут название фильма. Почему я пошел в кинотеатр за три квартала, а не в садик, который за окнами? Потому что в кино не каплет.

Пока давали киножурнал Советский Спорт, было еще туда-сюда. Кто-то куда-то греб, кто то кого-то метелил – но это была по крайней мере не мертвечина. Но как только начали показывать самое фильм, смотреть на экран стало совершенно не в состоянии. Когда минут через десять экранная мать захотела вернуть в семью ушедшего из нее мужа, а дочь не посоветовала ей делать это, сказав: *Что ты, - мама! Папа – это пройденный этап!!* - ушел и я. Как муж и отец в фильме. Оно и понятно: мало кто из мужчин такое выдержать может.

Бродил сквозь ветры и мглу, пока совсем не стемнело..
Посмотрел на часы. 6 вечера. До коммунизма стало быть осталось 666 часов ровно.

4.12 Три часа не мог попасть в ванную. Сначала старуха мыла кошек. Потом Заинька мыла Саню. Потом Леха Геракл надраивал мускулы и закалял себя под контрастными душами. А я так и ушел из дома невымытый. Даже к трону добраться не смог – на нем королева Ньюша песни пела, а королев не прерывают - этикет. Так и поехал в филармонию наполненный всем на свете. Впрочем, скорее всего я в Большом Зале ароматом в общем букете не выделялся. Во всяком случае, знакомые от меня не шарахались. Принюхались мы. Иммунитет у нас друг на друга.

В Ленинграде несколько действующих храмов: Филармония, Публичка, Кировский, Эрмитаж. И еще несколько храмов на открытом воздухе: загородных парков: Пушкин, Павловск, Петергоф – это как минимум. Без них город был бы другим. Жить в нем полноценно было бы невозможно. А только бродить по нему..

Я еще только поглядел на хрусталь люстр в Большом Зале - и уже улетел мыслями. Еще до того, как заслуженный коллектив играть начал. Девятую Бетховена ре мажор. Эти люстры на меня лет с шести действуют, как гипнотизеры. С самого первого раза как я их увидел. Посмотришь, как хрусталинки из одного цвета радуги в другой переливаются – и уже в другом мире.

7 декабря Валера Огурец, этнический немец, обрусевший в десятом поколении, говорит по русски, словно он только что вылутился из еврейского местечка времен Шолом Алейхема. Похожий акцент я слышал только от одного человека – Соломона Юрека, который на вопрос корреспондента Голоса Америки, почему он не привозит в Нью Йорк оперу Большого Театра, ответил: *Из этой овчинки я би виделки делать не стал.* Но великий антерпренер, привезенный в Новый Свет ребенком, сохранил местечковый выговор, как в инкубаторе, Валера же благоприобрел его в Бобруйске, откуда он родом во втором поколении. Родители Огурца перед войной предусмотрительно переехали в черту дореволюционной оседлости, спасаясь от той черты оседлости, что была проведена на карте товарищем Сталиным для немцев – и затерялись в еврейской массе. Евреем по национальности в тот момент быть было безопаснее, чем немцем, тем более что идишь родители Огурца, читавшие на родном языке Гете и Шиллера, понимали.

Пока Огурец со Шкафом пили на брудершафт и челомкались, прижимаясь сломанными носами, по радио передавали *Из за острова на стрежень* в исполнении Штоколова. Почему то зримо представил, как Стенька сидит на передовом челне обнявшись с красавицей княжной, справляя свадьбу, но, заслышав ропот – всего лишь ропот! – не раздумывая ни секунды топит новобрачную.

Главное тут даже не то, что Разин привел в исполнение смертный приговор, вынесенный им самим. И не то, что и то и другое произошло во время его свадьбы с приговоренной. И даже не то, что утоплена была женщина. Главное, что и вынесение приговора, и приведение его в исполнение были произведены в едином порыве. По зову сердца. Без малейшего размышления и колебания. Что доказывает, что Стенька стал нашим человеком задолго до прихода советской власти. Товарищ Сталин, у которого пространственно-временной интервал от верного ленинца до трупа с пулей в затылке стремился к нулю, поведение атамана, несомненно, одобрил бы.

Тем временем Жора стал объясняться Огурцу в дружбе до гроба, вычисляя, сколько бы тот мог продержаться, если бы Жора ему врезал правой-левой, и, закатывая рукава косоворотки все выше и выше, принялся комментировать открывавшуюся под ними историю своей жизни – татуировку за татуировкой. Тут как по заказу по радио стали петь Широку Страну Мою Родную в исполнении Хора Пятницкого (как однажды не без удивления заметил Игорь Г., я обладаю странной, почти мистической способностью притягивать людей и события). Внимание включилось на словах: *Но сурово брови МЫ насупим если враг захочет НАС сломать.* (НАШИ брови, стало быть, насуплены). *Как невесту, Родину МЫ любим, бережем как ласковую мать* (а тут, без всякого перехода, НАШ рот до ушей, хоть завязочки пришей). Что это? НАШЕ проклятие? НАШЕ предначертание?

Вдруг за спиной раздался треск. Это Огурец послал Шкафа в нокаут. Тот шмякнулся об пол, распластавшись во всю ширь, как Запорожец в описании Гоголя – и его мощные габариты в вписались в кухонные так точно, словно они были спроектированы друг для друга. Валера скромно развел руками, удивленно разглядывая сжатую в кулак десницу, а я почел за лучшее удалиться, провожаемый самым оптимистическим куплетом Песни Века: *Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит че...*”

11 декабря Был на похоронах Салика. Прощание проходило в крематории. Людей было много. Стихийно родилось мнение, что не Салик выбросился, а Салика выбросили. Не с чего ему, как будто, было бросаться с пятого этажа из окна на лестнице в доме, где ему делать вообще было решительно нечего.

Следователь многозначительно сообщил, что все версии разрабатываются и ни одна из них не исключается.

Пока брел вдоль длинной аллеи ведущей – не к храму божьему а к крематорию человеческому, по холодному ветру, подгрел сиволапый мужик и предложил пойти с ним выпить на-дармовщину. При этом сказал, что угощает. Оказалось, однако, что угощает не за свои. И не за государственные. Оказалось что он всего-навсего завсегдатай крематория. Не в том смысле что его кремируют каждый день. А в том, что каждый день ходит на чьи-нибудь поминки.

“Мы с Гринею порядочные провожалыцы, ты не думай. Мы сначала панихиду отстоим, послушаем, что об усопшем на церемонии в зале прощаний говорят – и только после этого выпивать за него в скорбной толпе провожающих в последний путь едем. А как же? Святое дело.”

Получил от сиволапого бесплатный урок, как компанию для траурной выпивки выбирать. “У интеллигентов, брат, бухала всегда мало, жмотятся, гады. К евреям вообще не приближайся, от них поминок не дождешься. Лучше всего все-таки те общества, где много старушек. Последнее на стол выставят!”

И еще сообщил сиволапый, что по поминкам ходить абсолютно безопасно, чего нельзя сказать о свадьбах. Потому что на бракосочетании есть маленький теоретический риск, что заподозрят. Особенно если подарка не дашь. И один раз ему, сиволапому профи, чуть не намяли бока “А на поминках кирнуть - риска вообще никакого. Наоборот: можно сказать, святая выпивка. Я бы например, если бы окочурился, против согласных выпить за помин моей души ни за что бы не возражал. Так что не бойсь, братан. Ни один покойник не встанет из урны, чтобы нам хлебало начистить. Джинны только из бутылок вылезают, и то раз в тысячу лет. А чтобы покойник из урны – такого еще не только в истории не было, но даже в сказках.”

Мой отказ сиволапого удивил. “Да ты не дрейфь. У нас с Гринею монополия на это дело. Но он сегодня в горячке лежит после позавчерашнего. Знатные были поминки позавчера - зашибись. Начали столичной, а кончили политурой... Как это на хрена ты мне нужен? Я же не пропойца какойнибудь. Я один не пью. Это совсем опуститься надо чтобы одному пить.”

На прощание сиволапый помахал мне кнутом и пряником: “Приходи, брат, как душа затребует. Я тут с утречка каждый день – как на работу, вот только бюллетень не оплачивают. Уж больно понравился ты мне. Наш ты человек! Но смотри, не рассекреть идею. А то в урну положат и я на твои поминки не приду.”

К счастью для Салика, его не кремировали, а хоронили. Сиволапый как услышит, что не кремируют, а хоронят, сразу в другой зал прощаться идет. Кладбище, по его словам, слишком долгий путь к выпивке. Три часа в автобусах трястись и еще два у могилы ошиваться – это, по его словам, выше сил человека.

17.12 Сегодня Саня пил мало а говорил много.

“Когда я работаю с девочкой, я ею овладеваю. Как никак она отдает мне самое дорогое.”

“Вчера стоит одна, прижался к ней – замерла, кайф ловит. А за удовольствие ясно, платить надо.”

“Воровство – важнейшая часть соборного подхода к жизни. У нас в Стране всем до всех есть дело. Это и есть соборность – разве не так? И если не это, так что? Хотя если хочешь, можешь эту нашу самобытность душевностью называть. Или коллективизмом – тоже не возражаю. Как ни называй, а смысл один: все лезут друг другу в душу и тело, образуя единый человеческий минерал. Если при этом кто-то у кого-то из кармана незаметно чегонибудь спиздит – это, можно сказать, счастье. Плохо - это когда отбирая, еще и по башке ломом дадут, или нож в живот всадят, или бритвой по зрачку, или пулю в затылок.”

“Носить деньги в жопнике – все равно что дарить. Из чердака раскрыть надо. Из скулы бери в два приема. Подзор пальчиками выворачивай. У нас техника! А ты думал?”

“Воровство для общества - это вроде обмена веществ, происходящего в его организме. Не будь воровства – жизнь в нашей стране была бы невозможна, это я тебе профессионально заявляю.”

(без даты) Был на выступлении Анатолия Эфроса в Доме Актера. Такое впечатление, что, когда Эфрос говорит, эхо повторяет. Но не в зале, в мозгу.

“Такое время – по проторенной дорожке не разгуляешься.”

“Мы часто ждем несчастья от какого-нибудь злодея, а земной шар подрывает некий тихоня, у которого ненависть не в кулаках, не в сжатых зубах, а где то в лимфатических узлах.”

“Отелло поверил в измену Дездемоны задолго до знакомства с ней. Когда узнал, что он чужой в Венеции. Что он здесь мавр.”

“Причина действия лежит вне действия. Человек проносит обиды через десятилетия.”
Говорит – как в набат бьет. Только негромко.

17 декабря. По мере приближения обещанной даты наступления коммунизма (который в любом случае без сомнения никогда не наступит) у меня все усиливается ощущение надвигающейся катастрофы. Вселенная была создана за доли секунды. Через секунду после сотворения мира законы природы уже были такими, как сейчас. Советская вселенная тоже была создана одновременно – за одну ночь. К утру уже было все: и расстрелы, и декрет о мире (который никогда не наступил) и декрет о земле (которая была крестьянам дана, но плоды ее объявлены принадлежащими государству, совсем как в истории об Эзопе, в которой тот научил хозяина как спастись от обещания выпить море: предложить сначала отделить его воды от воды рек, которые впадают в него). Ко времени наступления первого утра Новой Эры уже создавать было нечего – все было на месте на всю оставшуюся жизнь советской власти. Бесспорно, наши лидеры не относятся серьезно к своим обещаниям, и тем более к датам. Бесспорно, они воспринимают их как часть овса для лошади именуемой ими **чернь** (сам слышал, как о еде из обычного магазина номенклатурное лицо изволило произнести с гримасой: *Это для черни!*). Но на небесах и в их высочайшем подсознании вежи пролетарской диктатуры неистребимы и жгут. Дай то бог, чтоб я ошибся и страну пронесло. Осталось ведь всего четырнадцать дней терпеть Господу. И господам, зачем-то поставленным всемогущим над нами.

18 декабря Несколько раз приходил уполномоченный. Пытался заставить Витьку устроиться на работу. И заставил таки! Витька работал до вечера. Не по карманам – разносил почту. Пришел злой и умоляет Саню его от работы отмазать. Саня молчит со свойственной ему мудростью.

18.12 Лучше перебдить чем недобдеть, – в сотый раз повторяю я про себя изречение одноглазого дяди Вити. Как смачно облек ночной сторож в слова принцип, по которому СССР живет вот уже более шестьдесят лет! Казалось бы, на пенсию пора: не дяде Вите, а стране, достигшей пенсионного возраста, хотя и дяде Вите тоже, а они оба все туда же...

ЛУЧШЕ ПЕРЕБДИТЬ ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ

Кому лучше? И для чего?

Никому и ни для чего. А вообще – лучше.

На нашем теперешнем языке слово ЛУЧШЕ не отвечает на вопрос *лучше чем что?* и даже на вопрос *кому лучше?*. Наше ЛУЧШЕ – восклицание и генеральный принцип.

(без даты) Саня сегодня говорил и пророчествовал, поглаживая Заиньку по всем местам. Было в этом что-то от *Тысячи и Одной Ночи*. Только наша Шехерезада молчала. А Шахрияр Саня говорил и говорил. И не прерывал дозволенные им самому себе речи. “Воры узко специализируются: карманники, майданщики, медвежатники... Только теперь вещи воровать смысла нет. Квалификация отмирает. Снимешь с нее портки, а куда толкнешь?”

“Студенток чистить одно удовольствие. Такие девочки свеженькие! Думаешь у них денег нет? Им мамочка высылает полный кошелек. Балует. А мы, как отцы, воспитываем. Чтоб не жирели. Гоняем народ, как волки зайцев!!!”

“Сейчас время прогресса. В смысле воровства тоже – на месте, конечно, не стоим. Ясно – техника вперед идет. По двое работаем. Взял – секунда, другу передал – еще секунда, тебя иди-лови а он уже ушел.”

21 декабря Самая длинная ночь – день рождения Сталина. Стоя в автобусе, раскрыл на чьей-то спине только что купленную Ленинградскую правду и стал читать ее, как и весь советский народ, по еврейски – то есть справа налево и от конца к началу. Сразу наткнулся в разделе *Происшествия* на статью АСПИРАНТ ОТРЕЗАЛ ГОЛОВУ НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ. В то же мгновение на глаза ни с того ни с сего попала фамилия *Обычин*. Не в состоянии связать одно с другим, вздрогнул, перешел на чтение сверху вниз и справа налево – и мгновенно обледенел. Оттаяв через две остановки, выскочил из автобуса и, с трудом разменяв двушку, позвонил секретарше директора, которая посвятил меня в детали преступления, о котором в институте все уже знали. Оказывается, у Пети был любимый аспирант из Азербайджана, который регулярно угощал учителя фруктами и коньяком. И вот, выпив лишку (что потому что правоверных мусульман уже само по себе не к лицу), азербайджанский аспирант и его научный руководитель поспорили на научные темы. В результате отсутствия единства взглядов на интерпретацию его экспериментов, аспирант рассверипел, вынул скальпель, взял учителя за волосы и профессионально отрезал ему голову. После чего молодой ученый растворил тело несчастного Пети Обычина в ванне в заранее приготовленной серной кислоте, и только голову растворить не успел – на свою голову. И теперь этому аспиранту грозит расстрел, если, конечно, не обнаружатся смягчающие вину обстоятельства – вроде членства в Партии Большевиков или родственника в Верховном Совете..

25 декабря Вечер перед католическим Рождеством. До официального наступления второй стадии коммунизма меньше недели.

Возвращаясь из водочного магазина, на Кировском проспекте наткнулся на пьяную драку, на которую смотрели, будто с трибуны стадиона, с десятков штатских зевак и один в милицеейской форме. Как на представлении уличных циркачей глазели. Или как в древнем Риме на гладиаторский бой, поедая тогдашнее мороженое и тыча пальцами вверх или вниз. С комментариями смотрели. И комментировать было что.

Потому что кого-то били на земле ногами и из кого-то хлестала кровь. Гладиаторский бой!

- А вы чего стоите? Арестовали бы! – задорно спросила стража порядка с лычками старшины милиции какая то тетка.

А у меня рабочий день кончился, - безмятежно ответил компетентный орган и продолжал наблюдение.

26.12 День Рождения Славика Киселева. Моего старого благородного друга с ранней сединой в бороде. Он еще не оправился от гриппа, поэтому рядом с тарелкой новорожденного вместо фужера стояла бутылочка с микстурой. Которой он шутки ради чекался. А также таблетки от гриппа с снотворным, лежащие там, куда обычно кладут хлеб. Я представил себе, как лет через тридцать перед каждым из нас вместо фужеров и рюмок будет стоять батарея пилюль и таблеток – и улыбнулся. Пока такая перспектива вызывает улыбку.

Настроение у гостей бодрое. Кто собирается в командировку в Англию, кто на конгресс в Японию, кто в Израиль с двумя чемоданами по двадцать килограмм каждый. Пока границы открыты или хотя бы полуоткрыты, как сейчас, жить можно. В стране, из которой можно выезжать, можно и жить.

До наступления коммунизма 121 час.

27.12 Проснулся оттого, что приснилась ночная рубашка. Распластавшаяся по облакам, как Господь по потолку Сикстинской капеллы. И раздался детский голосок с неба: отовсюду сразу, словно из репродукторов на стадионе. Голоса Ночной Рубашки говорили одно и то же, но из за эха друг-друга перебивали и накрывали:

БЕДА БУДЕТ, ДЯДЯдядя ФЕДЯ-дядядядя.. БОЛЬШАЯ БЕДА-дададада Господи, да какая же беда может быть, когда все складывается так замечательно! Воздух чист и прозрачен. Им можно дышать. Даже рыбы, вечно и тупо жрущие друг друга, улетели куда-то.

Посмотрел на часы. Будильник показывает два часа ночи. До коммунизма осталось сто восемнадцать часов. То есть совсем уже рукой поддать.

27.12 Снег выпал и не растаял. Кареглазая Аллочка, в преддверии наступающих студенческих каникул, вспомнила, как прошлой зимой, отдыхая в Морском Прибое в Зеленогорске, предложила ребятам пойти всей компанией на лыжах на Комаровское кладбище поклониться могиле Ахматовой.

- А кто такая Ахматова? – спросили студенты Аллу.

И пока кареглазая, онемев, молчала и хлопала своими карими, молчали и остальные, пылливо глядя на девушку.

- Ни один не подал голос, вот ведь что страшно! – втолковывала мне Аллочка. – Все смотрели на меня и ждали ответа. И это цвет нации!

27 декабря 8 часов вечера. Только что БИБИСИ объявил что мы опять освобождаем Афганистан. От кого? От самих себя? Или от своих ставленников?

Освобождение Афганистана советскими войсками звучит так же нелепо, как объявление независимости Советского Союза от Российской федерации – или наоборот.

Все кончено. Это мрак надолго. Если конечно не врет вражий голос из Лондона. Афганцы дважды победили англичан. А их предки этих горцев нанесли поражение самому Александру Македонскому. После чего великий полководец был вынужден изменить свой стратегический план. Он повернул на юг и история пошла не по тому пути, по которому она бы маршировала, если бы творец Эллинизма продолжил движение на север..

. Кто знает: может быть с этой минуты История вновь меняет направление своего течения? Как она уже однажды сделала двадцать три века назад. Причем начиная с того же самого места.

Посмотрел на часы. Восемь вечера. А это значит, что
ДО НАСТУПЛЕНИЯ КОММУНИЗМА
ОСТАЛОСЬ 100 ЧАСОВ РОВНО.

27 декабря. В сакральне столкнулся нос к носу с мраморной Ньюрой, жарившей яишницу в трусах, лифчике и в поясе: с резинками, но без чулок! – и залюбовался ею, беломраморной. Пока глазунья крепчала, разговорился со статуей, благо мы оказались наедине, что в СССР случается редко. Беломраморная девушка поведала, что долго была заморышем, настолько, что всего год назад (в пятнадцать лет!) когда на улице на нее начали оборачиваться, она думала, что это из-за того что у нее что-то не в порядке с платьем и поспешно натягивала его на колени. Тут я вспомнил информацию полученную от какого то сексолога (которых нынче развелось, как блох, не смотря на то, что официально в нашей морально устойчивой стране секса нет, ибо он чужд и противен советскому человеку) о том, что красавицы чаще всего бывают ретардантками. Впрочем, выйдя из девчочества, мраморная Ньюра начала прогрессировать стремительно – и не только внешне – так стремительно, что глядя на нее в шестнадцать, я даже не представляю, куда ей далее прогрессировать).

Тем временем изваяние сбегало в раек и принесло фотокарточку, на которой оно увековечено лет пяти от роду, не то застенчиво не то кокетливо держась за край ситцевого платица одной рукой, в то время как указательный палец другой застрял в носу - и выглядело впрямь как рано сформировавшаяся оборванка.

Что побудило Ньюру перемениться так решительно? Изнасилование? Месть первому возлюбленному? Или всего лишь природа? Пока мраморная девушка не проговорила – ни словом, ни намеком.

Еще вспомнила Ньюра как лет четырех от роду она играла в какую-то игру с мальчишками. Те бежали быстрее ее и тащили по земле, крепко держа с двух сторон за руки. А будущая красавица кричала:

- Бросьте меня, я дешевая!

Ньюра много чего еще вспомнила бы, если бы яишница не затвердела и мраморная девушка не ушла с кухни со сковородкой в руке, как каменная гостья, гремя однако же не суставами, а резинками.

27 Декабря. 9 часов вечера. В программе *Время* подтвердили: В Афганистан введен ограниченный контингент войск. По решению ограниченного контингента ограниченных членов политбюро. До наступления второй стадии коммунизма осталось 99 часов без малого.

29 ноября Проник на Елку во Дворец Пионеров, в котором из всех углов выпирает Потемкинский дворец и атмосфера праздника, которую не вытравили сто лет относительной мертвечины – на две недели он превращается в Маленькую Империю Счастья – империю с дверями и окнами. Счастливы все: и дети, и их родители; носятся от игры к игре, от аттракциона к аттракциону. Возвращается ощущение себя-семилетнего и у пятнадцатилетнего оболтуса, и у его папы – всякого, кого впустили в детство.

У дивной елки танцуют волшебный танец снежинки – и что-то замирает внутри, рождая ощущение близости чуда. Взрослые с улыбкой наблюдают, как дети верят в Деда Мороза и одновременно не верят в него, понимая и не понимая, что это всего лишь дядя. А сами? Вечером, пойдя посмотреть какогонибудь Гамлета, рыдаешь, хотя уже через пару минут аплодируешь, когда он как ни в чем ни бывало ожив, выйдет на авансцену раскланиваться. Искусство превращает тех, кто в нем участвует, в единое живое существо, которое рождается постепенно – а исчезает мгновенно, как замок Золушки. Конец спектакля как прекращение жизни, когда, стоит содрать с барана шкуру – и сострадание исчезает (на себе не без удивления испытал!) а вместо него на свет является холоднокровное искусство разделки туши, приготовления шашлыка и гурманизм (не путать с гуманизмом) его поедания. Стоит чему либо умереть – и новые музы приходят на смену старым.

30 декабря Все эти дни слушал радио и смотрел на часы слишком часто. Когда до светлого будущего осталось 31 час и 54 минуты, внезапно и без предупреждения приехали гости из Риги. Разместил ребят, а сам ушел спать к папе с мамой. То есть буквально ушел: сперва до Невы по Кировскому, потом по-над берегом мимо дома политкаторжан, домика Петра Первого, Авроры и далее в направлении Финляндского. Вид с Петроградской на Летний сад дивный, чего не скажешь о виде из Летнего сада на Петроградскую. Так что мой маршрут был намного эффектнее того, по которому водят иностранных туристов. Красота Ленинграда уменьшается при ближайшем рассмотрении и увеличивается при удалении от него. Дома прекрасны если смотреть на них с противоположной стороны улицы или реки – не не ближе. Впрочем, можно сказать, что это свойство нашей культуры вообще: при ближайшем рассмотрении безобразно почти все. А при взгляде издали – трудно не заглядеться, не влюбиться или не умилиться.

30.12 Политический обозреватель Ж. сказал народу, строго глядя ему в глаза с экрана телевизора: **”Соединенные Штаты Америки вмешивается во внутренние дела нашей страны во всех частях света...”** Что то это мне напоминает... Ну да, конечно. *Русская География* Тютчева.

Новые времена...

31.12 Устав от наук, в которые с утречка впери́л ум свой, как бы алчущий познаний, пошел в зал русского фонда, где взял две заказанные загодя книги: одна о греческих мистериях, другая - мемуары Казановы. Мои интересы ни в чем не пересекаются с

опасениями правительства, закрывшего доступ ко всем с его точки зрения представляющим опасность для госбезопасности фолиантам: это экспериментально доказано тем, что еще ни одна заказанная мной за многие годы книга не оказалась в спецхране. Даже удивительно, насколько мои интересы и интересы политбюро ЦК КПСС ортогональны!

Зал русского фонда на двадцать сидячих мест как всегда полупустой – что навеивает на грустные размышления. Ведь это единственное место в городе, где выдают для чтения книги, изданные до тысяча девятьсот тридцать седьмого года!

Греческие мистерии в очередной раз удивили главным образом тем, как мало о них известно. Мемуары же Казановы поразили в двух отношениях. Во первых, что не нашел в них ни одной игривой сцены. То есть ничего, что не могли бы читать комсомольские вожаки на линейке юным пионерам! А во вторых, описанием путешествия великого ловеласа в Петербург. Казанова пишет о том, что едет к царскому дворцу по широкой улице, пересекаемой проспектом с деревьями, и что во мгле идет тяжелый снег. Поднимаю глаза и угадываю с детства знакомый, но невидимый сквозь мглу угол Невского и Садовой, а вижу только снег, падающий тяжеленными хлопьями – и более ничего. Вдруг что-то переключилось в голове (или кто-то что-то переключил в ней) – и перенесся на двести лет назад. Такое вот временное сумасшествие. Время замерло, хотя, кажется, и ненадолго. Застыл и я, как восковая персона, на перекрестке Невского и Садовой в карете, едущей к государыне Екатерине сквозь повисший в воздухе снег. Выйдя из оцепенения вместе с временем, прочитал книгу до конца – чем дальше, тем нетерпеливее и оттого быстрее – и через полчаса добрался до последней страницы в недоумении: где же эротика, о которой все время говорили большевики? Самое близкое расстояние, на которое в своих мемуарах Казанова приближался к женщине, было расстояние руки, вытянутой для поцелуя.

Недоуменно вернулся к титульному листу: ту ли книгу я читал, которая вот уже двести лет потрясает мир своей гривуазностью? Все правильно.

Джакомо Казанова

Мемуары

Позвольте, а что там напечатано пониже и мелким шрифтом?

“С сокращениями, одобренными высочайшим синодом”

О всемудрейшая цензура, узнаю тебя, вечную!

А теперь о главном. Казанова во время путешествия к Екатерине Великой был донжуаном со стажем, проверенным с одна тысяча семьсот сорок первого года. Если бы вселенский ловелас догадался поехать к любвеобильной царице-матушке России-

матушки лет на двадцать пять ранее, история человечества с необыкновенной легкостью могла бы свернуть на другую столбовую дорогу. А что? Очень даже запросто. Более того: походя.

31 декабря До наступления торжественно обещанного партией Коммунизма осталось сто минут. Еще один год прошел, как трамвай по маршруту. Чем-то порадует нас товарищ Леонид Ильич Брежнев под бой курантов? И чем еще поразит нас Господь?

КНИГА ЧУВСТВ

Воспоминания Непредумышленного Валентина

Валентин Железные Зубы был молчун. Когда трезвый, очень редко слово произносил. Только между коленей себе глядел, свесив кисти рук между ними, и молчал. Сразу видно, что сидел человек, то есть что сидение было частью жизни. Но, когда выпивал, тогда, конечно, другим человеком становился и разговаривать начинал. Если на кого рассердится, то держись: все выложит. А если вспоминать начнет, то картину за картиной видишь, как кино крутит.

Одним из первых воспоминаний детства Валентина было, как в их Курееве проходила коллективизация. Пришли в их дом председатель колхоза Ваня Иванович с партийным секретарем ячейки и счетоводом со счетами, сели за стол, и председатель сказал маме пацана Валентина так:

- Пришла пора Степанида, расчет за год производить. Ты в колхозе работала?
- Работала.
- Триста пятьдесят один трудодень заработала?
- Заработала.
- Триста пятьдесят один умножить на шесть копеек за трудодень, итого ты заработала... А ну как прикинь на счетах, Федот. Что там у нас выходит итого? Счетовод постучал костяшками. Председатель Ваня Иванович искоса поглядел результат.
- Двадцать один рубль шестьдесят шесть копеек ровно. Молодец, Степанида, ты у нас в передовицах. На государственный заем подписываешься?
- А надо?
- Еще как надо, Степанида. На сколько подписываешься?
- На два рубля.
- Мало, Степанида. А я то уверен был, что у тебя сознательности на четыре рубля хватит. Ты же у нас передовица!
- Три.
- Четыре.
- Три.
- Четыре.

- Побойся бога, Иваныч. Чем детей кормить буду?
 - Хорошо. Пусть три. А ну ка прикинь на счетах, Федот. Что там у нас выходит итого? Счетовод постучал костяшками. Председатель Ваня Иванович искоса поглядел на результат.
 - Итого ты, Степанида заработала чистыми восемнадцать рублей шестьдесят шесть копеек. Это кредит. Хороший у тебя кредит, Степанида. Понимаешь особенность и неповторимость момента. Если так и в следующем году пойдет, фотографию твою сделаем и на доску почета приколотим. Теперь идем в дебет. Ты дрова на зиму из колхоза брала?
 - Брала.
 - Пятнадцать рублей. Корову к колхозному быку водила?
 - Водила.
 - Еще пятнадцать рублей. А ну как прикинь на счетах, Федот. Что там у нас выходит итого? Счетовод постучал костяшками. Председатель Ваня Иванович искоса поглядел на результат.
 - Итого ты, Степанида, должна колхозу одиннадцать рублей тридцать четыре копейки. Как расплачиваться будешь? Яйцами или трудоднями в счет будущего года? Мамочка, конечно в плач, – сказал Валентин, и вдруг замолчал. Потому что и сам заплакал. Он молчал, и мы молчали. А когда смог продолжить, продолжил.
 - Так и быть, Степанида, говорит председатель и вздыхает. – Только имей в виду: заем дело государственное, в долг на него не подписываются, потому как это ты государству свой долг отдаешь, а не оно тебе. Так что заем – яйцами или чем хошь, кровь из носу плати сейчас, а остальное, так и быть, на следующий год перепишем. Не злой он был мужик, этот Ваня Иванович – резюмировал Валентин, - Бывали и хуже. - И замолчал.
 - И это весь расчет за год работы? – ужаснулся я.
 - Все. А чего еще? – удивился Валентин.
 - Да как же вы жили то? – ужаснулся я.
 - А так и жили. Хлеба не было, а сухари сушили. В вечном неоплатном долгу перед родиной. И ее самой передовой формой - колхозом.
- А все-таки, как выжили то?
- Как выжили? Через преступление выжили.
- Какое преступление? Неужели батя сельсовет поджог к чертовой матери? – искушая, спросил я.
 - Бати к тому времени у меня уже не было. А я еще малолеткой был. Так что в нашей семье некому было сельсовет жечь. – сказал Валентин, как бы оправдываясь - В других было, а в нашей не было.
 - Так в чем же тогда преступление было ваше, которое выжить тебе позволило?
 - В чем, в чем. В яйцах.
- Да что это они у них всех проблемы с яйцами – не к месту подумал я – Вот и у Анатолия Михайловича тоже...
- Да как же это можно преступление совершить через яйца? Пасхальные яйца, что ли, красили, а атеисты увидели?
 - Да ну тебя... Маманя яйца от наших курочек продавала.
 - И все преступление?

- Ничего себе. За колоски с колхозного поля в Сибирь ссылали целыми семьями, а тут яйца! Такого страху натерпелись – до сих пор помню. Но ты, Федя, тогда не жил, тебе тот страх не понять. Страх ведь такая штука, что тот, кто на своей шкуре его не испытал, нипочем не поймет того, кто его помнит.
- Так что же, вы только с яиц и жили?
- Другим хуже было. А нам на хлеб с солью хватало.

А еще помнил Валентин, как годом или двумя раньше, когда отец еще жил с ними, он стоял над пороссящейся свиньей с топором и плакал. А как поросенок родится, так он его топором. А сам плачет. В смысле рыдает. Слезы руками по лицу размазывая, от чего на нем косые полосы оставались.

- Ну он и шуткарь, твой батя был - говорю. – По правде говоря, за такое дело, и сейчас бы, наверно, любой бы куда подале загремел. Ничего себе: колхозных поросят топором! Садизм какой!
- Каких колхозных? Своих.
- То есть как это своих?
- Обнаковенно.
- Постой, он что, рехнулся сошел от коллективизации, батя твой? Зачем своих поросят топором? Их бы ему откормить, а не топором рубить. Он что, не сельский, что ли?
- Сам ты не сельский. В тот год личный скот таким налогом обложили, что хоть помирай. Вот его и рубили при рождении, в присутствии всего начальства, чтоб подозрений в укрывательстве не было. Поросят, телят, козлят, всех рубили.
- А цыплят?
- А цыпленок не скотина.

Последнее замечание показало мое крестьянское невежество. И я дал себе слово помалкивать. Только представил себе, как при рождении живности собирается все начальство, как на крестины, и содрогнулся. Было в этом нашествии советских волхвов нечто эпическое, но, конечно, если из писания, то никак не священному, а из противоположного священному.

А еще помнит Валентин один день незадолго до того, как он непредумышленно зарубил председателя. Это при Хрущеве было, когда коров и лошадей в совхоз забирали в целях скорейшего перегона Америки по мясу, молоку, и яйцам (Яйца в воспоминаниях моих соседей по Берлоге фигурировали, по самым различным поводам, с рационально необъяснимой регулярностью, и в этом повторении было что-то сакральное).

- Пришли председатель с партийным секретарем и бухгалтером на мой двор –говорит Валентин – описали живность всю какая была, а Маньку из закута в колхозный хлев повели. Все бы ничего, а председатель, сволочь, хлопает меня по плечу и говорит: радуйся, говорит, Валентин, в колхозном хлеву твой корове лучше будет.
- Уводят, они, значит, мою корову, уводят они мою корову...

Пауза...

- Вечером пошел я к хлеву. Думаю, хоть услышу, как мычит Манька. Она ведь у нас как член семьи была, кормилица наша. Ее мычание я среди тысяч различу. И она...она... Больше Валентин говорить не смог. Потому что плакал. Вообще то трезвый он часто плакал. А пьяный только в исключительных случаях.

Одно могу сказать с определенностью: что по меньшей мере один раз в жизни Валентину действительно сильно повезло. С судьей, который квалифицировал его преступление как непредумышленное.

Больше о своей вольной жизни Валя мне ничего не рассказывал. О тюрьме рассказывал, а о воле – ни звука. Да я, честно говоря, и не спрашивал. Как то не по себе становилось от этих его мемуаров, знаете ли.

Вот Он Смысл Жизни

Иду как то средь бела дня по маршруту из ванны к себе, думая о чем то математическом, и внезапно слышу дикие вопли, доносящиеся из Райка. Прислушался: вроде визжат две женщины (на самом деле визжали три) и рычит мужчина. Поколебавшись, постучал. И не дождавшись ответа, открыл дверь. Глазам моим предстала Картина: три зайчики, скачущие по Жоре-Шкафу, а под моим взглядом застывшие в воздухе на полувисге, и сам Жора Шкаф, не лежащий на диване а – я мог бы в этом поклясться! – летающий над диваном. Что не мешало всей четверке подпрыгивать и трястись, как будто три женских члена коллектива были одним ковбоем (наподобие составленного из людей китайского змея), а Жора – мустангом, которого они оседлали. Потрясенный увиденным, я мгновенно захлопнул дверь Райка и прижался к ней снаружи растопыренными руками и ногами, так что вместе с ней стал похож на конверт.

Вечером, когда наоборот – из Райка, вопреки обыкновению, не доносилось не звука и мне стало тревожно, не произошло ли там трагедии или драмы, я постучал, и получив отрывистое разрешение, вошел. Шкаф лежал один на диване с мокрым полотенцем на лбу и безучастно глядел в потолок, ничем не показывая, что заметил мое появление. И только когда я собрался, пятясь, как рак, выйти тем же маршрутом – след в след – которым вошел, губы Жоры зашевелились и он, так же безучастно глядя в потолок, прошептал.

- Вот он...
- Кто он? – забеспокоился я, подумав, что парень напился до чертиков.
- Вот он... - повторил Жора, силясь что-то произнести, но губы не складывались.
- Да кто он? Я он? – попытался вернуть бедолагу к действительности. И зря.
- **ВОТ ОН СМЫСЛ ЖИЗНИ!** – сумел, наконец выговорить Жора. И этим своим замечанием привел меня в состояние транса, близкое к нирване. Как заворожил! *Остановись, мгновенье, ты прекрасно* – несомненно попросил бы Жора в эту минуту своего общего с Фаустом приятеля, если бы был знаком с творчеством Гете. Минуты через три (все движения, слова и мысли мустанга, которого только что расседлали, были чрезвычайно замедленны) он покосил на меня глазом не поворачивая головы (отчего сходство с жеребцом еще более усилилось) и прошептал:
- Ты, Федя, меня оставь. Сейчас со мной говорить без толку. А приходи ка ты завтра.

С половины десятого до одиннадцати я буду как стеклышко.

И опять уставился в потолок, как верующий в небеса. Очевидно, стараясь продлить мгновенье, ради которого стоило жить, как можно долее.

Страсти по Советски

Только на третий год моего пребывания в Берлоге понемногу, и не впрямую а по крупицам, восстановил я предысторию любовного треугольника с вершиной в Онегине. Вечно Веселая Тонечка познакомилась с Онегиным первой еще когда он был студентом. Она влюбилась в ярко окрашенного пацана и в первый же вечер отдалась ему, точнее взяла его, что не помешало ей, фантазерке, приводить к Онегину подружек. Которых она никогда не ревновала, и в этом, пожалуй, и состояла главная ее особенность. Узнав однажды, что Онегин изменил ей с лучшей подругой в ее отсутствие, Тонечка засмеялась и изрекла историческую фразу:

“Измена – это вообще ерунда!”

– которая, если вдуматься, делит мир человеческий на две неравные части.

Однажды Вечно Веселая Тоня пригласила в русскую баню свою подружку, невинную дотоле Аленушку. После бани Аленушка забеременела, и верная подруга уступила ей Онегина. Что, между прочим, воистину великодушно. А когда Аленушка в первый раз обидевшись на Онегина, взяла пальто и ушла в общежитие к Тоне, по обыкновению на прощание не сказав ни слова, подругам стало жалко Онегина, который лежит совсем один, и они снарядили скрашивать его одиночество Тонечку. Да так и пошло.

Тоня приходила как ни в чем ни бывало, с улыбкой, и так естественно, словно женой Онегина была она. Появлению же Аленушки обыкновенно предшествовал выход на лестницу ее дочки где девочка ее и встречала. Каким образом Ночная рубашка узнавала о скором приходе мамы, неясно. Возратясь к мужу, Аленушка проходила на кухню и сидела там, пока временно исполнявшая ее обязанности подруга торопливо собирала вещи, целовала Аленушку в одну щеку, Ночную Рубашку в другую и уходила - так же весело, как делала все.

Такие вот страсти. По ту сторону измены. Где, оказывается, имеется еще один мир.

Как Онегин Попал в Номенклатуру

Как-то с самых первых моих дней в Большой Берлоге повелось, что с Толиком и Витькой мы чаще пили в их комнатах, а с Онегиным – в моей. Обычно зимой мы начинали засветло, часов в пять. А тут вдруг заходит ко мне Онегин в неурочное время – часа в два дня, ни то ни се, ни опохмелка, ни начало большого запоя. В пальто и в шапке заходит. То есть как был. Сел и не снимает. И молчит. Только песню насвистывает о русских богатырях: “Где ж ты удаль молодецкая? Где ж ты удаль молодецкая? Где ж ты удаль молодецкая?” Вижу, в шоке пацан. Налил ему, разумеется. Привел в себя. И только потом “В чем дело?” – спросил.

- Надо обрыв проводов отметить, – отвечает.

- Каких проводов?

- Троллейбусных, каких же еще.

И опять наливает, на этот раз напевая:

- Где ж ты мудаль молодецкая? Где ж ты мудаль молодецкая? Где ж ты мудаль молодецкая? ”

А потом взял голову в руки и рассказал такую историю. Ехал он утром по Дворцовому мосту, само собой с бодуна (в этом он точно не врал). И в самый час пик отвлекся взглядом на проходящих по мосту на фоне петропавловской крепости столь же высоких и устремленных в небо девушек, как и шпиль, на который они проектировались. Пока он наслаждался этой картиной, достойной плейбоя, троллейбус занесло на снегу. Чтобы не сигануть с моста, да еще с пассажирами, Коля машинально повернул руль в сторону заноса, как приучил его шоферский рефлекс – и видит, что еще секунда и снесет его через поребрик с моста вместе с, как он выразился, “охуевшим троллейбусом”, от чего на том же автопилоте повернул руль в обратную сторону. Ни с кем не столкнулся, слава богу, и даже в воду, то бишь на лед, с пятидесяти метров не сиганул вместе с, как он выразился, “ебаными пассажирами”, только провода, те самые которые троллейбус сверху током снабжают, порвал. Как раз в том месте, где Дворцовый мост разводится на две половины.

- Да разве их можно порвать? – усомнился я.
- Можно – успокоил меня Онегин – С бодуна все можно. - И продолжал с гордостью от своей значимости. – Ты представляешь: перекрыть движение по Дворцовому мосту в час пик?! Почитай, главную артерию города, которую революционные рабочие по приказу Ильича брали в свои руки даже раньше чем почту и телеграф?!
- Ну и что же дальше было? - спросил я, наливая.
- А то и было, что троллейбус как раз поперек моста застрял. Ни тебе туда, ни тебе сюда. Причем не только мне, а вообще никому. Он ведь у меня длинный, с прицепом, мать его перемать.
- Ничего себе. А потом?
- А то потом, что начальство прибежало, как бобики. Начальник колонны стал оправдываться перед начальником куста, тот перед какими то хмырями в погонах и в штатском на черных волгах понаехавшими, а на меня начальника отдела кадров Кузьму Кузьмича, он же секреталь нашего парткома, напустили. Вначале Кузьмич такой суровый был:
- Ты – говорит с пафосом, как на собрании - нашему ордена Трудового Красного Знамени кусту и городу Ленина –говорит – нанесенный тобой ущерб до пенсии оплачивать будешь. И еще в тюрягу сядешь за саботаж. Павка Кончагин – говорит – за одно сломанное сверло из комсомола выгонял разгильдяев в шею и дальше по этапу до Магадана. Всего-то сверло было, и такие последствия! А у тебя, разгильдяя, даже поглядеть страшно чего наворотил! В гражданскую, при товарище Ленине, я бы тебя к стенке лично без разговоров поставил. И пристрелил бы вот этими моими руками. В затылок в упор. А при товарище Сталине я бы тебя в урановых рудниках сгноил – клянусь, сгноил бы. Ты не гляди что я в отставке. Я тебе и в наше светлое время, лет семь строгого режима организовать обещаю.

Так и говорит. И в глаза глядит, падла: страшно мне или не страшно? Но ты ж меня, Феденька, знаешь. Знаешь или не знаешь?

- Знаю – говорю.
- Вот то то и оно. Ты меня знаешь. А он не знает. Где думаю, наша не пропадала? Нигде наша не пропадала. А там, где наша не пропадала, там она не пропадет!
- Ты мне говорю, Кузьма, лапшу на уши не вешай и ответственность на меня с себя не перекладывай. Не выйдет!

От от такого нахальства даже полезел. Молодецкой мудали он от меня не ожидал.

- Это за что ж, – говорит – ты на меня ответственность за свое преступление, сукин ты сын, перложить пробуешь? Ты что, дитя малое, несовершеннолетнее?
- А за то ответственность, - говорю холоднокровно, - что, начальник наших кадров и по совместительству парторг, а значит и меня лично, не проверив, трезвый я или нет, как положено по инструкции, выпустил меня в пьяном виде на трассу. Халатно пренебрегая ... пренебрежа... пренебрегнув своими обязанностями. Ты ведь нам всем вроде как отец, сам не раз похвалялся. Вот как отец ответ и будешь держать за потерю бдительности и всего остального.

Он как побагровеет. Ну точно хамелеон: из серой краски в оранжевую.

- Сейчас же, говорит - пиши объяснительную. а потом с тобой будут говорить соовсем другие люди и соовсем в другом месте.

И ненавязчиво указывает на крышу Большого Дома, маячущую по-над городом. И бумагу мне в руки сует. Пиши мол на себя телегу, Онегин. А я ему в лицо как рассмеюсь! Нет ты видел такого дурака? Нашел кому угрожать! А потом вынул у него без спроса из кармана пиджака авторучку и написал довольно расслабленно.

*В: Ленинградский Областной Комитет
Коммунистической Партии Советского Союза
От: Шофера Второго Троллейбусного Парка
Товарища Онегина*

Настоящим сообщаю что находясь в пьяном виде и с бодуна чуть не съехал с Дворцового моста в воду в результате снежного заноса вызванного неподготовленностью трассы Мгновенно сориентировавшись в обстановке я немедленно повернул руль в соответствии с циркуляром В результате моих героических усилий пассажиры не упали с моста в воду вместе с сверенным мне троллейбусом Однако, поскольку я был под большим градусом и не соображал что делаю, а также по объективным обстоятельствам указанным выше управляемый мной троллейбус вышел из повиновения и порвал провода питания высоковольтным током перекрыв тем самым движение на одной из главных транспортных артерий города Дворцовом мосту в час пик.

С уважением.

Водитель Онегин. Подпись. И дата.

Написал я эту телегу якобы на самого себя, и даю, как бы потупясь, Кузмичу. Без разговоров и комментариев. А тот, дурак, не читая, начальнику куста, передает. А тот какому то мужику с зелеными погонами, как я догадываюсь, нашему куратору от КГБ. И слова то какое выдумали: куратор, мать их... Ну, а куратору этому в штатском делать не фиг, елико в технике он не смыслит и в починке проводов может принимать только общевдохновляющее участие. Стал он читать от не хуй делать мою телегу чтобы продемонстрировать занятость. Гляжу – глаза у него на лоб лезут, до того, что он даже моргать ими начал, такой у него от моего опуса начался тик. Дает молча бумагу назад нашему начальнику парка, тот Кузмичу, и я вижу, что всем им делается все хуже и хуже. Кузмич, например, из розовенького стал весь багровенький, как закат, а потом побелел, так что на его фоне написанная мной бумага стала казаться сероватой. Он так

орал и так матюгался , что Медный Всадник слез бы с коня и заткнул бы уши если бы ожил. А потом вдруг враз успокоился – у них, партийных старой закалки, выражение лица меняется скачком. Как на луне ночь сменяет день, без плавных переходов:

- Ты говорит, – пиши другую бумагу. Сейчас я тебе продиктую. А это говорит – при мне порви. А то, говорит, уволю тебя к чертовой матери.
- Фиг я тебе, Кузьмич, напишу то что тебе нужно,- говорю. – Я напишу то, что мне нужно.

Первую бумагу с их отпечатками пальцев я к себе во внутренний карман положил, а на предложенном мне втором листе написал новую телегу. Покруче первой.

*В: Комитет Государственной Безопасности
Союза Советских Социалистических Республик
Копия: Генеральному секретарю ЦК КПСС
Товарищу Леониду Ильичу Брежневу.
От: Шофера Ленинградского Троллейбусного
Парка товарища Онегина*

В связи с тем, что я вел троллейбус находясь в сильно пьяном виде и с бодуна и будучи в результате преступной халатности руководства незаконно допущен к вождению вопреки имеющимся циркулярам я вместе с вверенным мне троллейбусом чуть не съехал с Дворцового моста через реку Неву Спасая жизнь вверенных мне пассажиров, я опять таки героически повернул руль в обратную сторону но поскольку был под большим градусом и не сообразил что делаю а также из за неподготовленности трассы к гололеду троллейбус порвал высоковольтные провода перекрыв движение на одной из главных транспортных артерий города Дворцовом мосту как минимум на полтора часа В связи с вышеизложенным требую:

А уволить меня по собственному желанию как не справившегося с управлением

Б выяснить почему одна из главных артерий города была не подготовлена к зиме

В принять меры к выяснению причин по которым руководство троллейбусного парка своевременно не отстранило меня от работы

*С уважением
Водитель Онегин
Подпись. И дата.*

На этот раз Кузьмич прочитал все сам, и даже три раза подряд. А потом зацепил:

- Я тебе покажу собственное желание. Я тебе покажу как Генерального Секретаря нашей Родной Коммунистической Партии из за говна ебаного тревожить. Я тебя уволю, а не ты себя уволишь.
- Все верно, Кузьмич – говорю расслабленно, - кроме одного: не ты меня уволишь, а я тебя уволю.

Тут Кузьмич хватается за сердце и опять белеть начинает. Опять бежит он к начальству, как бобик, и опять мою бумагу им под нос читать сует – вот мол!. Тут начальника парка

хватает уже настоящий удар, то есть оно падает как подкошенное и его увозят на скорой помощи приехавшей по вызову заранее и два часа прохлаждавшейся без дела. А ко мне подходит начальник куста и говорит: слушай говорит, Коля, давай договоримся по хорошему. Ты, я вижу, парень образованный, смысленный. Наш парень. Таких, как ты, надо двигать вверх. Я тебе, - говорит – за твой геройский подвиг по спасению пассажиров премию дам и категорию повысю, - договорились?

- Ничего не договорились, говорю, начальник. Ты мне премию. А я тебе что за эту говняную премию? – спрашиваю подозрительно.

- А ты мне ничего.

- Ну, ты только не заливай. – говорю. – Не на луне живем.

- Клянусь, ничего. В смысле не делай ничего. Не пиши, не объясняйся, отдыхай от потрясения. И все. Посиди дома на бюлетене недели две в тиши. И не поднимай хипеша. А больше ничего.

- А я говорю:

- Фиг ты у меня премией отделаешься, начальник. Малой кровью откупиться хочешь!

- А ты чего хочешь? Тебе чего надо?

- Эх, начальник, - говорю с состраданием, - если б я знал, чего мне надо, думаешь я бы крутил у тебя баранку? А вот чего хочу, это другой вопрос. Это вопрос генеральной линии жизни. Во первых, отоспаться хочу. Во вторых, опохмелиться хочу. И отдохнуть от вас от всех, в третьих. А то я от вас устал. Это для начала. А чего вообще хочу, я тебе потом скажу. Когда сочту нужным.

И ушел. И оставил их всех там кувыряться друг перед дружкой.

- А потом что было?

- Как что было? Вот к тебе пришел. Даже пальто не снял.

- А бумага с их отпечатками где?

- Телега? Да вот она. Читай, Федорович. А я пойду отсыпаться. И заруби себе на носу: если уж падать, так вверх!

- Если уж падать так вверх! – машинально повторил я дивясь простоте и универсальности этой формулы.

Мне показалось, что, не смотря на похвальбу, Онегин ушел спать не совсем спокойный. И его можно понять. Даже Наполеон во время битвы держал себя хладнокровно на удивление потомкам, зато после того, как очередной враг был разбит, по слухам, до того нервный становился, что даже приказы о награждениях подписать толком не мог; подпись его до неузнаваемости менялась, настолько рука дрожала. Так что сравнительно с Наполеоном Коле после выигранной баталии держался ну просто великолепно.

Я прочитал лежащую на столе *Телегу на Самого Себя*. Так и было написано, как цитировал Онегин. Слово в слово. И это было поразительно. Сократ произнес речь в защиту самого себя. И не помогло. Заставили цыкуну принять. А этот – поклеп на самого себя. И не просто помогло, а более чем. Можно сказать, что в номенклатуру попал человек. То есть в небожители. Которые, как воздушные шарики, висят каждый на своей высоте, и опуститься на землю не смогут ни под каким видом и никогда. То есть им суждено вечно в небесах перемещаться. Что говорит о том, насколько далеко вперед мы от Древней Греции учесали.

Через несколько дней Онегин получил благодарность и назначение начальником колонны *“За героические действия, приведшие к спасению техники и людей в непредвиденной аварийной ситуации связанной с гололедом”*.

А Телегу на Самого Себя, которая вознесла Колю (хотя и ненадолго) до должности, откуда до номенклатуры рукой подать, я и по сей день где-то храню. Как образец молодецкой мудали. Которая берет не только города, но и вообще все.

Да Здравствует Тонечка Организатор и Вдохновитель Всех наших Побед

Над Ней

!

Приходит как-то Вечно Веселая Тоня в настроении прямо таки залихватском и не говоря ни слова кладет на стол удостоверение. Читаю и глазам не верю. На обложке написано: Обком Комсомола.

Тут все разинули рты. Особенно Толя. Он так и сказал.

- Нам только такой херовины не хватало.

И плюнул в раковину.

Впрочем, странным это показалось не только Толе. Как так? Наша Вечно Веселая Тоня зовет и будит молодежь? Да именно зовет и будит. А то, как именно произошел этот ее взлет, служит несомненным доказательством правоты марксистского тезиса о роли личности в истории.

- Положили – говорит Вечно Веселая Тонечка - к нам одного очень высокопоставленного лица. Фамилии называть не буду, но чтобы вы понимали - из первой пятерки в городе. И я ему приглянулась. Когда укол в ягодицу делала. Да чего там, запал на меня мужчина. В общем туда сюда, когда его выписывали, этот высокопоставленное лицо зовет меня на прощание, благодарит и говорит с идейными интонациями:

- Ты, Тонечка, девушка передовая, рекомендации на тебя самые положительные. И руки у тебя умелые, и по всем остальным параметрам передовица. Как ты смотришь на то, чтобы я тебя перевел работать в Смольный?

- Кем? – спрашиваю старого пердуна. – Любовницей?

- Зачем любовницей? Нет такой штатной должности – любовница.

- А кем же тогда?

- Инструктором в обком комсомола, – отвечает высокопоставленный с идейными интонациями. – Там как раз нужны молодые кадры, с задором и огоньком. А ты как раз по требуемым параметрам удовлетворяешь. И по огоньку, и по задору. И опять же, ко мне поближе.

Я вначале не поверила. Только отшутилась. Потом какие-то анкеты заполнила между уколами. А вот сегодня присылают за мной прямо в стационар черную Волгу, открывают дверцу, сажают на заднее сидалище, везут к Смольному и завозят в монастырь, где в кельях сидят не монашенки, и не благородные девицы, пришедшие им на смену, а комсомольские работники. И после недолгих разговоров о партии большевиков и досуге молодежи выдают мне это удостоверение и стол в кабинете. А

потом все вместе едут в финскую баню. Отмечать событие. В обстановке товарищества и взаимопонимания между членами коллектива.

Так Вечно Веселая Тонечка стала комсомольской работницей. Ведь для того чтобы окрылять и поднимать молодежь, образование не требуется. А что то совсем другое. Чего у Тонечки было, несомненно, в избытке.

Поединок с Покойным

Однажды я показал Толику в альбоме по истории искусства фотографию терракотовой ложечки, изваянной уж не помню в эпоху какой династии древнего Египта, функциональный конец которой был выполнен в виде ракушки, а ручка представляла собой изваяние обнаженной женщины. Толя воспринял этот вошедший в антологию мирового искусства шедевр, опередивший на тысячу или более лет миф о рождении Афродиты Греческих мифов, как вызов, сделанный лично ему. То, что между ним и древним мастером лежали тысячелетия, для Толи не имело никакого значения: “Искусство не имеет ни прошлого, ни будущего, а только вечное настоящее время” – объяснил он. Он попросил у меня альбом (не навсегда, на время) и несколько дней не выходил из Тайги – только пил и работал. И вот, как сейчас помню – в пятницу, раскрывается дверь моей Берлоги - и торжествующий Толя кладет на стол точную копию древней ложечки, выполненную, даже более искусно, чем прототип, насколько о прототипе можно судить по его фотографии. Теперь эта ложка царит в моей коллекции ложек Толиной работы, как Мона Лиза – в Лувре.

Поддержание Эмоциональной Формы

Иду я как то в Берлогу по лестнице вверх и вижу между ее пролетами, недалеко от окна, очевидно, чтоб светлее было, сидящего на корточках Ивана Александровича с маленькой клеткой из зоомагазина, в каких снегирей держали, поставленной на ступеньку. А на клетку здоровенный котяра свирепо накидывается, и при этом даже не мяукает, а шипит. Подхожу ближе и вижу: в клетке не птичка сидит, а мышка посажена. А Иван ибн Александрович то приоткроет дверцу, то закроет. То приоткроет, то закроет. Кот в дверцу кидается и когти выпускает, но морду просунуть не может. Лапой пробует дотянуться – а Иван Александрович не дает, в последнюю минуту его шилом по лапке колет и дверцу закрывает. Мышка пищит, котяра рычит, когти скрипят по железу, а Иван Александрович, как верховный фемида, переводит глаза с кота на мышку и обратно, и в них, в глазах этих, поблескивает какое-то особенное выражение.

- Слушайте, Иван Александрович, вы бы перестали – говорю немного даже невежливо. – Это же садизм какой то. Несчастную мышку того и гляди инфаркт хватит.

А если тебе страшно, не смотри! – очень серьезно сказал надзиратель на пенсии. И продолжал свои профессиональные опыты.

Хатха Прана

Звонит мне, если не ошибаюсь, в четверг, веселый приятель Гаврик и говорит: Привет, Фердыщенко. У тебя хата свободна? У меня тут есть три телки. Груды – атас. Ноги – колонны. Может ты их раскачаешь?

- Что это ты вдруг в нашу компанию скромников затесался? – говорю – откуда это вдруг в тебе скромность проснулась?
- Да понимаешь, - говорит, - они с придурью. На мистике помешаны. Гадают на чем попало. Никак не зацепить. Такие старорежимные – словно только что из пансиона благородных девиц вылупились. Часики и то снять с себя не дают, не говоря уже о всем прочем. Так что одна надежда на тебя.
- Да почему же именно на меня?
- Потому что ты человек спонтанный, непредсказуемый. А девушки непредсказуемых любят. Из которых подсознание выпирает. Я где то читал, что солдатам, которые совсем русского языка не знали, девушки, и даже студентки филологического факультета, отличающиеся особым снобизмом, отдавались намного легче, чем кому бы то ни было.
- А если короче?
- Короче я в тебя верю.
- Ладно – говорю – если с девушки, как ты говоришь, с перспективой, то тащи. Хотя, я, скажу честно, в ноябре по девушкам не любитель. Я человек русский, а значит, сезонный.

Повесил трубку и в ожидании веселого Гаврика стал прибираться помещение, вспоминая, что и самого Гаврика никак нельзя назвать чрезмерно застенчивым. Приведу два примера. В доме отдыха театральных работников в Комарово во время студенческих каникул, где его, приехавшего ко мне в гости технаря никто не знал, веселый Гаврик, увидев множество красивых, но малодоступных девушек, подумал, подумал, и представился... геникологом. После чего выгнал меня из нашего номера и устроил в нем что-то вроде лечебного кабинета, в котором роль гинекологического кресла выполняла кровать. После этого веселого розыгрыша (в котором разыгрывались не выигрышные номера а их обладательницы) он остался в доме отдыха до конца каникул, переходя из номера в номер, и впоследствии делился впечатлениями от впечатлений.

- Ведь что интересно – говорил веселый Гаврик, заканчивая рассказ о своем хождении по номерам – Оно не просто сползло, как по Жванецкому, а со всех сразу!

Второй случай произошел с веселым Гавриком, (который, кстати сказать, ныне руководит одной из религиозных общин. Что, если смотреть на мир оптимистично, говорит не о беспредельности человеческого цинизма, а скорее о том, насколько люди могут меняться) когда он уже поселился настолько, что ездил на автомобиле, но еще не настолько, чтобы его возил шофер. Однажды мой веселый друг Гаврик спросил, нет ли у меня знакомого мастера который работал бы на станции обслуживания *Жигулей*. Я направил Гаврика к всемогущему приятелю, специализировавшегося в автоцентре на балансировке колес. Благо в России правильно послать – половина дела.

- Сегодня лучше к мастеру не ходить. – сказал балансировщик, после того, как веселый Гаврик сообщил от кого он. -

- А что так?
 - неподходящий момент.
 - А почему? Случилось чтонибудь?
-

- Да, случилось.
 - Так может, ему помочь можно?
 - А чем тут поможешь? Трипак он подватил. Ну как? Остыл?
 - Надо же такое совпадение, – промолвил веселый Гаврик. - А я как раз венеролог!
- Тут специалист по балансировке оторвал свой взор от колеса и устремил его на Гаврика.

Немая сцена.

- Ты? Венеролог?
- Я.
- А ну пошли.

И через пару минут Гаврик был представлен очень мрачному человеку, которому балансировщик колес что то прошептал на ухо.

- Этот? – спросил мрачный человек, не вполне вежливо ткнув в грудь веселого Гаврика пальцем.

- Этот, – кивнул балансировщик.
- С тобой, что ли, неприятность? – спросил Гаврик, перехватывая инициативу и придавая разговору активный ритм.
- Да вот...
- Ты только не паникуй заранее. Похожие симптомы бывают от многих причин. Например, человек думает что ему на неподходящем месте засос поставили, а у него сифилис. И наоборот. Знаешь что в этой жизни главное?
- Что? – переспросил мастер, как баран.
- Не поставить себе диагноз раньше начала заболевания, вот что. У тебя стакан есть?
- Зачем стакан?
- Бери и пошли.
- Куда пошли?
- В сортир.
- Чего я там забыл?
- Посцишь. А там посмотрим.
- На что посмотрим?
- На мочу. Ну и еще кое на что.
- У тебя что, приборы в багажнике? Частная практика на дому? – спрашивает баран-мастер.
- У меня десять лет опыта. – ответствовал Гаврик веско.
- Тогда пошли, - говорит мастер, как баран, и идет, бросив все.

Пошли они. А когда пришли, мастер кое-что вытащил и более того: показал! Веселый Гаврик осмотрел это кое-что со всех сторон молча, не прикасаясь. Покачал головой. И протянул стакан. Баран-мастер хотел было по привычке налить в стакан воды из крана и выпить, на полпути вернулся из мира иного мыслями и стал наполнять сосуд другим способом. А когда наполнил, веселый Гаврик взял стакан из его рук. Покачал.

Посмотрел на свет, изучая. Опять покачал, на этот раз головой. Немного отлил в умывальник, как бы изучая цвет и консистенцию струи. Потом опять покачал. Потом выплеснул в унитаз. Вымыл руки мылом. И сказал буднично.

- Ты здоров.
 - Как?
 - Ты здоров!
 - Но уже четвертый день...
-

- Ты здоров.
- У меня вроде бы все симптомы...
- А у меня десять лет опыта. Поздравляю. Иди и живи.

Тут мастер издал победный клич индейцев из племени Делаверы, и на радостях понесся в цех, как бешеный конь, где первым делом приказал пропустить машину его лучшего друга (и личного, о чем он добавлял шепотом, врача секретаря обкома) вне всяких очередей, поставить ему все дефицитные запчасти, а если чего нет на складе, то снять с новых машин, стоящих на диагностике, а на них поставить снятые с Гавриковой тарактелки.

Все было хорошо. Примерно дня два. А на третий ко мне звонит разъяренный балансировщик: “Ты, Федя, бляхамуха, кого ко мне прислал?”

Оказывается после того, как баран-мастер вынужден был таки пойти в диспансер и поставленный им самим себе диагноз *триппер* подтвердился, он бегаёт по всем центрам обслуживания в городе и области и ищет этого самозванного венеролога по приметам. Потому что номер жигулей Гаврика на радостях записать не удосужился.

- Ты кого ко мне, бляхамуха, прислал? - повторил балансировщик колес печально. Только спустя много лет стало ясно, кого я прислал.

Святого человека.
Преуспевающего бизнесмена.
Руководителя одной из религиозных общин.

Пока я предавался воспоминаниям, в дверь раздался звонок. Шесть раз. Ко мне, стало быть. Гашу свет. Зажигаю свечу. И направляюсь к входу в Большую Берлогу в самом хорошем расположении духа, решив, что буду импровизировать по ситуации. Заходят Гаврик и три крупные девушки с действительно ну очень большими молочными железами, или, как тогда говорили студенты, выменами. Лица у всех трех были надменные. Немного поколебавшись, я включил фламенко в интерпретации Пако де Лучии и скромно сел на пол поодаль приняв позу лотоса. Веселый Гаврик посидел минут пять, зевнул, и решив, что мой подход к женщине обречен на полный провал, извинился и исчез не-по-английски, то есть не только попрощавшись, но сверх того и поцеловав каждую девушку в щечку.

Еще хорошо что не в грудку, – подумал я. – А то бы совсем изгадил чистоту эксперимента.

- Вы бы не могли проводить меня до кухни? – сказала самая выменитая девушка, как только мы остались вчетвером.
- Вы уверены что вас надо проводить именно именно до кухни? – несколько церемооно переспросил я.
- Абсолютно. Мне надо нам кофе приготовить.
- А может, я сам приготовлю? Глядишь – за одно и кофе попьём? – так же сурово предложил я.
- Для гадания нужен специальный рецепт. Индейцев майя. Непосвященные такого кофе не приготовят и за сто лет.
- Ах вот оно что, - подумал я...- Вот куда ветер этих птиц дует...

Гадание на кофейной гуще прошло успешно и сменилось гаданием по руке. Потом на картах. Обгадываемые смотрели гадательнице буквально в рот и ловили каждое ее

слово. Да так, что я позавидовал и приревновал. А потом призадумался. И на меня напал один из тех приступов безудержного веселья, которым я был так славен среди студентов с ранней молодости.

Вспомнилось мне почему то, как друзья из Заслуженного коллектива филармонии пригласили меня на концерт московского дирижера Си. Которого оркестр не любил и обещал устроить скандал, а какой именно – не сказали. Он должен был быть сюрпризом и разразиться внезапно. Присутствовать при утонченной музыкальной мести пригласили друзей. В том числе и меня, поскольку я якобы обладал абсолютным слухом, и вообще отец русского фольклера. И чтобы я пришел наверняка, дали самые блатные места – в проходе в шестом ряду. По такому случаю я пригласил Верочку, одел галстук бабочку и смокинг. Оставшийся у меня с тех времен, когда в молодости я бацал джаз на роле.

Сiju. Слушаю Дебюсси и Равеля. Оркестр звучит великолепно. Возможно где-то восьмая скрипка в оркестре под управлением Си. и взяла вместо си си бемоль в порядке отмщения, но я этого не услышал. И вот заканчивается отделение. И наступает момент, когда дирижер по традиции поднимает оркестр. И вдруг я вижу, не веря своим глазам, что Си. вместо того, чтобы повернуться к музыкантам, поворачивается к залу. И делает плавное движение руками вверх, как бы поднимая его. Глядя не на оркестр, а на тех, для кого он работает. И получилось как в сказках, но с точностью до наоборот: повернись к оркестру задом, к залу передом. Зал бывшего дворянского собрания замер от неожиданности. Вставать, разумеется, не выждав, пока стихнут аплодисменты, никто не собирался. В филармонии это было очень дурным тоном и сразу выдавало случайно забредших. Оркестр тоже растерялся и остался сидеть. Судя по всему, в этом невставании и состояла его тонкая месть. До того тонкая, что ее поймет не всякий и не сразу.

На размышление у меня было не больше полсекунды.

“Что он делает, безумец? Неужели такой рассеянный? Скорее совсем наоборот, боится, что музыканты не встанут когда он их поднимать станет. И чтобы не было позора, на всякий случай повернулся к оркестру спиной. Дескать если не встанет, так не очень то и хотелось.”

Все эти мысли пронеслось в моей голове мгновенно, как смерч. И, не очень даже обдумав свои действия а на рефлексе, как на рефлексе тормозит автомобиль опытный шофер, увидев что едет в столб, я, как бы под действием рук дирижера, медленно встал, поправил галстук-бабочку и сдержано, но с большим достоинством поклонился. Сначала оркестру, потом, обернувшись, залу. Придавая жесту дирижера логичность и завершенность. То есть получилось что он попросил встать меня. Но встал я так скромно и неоднозначно, что при желании можно было это интерпретировать и так, что человек, прежде чем выйти в буфет, перемигивается с друзьями.

Однако зал мое вставание воспринял иначе. Как я того и хотел. Потому что вдруг, как по мановению волшебной палочки – впрочем, что это я такое говорю? Именно ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКИ вспыхнули бурные овации. Причем все смотрели не столько на дирижера Си., и даже не столько на оркестр. сколько на меня одного. Что было особенно очевидно в первых пяти рядах, которые аплодировали, повернувшись к оркестру и его дирижеру спиной. Так как если бы они были хором и исполняли кантату. Еще бы: добрая половина зала решила, что в зале присутствует автор. Боковым зрением, которое внезапно стало панорамным, я увидел

сотни восторженных лиц, обращенных ко мне одному. Скажу честно: такого триумфа я не ожидал. Да и Дирижер Си. мог о подобном только мечтать.

Услышав бурные аплодисменты, оркестр принял их в свой адрес и встал за спиной дирижера. Скрипачи принялись барабанить смычками по пюпитрам. Барабанщик – барабанными палочками друг о друга. Так что эпицентром триумфа и бури овиций был я и только я.

Месть оркестра в тот вечер была то ли отложена, то ли не удалась. Состоялась ли она вообще, да и был ли вообще когда либо еще концерт дирижера Си. с заслуженным коллективом, сказать с определенностью не могу.

В антракте же меня окружила стайка поклонниц. Самая бойкая из которых спросила: “Товарищ Равель, можно автограф? ”

Интересно, что моя музыкальная слава надолго пережила тот вечер. И много лет спустя ко мне подходили застенчивые девушки и филармонические старушки и просили расписаться на программке концерта. И потом пристально разглядывали подпись. Пытаясь прочесть, кому она принадлежит. То есть они запомнили, что я кто-то очень знаменитый, но не могли припомнить, кто именно.

И еще вспомнил я, что в кармане у меня лежит удостоверение с моей фотографией, выписанное на имя Эрих Мария Ремарка. И опять таки она появилась в результате приступа бесшабашности. Когда я брал очередную проездную карточку на проезд до Репино, то, наблюдая за тем кто стоял впереди меня, отметил, что проездной с фотокарточкой выдают без предъявления каких либо документов. Sapientia sat! Когда подошла моя очередь, на вопрос кассирши: Имя? Я твердо сказал: - -

- Эрих.
- Отчество? – равнодушно задала женщина следующий вопрос.
- Мария.
- Мария... – Записала святая простота, и подняв глаза, спросила:
- Что это за отчество такое, Мария?
- Испанское отчество – ответил я не моргнув глазом. Чем и удовлетворил даму.
- Фамилия?
- Ремарк.
- Что-то мне ваша фамилия знакома, – сказала кассирша, выдавая карточку. – Вы случайно не композитор?
- Случайно нет, – соврал я. И в течение многих лет показывал эту, уже замусоленную карточку, всем подряд как зримое доказательство того, что в нашей стране нет ничего невозможного.

Когда же на следующий квартал я попробовал по той же схеме взять удостоверение на имя Вольфганга Амадея Моцарта, номер не прошел.

- Так он же вроде, умер! - усомнилась кассирша, уже записавшая было имя и отчество в проездной билет. И подозрительно посмотрела мне в лицо, сравнивая его с данной ей фотографией. Я дрогнул и не стал убеждать дотошную женщину, что я Амадеус и что я жив. Из суеверия не стал а не из-за того, о чем вы подумали. Потому что вспомнил о лекции по психиатрии в сумасшедшем доме Скворцова-Степанова, где на сцене спорили два Моцарта о том, кто из них более Моцарт, и решил не дразнить судьбу. Так или иначе, следующие три месяца я ездил на работу под компромиссным именем Вольфганга Амадеусовича Тыкова. Что, конечно, с точки зрения Остапа

Бендера не было бы аферой достойной великого комбинатора. Но и совершенно бездарным розыгрышем назвать эту раблезианскую забаву тоже нельзя.

- Хотите, я и вам погадаю? – спросила выменитая гадательница, оторвав меня от бесшабашных мыслей.
- Да я, признаться, предпочитаю гадать сам, – отвечаю, не выходя из позы лотоса, и лишь склоняя голову, тем самым погрузив глаза в глубокую тень.

Девушка вздоргнула.

- А вы гадаете?
- Ну разумеется. Все йоги гадают.
- А вы йог?
- И не только.
- Что значит не только?
- Черный пояс карате. Лиловый пояс конфу. Путь обезьяны.
- Ой, как интересно. И на чем вы гадаете? По руке? По картам?
- Ну что вы. Рука это экзотерическое баловство для начинающих. А карты вообще для казино. Есть куда более утонченные способы проникновения в зазеркалье. Которым учат брахманов в Индии и отчасти в Непале.
- Вы что? Были в Индии?
- Два года изучения хатха-праны в буддистском монастыре. Год карма-сутры. И три года йоги в джунглях под руководством ботхисатвы.
- И что же это за методы?
- Эсотерика.
- А что это такое? Расскажите. Так интересно!
- Эсотерические методы – значит совершенно секретные, в переводе на русский. То есть только для посвященных.
- А если мы вас очень попросим... Очень очень...

И на меня поглядели три пары прелестных глаз, и руки моих не то одалисок не то боядерок молитвенно сложились перед сочными грудками, на индийский манер. Боже, как высокой я пал!

- Так и быть – говорю. – Кто первая?
- Я. – сказала та, у которой грудь была больше всего.
- Покажите ка мне ... ваши ... глаза.

Я посмотрел в прелестные напуганные глазки твердым взглядом, направленным точно между бровей, а затем в оба глаза попеременно, от которого у меня засыпали на сеансах аутотренинга, который я преподавал между прочим на придуманных мной некогда курсах развития интеллекта. Когда это произошло в первый раз, и при погружении в себя под моим председательством одна доцентша заснула и не проснулась, я сам до того испугался, что не сразу понял, что владею искусством владеть человеком. По сути вести за собой. Поднимать и погружать, погружать и выводить. Потом, впрочем, привык и стал более осторожен с этим своим даром. Взгляд у меня, надо вам сказать, дай бог каждому. Как говорят те, кто от него засыпает и отрубается.

Зрачки у девушки, между тем расширились. Я осмотрел ее всю, бурно дышащую, и она вся была как на ладони. Боже! Да это же так просто, гадать вот таким открытым миру юным созданиям, распускавшимся каждый день, как незабудки.

- Вы только что расстались со своим возлюбленным и ждете новой любви, – сказал я потусторонним голосом – в мае у вас была бурная страсть кончившаяся охлаждением и походом к невропатологу. И теперь вас ждет дальняя дорога и хлопоты.
- А к чему все это ведет? – с надеждой спросила красавица, замерев.
- К браку. За которым последует развод и другой брак. – без тени сомнения прорек я.
- Все правда. Все! – воскликнула девушка. И на ее место немедленно села та, которая гадала другим.
- Мне так давно никто не гадал, сказала она как бы извиняясь. - Все я да я, а мне никто. А вы мастер. При вас мне и карты то разложить стыдно.
- От вас исходит сакральная аура, – сказал я веско, как бы трогая оболочку вокруг грудистки. – Пробыться через которую можно только эзотерическим методом. Снимите чулки.
- Зачем это?
- Если будете задавать вопросы, вы этого никогда не узнаете. – ответил я аббракодаброй, и, отвернувшись от гадаемой, стал попеременно проводить ладони со скрещенными средним и указательным пальцами над свечей, бубня себе под нос что то, на русскоязычный слух отдаленно напоминающее махабхарату.
- Лягте на стол – произнес я, не оборачиваясь. Только сначала постелите на него покрывало – приказал я двум другим одалискам, указывая на постель. (Ляжет или не ляжет? Легла, кажется).

Я обернулся. Девушка лежала вытянувшись и закрыв глаза, тогда как другие две сидели на стульях с прямыми спинками и смотрели на нее, словно в анатомическом театре. Я поднял юбку гадаемой намного выше колен и поднес к упругим ножкам свечу. Капнул воска, от чего она вздогнула. Растер его. После чего стал разглядывать колени, на которых, к моему удивлению, и в самом деле обнаружил множество линий. Я сосредоточился и стал размышлять вслух.

- Так... Посмотрим. Судя по линии расстроения, у вас некоторое время назад был нервный срыв. Который до сих пор не проходит. Не так ли?

Ленинградская сивилла кивнула, не открывая глаз.

- Вы порывисты, страстны в любви и дружбе, склонны к непрактичности и внезапным переменам. Идя куда либо, вы не знаете, где окажетесь, более того: не хотите этого знать. В прошлом месяце у вас было серьезное увлечение, впоследствии оказавшееся мимолетным.
- Ошибка. Я замужем и ничего у меня не было. – сказала тестируемая, подняв палец.
- Было, было, Галя, ты же сама знаешь что было. Так зачем врать? – укоризненно сказала та, будущее которой я уже так успешно угадал по глазам. – Смотри. Судьба рассердится.

Я был приятно поражен узрев, что блок девушек расколот и в нем у меня уже есть союзники.

- Вас ждет развод. Потом рождение ребенка. Новый брак. Новый развод. Дружба с первым мужем и дальняя дорога.
- Очень дальняя или не очень дальняя? – спросила лежащая.
- А вот этого я вам не скажу. Для этого требуется более глубокий анализ. И смелость.
- А это опасно?

- Любой запрос в потусторонний мир сопряжен с долей риска, - ответил я уклончиво.
- Давайте, давайте, я очень хочу знать.
- Почему все ты. Теперь я, – намнила о себе третья девушка, у которой были самые большие щеки.

Спектакль, который я сам же и ставил, получался довольно мистическим, так что мне стало от него чуть-чуть не по себе.

- Ну так кто следующий? Решайте сами.
- Я. Я. Я – три раза повторила третья, как бы заикаясь и поспешно снимая чулки. – под вашим взглядом еще не была, не была не была.
- Хорошо. Пусть вы. Разденьгесь до пояса.
- Сверху или снизу?

Отличный вопрос! – подумал я.- Лед тронулся, господа присяжные заседатели.

- Выше талии. Ниже пока не надо. Сейчас мы займемся одним из наиболее древних и надежных гаданий – гаданию по груди. Тайна этого эзотерического гадания пришла из крито-мекенской культуры но была на тысячи лет утеряна. И только недавно, с нахождением и расшифровкой книг о эвлевсинских мистериях они были восстановлены в святилище на острове Делос и раскрыты одиннадцати посвященным. А от каждого от них еще одиннадцати. Итого ста тридцати двум.
- О боже, какую околесицу я несу! – с ужасом подумал я, не меняя таинственного выражения, застывшего на моей физии. И посмотрел на красавицу. Она стояла в трусиках и колготках на высоком каблуке, готовая на все, чтобы узнать свое будущее. О боже, как тонок слой цивилизованности, – подумал я с грустью. – Как легко проникнуть сквозь него если не прямо, то в обход. И какая у нее крепкая грудь, – проговорил я внутренним голосом в заключение ни к селу ни к городу. Что впрочем, по большому счету, вполне подтверждало предыдущую мысль.
- Погодите. Прежде всего я должен внимательно осмотреть вас.

Так и есть. Вы исключительно притягательны. Жизнь мнет вас. Мнет. И вам это нравится.

- Откуда вы все это знаете? – спросила девушка изумленно.
- Это не я. Это просто написано у вас на груди, и я читаю написанное, как историю КПСС, не более того – сказал я, сделав невероятное усилие чтобы не засмеяться с одной стороны и не поцеловать направленный мне в грудь, как пистолет, сосок, с другой.
- Продолжать?
- А как же! – поспешно сказала девушка.
- Тогда станьте ровнее.
- Девушка стала ровнее и выпрямила и без того ровную спинку как только могла. А я наоборот, сел перед ней на вращающийся стул и попытался абстрагироваться. Но это было непросто. Грудь торчали, как мраморные.
- В любви вы становитесь другим человеком – продолжал я, все более увлекаясь. – Вы порывисты. Вы можете улететь шесть раз подряд, а потом, вернувшись, идти и готовить обед или штопать чулки.
- Верно, все верно... - шептала тестируемая.
- Вы пылки и делаете глупости. Несколько раз у вас был любовный экстаз прямо у начальника в кабинете. В страсти вы можете забыть о рациональности, которую

придумаете себе много позже, чтобы оправдать иррациональность. Ваш первый мужчина...или муж... не разгляжу..

- Мы не зарегистрировались – прошептала тестируемая.
- Ага. Вижу, что не зарегистрировались... он с юга... Возможно даже грузин.
- Как? Вы и это знаете? – удивленно спросила девушка.
- А он у вас действительно был грузином? – удивился я самому себе пожалуй не меньше чем та, которой я прорекал. Потом посмотрел на ягодицу Геракла и подумал, что именно так и вселялся пророческий дух в пифию и иже с ней сивиллам, гаруспикам и авгурам.
- Был да сплыл, – сказала красавица жестко, возвращая меня к действительности, то есть к груди. И подвинула молочные железы вплотную под самые мои очи, да так близко и трепетно, что время от времени ее соски и мои бровей касались друг друга.
- Да вы рассказываете, рассказывайте. – продолжала она, поощряя.
- Тот с которым вы живете сейчас и кого называете мужем, нелюбим вами. Вы вышли за него по необходимости, возможно, из-за прописки. Вы боитесь потерять его потому что зависите от него. Но каждую ночь вы мечтаете о свободе.
- Как? Разве ты замужем, Наташа? Почему ты ничего не говорила? – спросила гадательница.
- Потом, потом. Продолжайте, пожалуйста.
- Вы сменили несколько профессий. Были манекенщицей, но там вас сочли слишком полной, и вместо того чтобы сбросить вес, вы пошли в секретарши, потом опять в манекенщицы. Потом... постойте, вы учитесь на вечернем?
- Да.
- Но вы не закончите институт. Вас увезет принц, куда то далеко далеко...
- Ой, как здорово! – воскликнула тестируемая.
- Но вы доведете его до белого колена – безжалостно продолжал я, почти трогая ртом белую упругую чашу, которая не по моей воле время от времени касалась пророческих уст – он будет рыдать и в конце концов прогонит вас и вы лишитесь всего.
- А потом?
- А потом суп с котом. – сказал я не удержавшись. Все. Дальше табу. Запрет. Иначе духи со мной я не знаю что сделают. И я вас больше не увижу. И не смогу вам гадать. А вы ведь хотите, чтобы я вам гадал?
- Конечно, хотим! – хорошо воскликнули девушки и поцеловали в три рта, как если бы это были три грации.
- Да откуда же, откуда же это у вас этот священный дар? – в ужасе спросила последняя из гадаемых. Грудь ее дрожали. – откуда он на вас снизошел?
- А в самом деле, откуда это у меня? – подумал я. И вдруг понял, что та, которая стоит передо мной, поразительно похожа на девушку со змеями из кносского дворца. . Фотография статуэтки которой есть в любой антологии мирового искусства. С громадными открытыми для всеобщего обозрения грудями, как это было принято у кретино- микенцев. На меня вдруг дыхнуло изнутри чем то древним. Чего я там ну никак не ожидал.

Наступило молчание.

- Мне можно одеться? – спросила прелестница.
-

- Можно. – сказал я. Но она не спешила. Она явно освоилась и в одних трусиках с туфельками на шпильках чувствовала себя вполне кофмортабельно.
- А это что такое у вас на стене? – вдруг спросила она в ужасе, пальчиком показывая на покачивающуюся под светом свечи могучую ягодицу.
- Ах, это... Эта замурованная в стену древняя статуя ... благодаря которой комната, в которой вы находитесь является святилищем Геркулеса. И гадания в ней благодаря этой мраморной части тела, которой, кстати сказать, в классической Греции поклонялись мужчины так же, как женщины на празднике фемосперий фаллосу, перестает быть гаданием и становится пророчеством.
- Что же это за высшее гадание? – вопрос был задан с благоговением.
- А вы никому не скажете? Ну конечно нет, что я спрашиваю. Высшее гадание, это...это..
- Что?

Что бы такое сказать? – думаю.

- это... гадание... по...
- По чему? – спросили три голоса.
- Гадание по ягодице. – закончил я неожиданно для самого себя.

И опять на меня смотрели три пары глаз. Я взял свечу и поднес ее к отдыхающему Гераклу. Странное дело: на его мраморных ягодицах были линии! Именно не трещины, а линии. И мне вдруг стало так страшно от собственной шутки, что я зажмурил глаза. А когда открыл их, в комнате был включен свет.

- Что это у тебя тут за херня такая? – сказала Нонна, стоящая у дверей со своей вечной – И что это за девки в очередь выстроились? И чего это ты с них даже туфель не снял? Спешись, что ли, или как?
- А тебе чего? – спросил я, не слишком вежливо от сконфуженности.
- Иди к телефону, вот чего.

И продолжала смотреть куда то за мою спину, раскрыв рот с прилипшей к губе папиросой. Я обернулся и увидел Картину. Одна из красавиц уже лежала на столе, повернув мягкую часть тела к потолку, две другие симметрично стояли у стола в очереди, совершенно голые. Девушки простерли руки а-ля Нефертити к сакральной беломраморной ягодице и разинули пораженные появлением Нонны ротыки. Чтобы сползло все (как призывал ждать Жванецкий), двум из них осталось снять только туфельки. А одной вообще ничего.

“Ой, до чего же тонок слой цивилизованности! – посокрушался кто-то внутри меня. – Я знал, что дорога от сознанки до подсознанки короткая, но чтобы настолько!”

- Я скоро вернусь – сказал я обнаженной гостье, с которой дальше сползать было уже нечему. И пошел в Корридор – звонить.
 - Привет говорю Гаврик. – Наша взяла. Причем мы победили чисто, исключительно силой слова. Потому что ни до одной из твоил юных прелестниц я даже не прикоснулся.
 - Положим, это не мы победили, а ты победил, – отдал мне должное Гаврик уныло.
 - Старик! – произнес я успокаивающе – Неважно кто. Важно что наша команда.
-

Живительная Стружка

Королевство Толика было всегда полно стружек. Иногда, во время приливов работы, их море поднималось до икр, однако и во время отливов уровень их никогда не опускался ниже щиколотки. Почему из Тайги никогда не исчезали все стружки, и при этом она не переполнялась ими, оставалось для меня тайной. Никто не видел, чтобы стружки выносили куда бы то ни было, да и веник в комнате Толика замечен не был, только лопата и грабли. Предположение о том, что стружки сжигали, выглядело абсурдным за отсутствием пепелища. Однако то, что уровень отходов производства изделий из древесины каким то непостижимым для непосвященных способом в Тайге регулировался, был историческим фактом и наводил на мысль о круговороте стружек в природе, а комната Толика начинала казаться не то подобием, не то прообразом Пушкинского лукоморья (Последнюю мысль приходилось отгонять, нередко даже рукой, как явно шизофреническую).

Без стружек Тайгу Толика невозможно было представить. Они выглядели в ней так же органично и неотъемлемо, как пулеметные ленты через плечи наискосок на бушлатах революционных матросов в фильмах о Гражданской войне. Марксистско-Ленинский философ сказал бы, что стружки были акциденцией Толиной Тайги, как неотъемлемой частью чайника является носик – и я пожалуй, не стал бы с ним спорить. Познакомившись с Толиком, я решил было, что уровень стружек (скрывавших под собой, кстати сказать, узорный паркет) поддерживается им по той же причине по какой многими ученым поддерживается постоянным уровень беспорядка на письменном столе, вместе с исчезновением которого от них уходит и вдохновение. Сам Толя, однако, придерживался другого, несравненно более фундаментального мнения по поводу сего предмета, о чем речь впереди.

- Почему ты и сам ходишь по комнате босиком, и других заставляешь? - спросил я с досадой, засадив занозу в ногу, босую по Толиному образу и подобию. - Ты же, вроде, не мусульманин. Надел бы тапки, или, если стружек выше щиколотки, калоши.

- Заноза, Федя, это тебе не сифилис, – философски заметил Толя, ловко вытащив щепочку из моей пятки двумя пальцами. – Она не болезнь, а деликатное напоминание. Что растения тоже люди. Повтори.

- Растения тоже люди! – повторил я. – Но, если они люди, тем более нелогично по стружкам. Вымел бы их, что ли, к чертовой матери. И надел бы обувь. А ты – босиком. Как орангутанг какой-то. По стружкам – как по головам.

- Босиком это другое, – сказал Толя очень серьезно.

- Что именно другое, Толя? – спросил я заинтересованно. -Ритуал?

- Ритуал – это форма. А прикосновение к дереву, да и к земле тоже, хотя и совсем по другому и не так, это... это... –

- Содержание? –подсказал я.

- Больше чем содержание.

- Молитва?

- Больше, Федя. Больше.

- Ничего себе. Так что же это, Толя? Служба? Священнодействие?

- Окно, вот что. К занозам отношения не имеющее.

Такого ответа, скажу честно, я не ожидал.

- И куда же открывается это окно, Толя? Или оно вообще не открывается, и сквозь него можно только смотреть? Что за ним, за окном этим? Расскажи, коли видел.
 - Много рассказать не могу. Не имею такого права. Я ведь не миссионер и в религии обращаться не уполномочен. Но человек такое понятие по крайней мере иметь должен, что от дерева, и даже от древесины: стружек, опилок всяких, даже от вагонки и дранки, даже от этой вот моей кровати вонючей - сил набираются. Неужели ты сам не чувствуешь?
 - Чего не чувствую?
 - Что в моей комнате набираешься сил?
 - Чувствую, – соврал я бодро. – Но я то думал, что это от общения с тобой. А оказывается Оно от древесины исходит!
 - Человек, Федя, он только с виду разумный, а на самом деле болван родства не помнящий. Подумай сам и скажи: откуда мы по твоему слезли? С дерева или с трамвая? Если наши предки на деревьях миллионы лет жили, на них рождались, детей выращивали, с ветки на ветку прыгали и умирали, то оторваться от родной стихии, как *хуже чем дураки люди* это сделали, все равно что оторваться от своих ног. Нашли чему радоваться!
 - Во дает – подумал я осторожно, чтобы не сбить Толю с потока слов и идей.
Неужели ты, Федя, такой вроде бы наблюдательный, внимание не обратил на то, что человеческие органы чувств приспособлены к жизни на деревьях, а не к тому, чтобы ездить на поездах и прыгать с парашутом? – продолжал Толик. - Я еще на лесоповале заметил: в глазах четкое и объемное изображение получается на расстоянии не дальше соседнего дерева, а не как должно было-бы быть если бы мы произошли от ястреба, волка, или амебы. И движения человек воспринимает не быстрые и не медленные, а как раз такие, как если бы он на ветке качался и с нее кругом умиротворенно поглядывал.
 - Ну Толя, ты даешь, говорю. – Тебе бы впору диссертацию защищать. Если хочешь, я тебе и официальных оппонентов найду.
 - На хер мне твои оппоненты, если за один день с природой наедине можно написать десять диссертаций? Лишь бы кругом никого не было. В смысле не только начальников, но и вообще мудаков.
 - Кого ты называешь мудаком, Толя? – спросил я для полноты картины.
 - Да любого. Включая и меня, если в лесу человека встречу. Каждый, кто мешают, тот мудака. А общаться с природой все мешают. И в этом смысле, когда в лесу бродишь или, например, на закат с берега озера смотришь, все, кого видишь, все до единого - мудаки.
 - Очень плодотворное наблюдение. Прости, что я тебя перебил. Есть еще чтонибудь, что ты мог бы открыть мудакам вроде меня, товарищ сталкер?
 - Что это за еврейская фамилия такая?
 - Сталкер это, Толя не фамилия, а посланник из другого мира, вход в который без допуска запрещен, в переводе, если не ошибаюсь, с английского.
 - Насчет без допуска пролезть куда не положено, так у нас таких сталкеров до хера. А вот к примеру, ты замечал или не замечал, что животные умирают сразу, а деревья еще дооооолго живут после смерти? Иногда даже столетиями. Причем не где-то там в небесах. А всюду.
 - Это каким таким образом?
-

- Ну как тебе объяснить... - сказал посол зеленого мира с там выражением, с каким искусствовед объяснял бы глухому от рождения прелести Апассионаты. - Ты когданибудь пробовал стереть иней с окна в автобусе рукавицей? Изю всех сил тереть надо, чтобы мааленькую дырочку протереть, сквозь которую видно где едешь и когда слезать. Так? Так. А рукой к окну приконешься – оно прозрачным станет в два счета, надо только холод перетерпеть. А почему? Потому что рука живая. Вот так и дерево. Для тех, кто умеет к растениям прикасаться, они могут открыть окно: не в другой мир, и даже не на другую землю, а во что то такое, поглядев на которое сразу становится ясно где находишься и когда слезать надо. Но не для всех открывают, конечно. И даже не мало по малу.
- А как и кому, Толя?

- Тем, кто тепло от них не только берет, но и дает. И знает, как это сделать. И еще слышать шелест умеет. Не только ухом а вообще: СЛЫШАТЬ! – закончил Толя с несвойственной ему торжественностью. Как будто открывал для меня скрижали чьего-то завета. Заповеди которого я должен незамедлительно зарубить себе на носу для будущей поколений. А если не для них, то хотя бы для себя самого.

Я не был уверен, надо ли включать следующую историю в летопись Берлоги. Она стоит особняком, и скорее разрушает, чем укрепляет цельное, как расческа, представление о некоторых ее обитателях, да и на притчу не тянет. Однако, как добросовестный летописец, я решил ничего не выбрасывать из того, что имело место. От чего, возможно некоторые образы проиграют в цельности. Зато выиграют в многогранности.

Итак

Баллада о Том Как Толя Провел Телефон и Галину Васильевну

Как известно, очередь на телефон длилась долго. Иногда пять лет, иногда двадцать, а иногда и всю жизнь. Однако Толя провел телефон в свою комнату через двадцать минут после того, как захотел этого. Вот как это произошло.

Как то раз пытаюсь позвонить по телефону я обнаружил что трубка разбита. Оказалось, падая на пол, Толя ненароком расколошматил ее о стену. А падал на пол он, разумеется, потому что был не совсем трезв.

- Теперь Анатолий Михайлович обязан поставить новый телефон, – решила ответственная съемщица Галина Васильевна и успокоилась, приняв это решение.
- Вы ничего не понимаете в технике, – ответил ей Анатолий Михайлович запальчиво – а потому никаких новых телефонов я вам покупать не буду.
- Вы обязаны поставить новый телефон, Анатолий Михайлович, – спокойно сказала ответственная съемщица.
- А вот сейчас посмотрим, что я обязан и что не обязан, – ответил Толя, вскипая (на что, как старый фронтофик, имел полное законное право) и позвал меня в свою комнату.
- Видишь морской телефон? Раз они ни черта не понимают в технике, сейчас я его поставлю себе.
- А ты имеешь право, Толя?

- Не знаю, не спрашивал. Сейчас увидим, имею я право или не имею, - сказал Толик и пошел ставить себе телефон. То есть не через прошения в горисполкомы и советы министров, не уповая на свои льготы как блокадника или ветерана Войны. Он пошел его ставить своими руками. Как в молодости строил сруб с топором в руках и гвоздями за ухом. То есть взял провода, изоляционную ленту и молоток, положил гвозди за ухо, и пошел ставить себе телефон. Галина Васильевна, старуха и Алenuшка щебетали, следуя за лестницей по мере продвижения работы в направлении Толиной комнаты.

- Вы не имеет права, Анатолий Михайлович, – сказала Галина Васильевна.
- А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею, – ответил Толя сверху и прибавив очередной гвоздь, передвинул стремянку.
- Вы не имеет права, Анатолий Михайлович, – сказала Галина Васильевна.
- А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею, – ответил Толя протягивая провод к своему верстаку.
- Вы не имеет права, Анатолий Михайлович, – сказала Галина Васильевна.
- А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею, – ответил Толя подключая телефон. В трубке раздался гудок.
- Скажите спасибо, что я параллельный телефон поставил. А будете журчать – поставлю реле, чтоб когда я говорю, вас отключало к чертовой матери.
- Вы не имеет права, Анатолий Михайлович, – сказала Галина Васильевна.
- А вот сейчас посмотрим... работает или не работает, – ответил Толя и набрал службу времени. *Московское время шесть часов сорок одна минута* – сказала трубка. Галина Васильевна вздохнула и пошла на кухню.
- Он не имел права, Галина Васильевна, – сказал я, искушая.
- Раз поставил, наверно имел, – спокойно ответила ответственная съемщица. – Анатолий Михайлович ведь помимо всего инвалид войны, этого тоже не надо сбрасывать со счетов. Кстати, с вас руб восемьдесят, Федор Федорович.
- За что? – не понял я.
- За новый аппарат.
- А Анатолий Михайлович?
- С него брать не будем. У него теперь свой.

Так у Толи появился телефон, который благополучно стоит уже много лет. Фантазмагоричность этого происшествия не могут понять те, кто не ждал разрешения на установку телефона многие годы. Кому телефон поставить так же легко, как на Мальту слетать. А Толя поставил телефон в течение пяти минут очень русским способом: он просто зачистил провода, подсоединил к ним новые, и протянул линию к себе в комнату. Так просто! И в этой простоте зарыта наша глубокая сермяжная правда.

Самое любопытное то, что право на внеочередную установку телефона у Толи действительно было. Более того, их было в четыре раза больше чем нужно. Он мог поставить себе телефон и как инвалид войны, и как Герой Советского Союза, и как кавалер Ордена Ленина, и как награжденный орденами славы всех степеней. Он мог получить телефон совершенно официально и в любую минуту, воспользовавшись своими правами. Но не сделал этого.

- В гробу я видел свои права – сказал по этому поводу Толя.

Молитва

Каждый Божий день я видел Ночную Рубашку читающей, иногда – молящейся, но только однажды услышал слова молитвы ее. Это была молитва перед ужином, состоявшего из чая с сахаром, суррогатной колбасы, от которой отворачиваются кошки, и макарон толщиной в крысиный хвост. Зачитавшись газетой, я вплыл в кухню медленно и беззвучно, и услышал, как девочка, переводя глаза с одного блюда на другое, прошептала:

“Благодарю тебя, Господь Бог Небесный, Отец Чудотворный, который устроил человека так мудро, что, какую бы дрянь я ни съела, она превращается в меня.”

Застенчивость XX Век

Как-то среди бела дня всплывают в мою Берлогу павами красавицы, Нюрка с подружкой, и спрашивают нету ли у меня спичек.

- А то – говорят - курить охота, а спичек нет.
- Нету говорю, у меня спичек, девочки. Извините.
- А ты не выйдешь, Федя, у старухи спросить? Она как раз на кухне суп кошкам готовит.
- А вы сами не можете спросить? – спрашиваю.
- Да неудобно как то. Стесняемся.

Делать нечего. Отрываюсь от мыслей. Иду на кухню. Спрашиваю у старушки спички, беру их из ее рук и даю девочкам. Те закуривают. Возвращают коробок мне, а я – старушке. Все это выглядит чрезвычайно церемонно, как на приеме в Версале при Людовиках.

- А что, они сами спички у меня не могли спросить? Вас то зачем беспокоили? – проворчала старая женщина.
- Да говорят, стесняются.
- Стесняются! – от возмущения старушка даже подпрыгнула. Причем три раза подряд, как мячик. –Стесняются! Как голыми ходить по квартите так они не стесняются. А как спички спросить так они стесняются!

Я пожал плечами в недоумении и ушел к себе. Юные красавицы последовали за мной. Я сел за стол у окна, на место за которым обычно работал. Девочки сели напротив, покачивая красивыми грудками и закурили, кокетливо пуская дым друг другу в глаза. Слушай ты ее больше, Федя. Ну мылись мы под душем. Ну позвонил нам Вася из Прибалтийской. Ну вышли в Корридор к телефону. Ну потрепались - минут десять, не больше. Всего и делов!

Чертова Койка

Как то Кроткая Аленушка вышла на кухню сама не своя. Постоит, постоит и перекрестится. И опять: постоит, постоит и перекрестится. Все на нее глядели с удивлением, но ни о чем не спрашивали и вообще не трогали. Тем более что она только что вернулась в Берлогу, как на вахту, после двухнедельного отсутствия, в очередной

раз заняв свое законное место рядом с Колей, и товарищи по полу ее жалели. Первой не выдержала Нонна.

- Что это ты вроде с утра не в себе - спрашивает – недоебаная, что ли?
- Я не люблю когда такими словами всуе разбрасываются, ты же знаешь. – кротко ответила Аленушка.
- Ну извини, я хотела сказать, чего это ты такая заебаная. Так лучше?
- Намного. Хотя тоже конечно... - ответила кроткая Аленушка, и с укоризной посмотрела на своего Онегина.
- А в самом деле, что случилось? – поддержала Галина Васильевна – Расскажите, Аленушка, может вместе оно и легче будет. Мы ведь тут все друг другу не чужие.
- Это точно, что не чужие – живо откликнулась Нонна.
Аленушка посмотрела на иконку, которую прятала в карманчике, потом оглянулась, как будто ожидала увидеть кого то за спиной, и сказала шепотом:
- У нас в интенсивной терапии одна койка мистическая.
И опять перекрестилась. А Галина Васильевна переглянулась с Нонной и спросила:
- Как так мистическая? Не может быть, чтоб мистическая.
- Мистическая, говорю я вам, самая что ни на есть мистическая. Понимаете, я у нас записи веду для главврача, у кого какая температура, кому чего прописано, ну а если кто умер, так и это естественно тоже. И вот вчера обратила я внимание, что на этой койке женщины все время умирают. В прошлое мое дежурство умерла. И в позапрошлом умерла. И в это. Подняла записи за месяц – и получается горизонтальная графа по этой койке с сплошным летальным уклоном – что ни утро, то на тот свет. На других койках, конечно, тоже случается, но на этой – каждую ночь. За исключением субботы и воскресенья. Как будто черт над койкой стоит. Или мимо прошел – и проклял.

И перекрестилась опять. А Нюша, подумав, тоже. И Галина Васильевна. А Нонна посмотрела на Толика и не стала креститься.

- Пстой, пстой, тут что-то не так. – сказал Толик. – Если тебя послушать, выходит что у чертей, как и у людей, выходные бывают? И тоже по субботам и воскресеньям?
- Выходит, бывают. В конце концов, черти ведь тоже люди, только очень нехорошие.
- Ну хорошо. Допустим черти тоже люди. И что же ты сделала со своими итогами?
- Главврачу сообщила.
- А он?
- Он вначале не поверил. “Какой еще может быть в моей клинике черт? – говорит – когда у нас каждый третий член партии и наглядная агитация на каждой второй стене?” А когда на следующее дежурство заступили, пошли. Проверили. Опять: на шести койках живые, а на этой покойница. Тут Главный слегка призадумался. На следующий день я нарочно на работу с утра пораньше пришла, хоть и не моя смена. Обхожу с Главным койки и отмечаю: Живая, живая, живая, покойница, живая, живая, приближаемся к этой чертовой койке...
- Ну? – спросила Нонна, - и как там она?
- Покойница. То есть из девяти коек на восьми живые, с на этой – опять на тот свет! На следующий день уже полбольницы собралось у дверей палаты интенсивной терапии. Покойница или не покойница? Глав врач сам лично зашел проверить. Даже

меня не пустил. Вышел, и головой кивает. Можешь отметить, Аленушка. Преставилась.

Тут все в Зоне замолчали и перекрестились, особенно Галина Васильевна с Аленушкой. А потом заговорили о чем то другом, до того страшно вдруг стало. Переменили тему и больше в тот день к ней не возвращались. Но когда через три дня Аленушка снова пришла с дежурства (работая, как все молодые мамы - сутки через трое) все обитатели Берлоги как бы случайно уже были на кухне и ждали. Даже Нюрка.

- Ну как?
- Все так же. Три дня – три покойницы.
- В эту койку можно за деньги класть. – съязвил Толя. - Например, если кому теща надоела.

Но его юмора никто не поддержал.

- И сегодня опять покойница - продолжала Аленушка. У нас по этому поводу уже большой сыр бор. Главврач вызвал техников, аппаратуру проверить. Все в порядке: искусственное легкое, искусственная почка, искусственное сердце – все как часы. Он хоть и профессор, а глупый, материалистическую причину ищет. Я сказала ему: “Николай Николаевич, черт над койкой стоит, вот и вся причина. Освятить надо палату, священника призвать.” Но кто ж разрешит священников звать в советском госпитале? Они ж там все научные атеисты! Вместо того чтобы повесить в палате иконку, Николай Николаевич вызвал дозиметриста с счетчиком радиации. Никаких отклонений. Тогда он телепата и специалистку по этой, как ее... ауре привел. Аура в порядке. Телепатическая обстановка в порядке. А наутро - опять! Покойница.

Николай Николаевич собрал совещание и говорит: “Все ясно: это неизвестный науке феномен.” Написал докладную в министерство и стал готовить заявку на открытие. Но посылать сразу не стал до приезда начальства из Москвы. Ведь никогда не знаешь что им там, наверху, в голову стукнет. И по этому поводу все кругом моим и перемываем, моим и перемываем. А больных из коридоров домой выписываем. Чтоб общую картину подъема своим присутствием не ухудшали.

Следующего возвращения Аленушки ждала вся квартира. Молодая мать явидась с дежурства усталая, но явно чем-то довольная. Потому что ей, по ее словам, удалось спасти живых людей, которые уже были обречены. За что ей, конечно, никто спасибо не скажет. Но она не за спасибо работает.

- Так ты что же, с самим чертом боролась и одолела? – уважительно спросила Галина Васильевна, поглядев на иконку.
- Все оказалось намного страшнее – сказал Аленушка. И под аккомпонемент шопота юной Нюры “ ”Господи твоя воля, да куда уж страшнее то? ”, рассказала следующее.

Комиссия из министерства должна была приехать назавтра. И пока персонал полы мыл-перемывал, белье менял-переменял, коридоры от больных расчищал-перечисчал, я, – говорит Аленушка, - решила сама потихоньку выследить: что за чертовщина у нас такая? Взяла крест в одну руку, молитвенник в другую, на шею трубку, через которую легкие выслушивают, повесила для отвода глаз чтоб не подумали что молюсь, и как бы невзначай каждые пять минут в эту дьявольскую палату заходить стала. Ходила, ходила, ходила-ходила, ходила-ходила и...

- И что? – с глазами круглыми от ужаса спросила Галина Васильевна.

- И поймала. За руку можно сказать схватила.
- Как? Неужели самого черта за руку?! – с сомнением спросил Онегин.
- Хуже.
- Тогда кого же? Смерть с косою?
- Хуже.
- Смерть с двумя косами?
- Тебе все шуточки.
- Убийцу маньяка? – спросила Лида широко раскрыв свои голубые глаза полные ужаса.
- Хуже.
- Американского Шпиона? - догадалась Галина Васильевна.
- Хуже.
- Господи – всплеснула руками Галина Васильевна - Куда ж хуже то?
- Не угадали. За руку я схватила простого русского человека, нашу добрую уборщицу Настасью Никитичну.
- Как так добрую? Ничего себе добрую!
- Очень добрую, уверяю вас. Эта добрая Настасья Никитична по утрам палаты убирала. А Когда Клава в декрет ушла, добавили интенсивную терапию на полставки. В своих палатах Настасья Никитична все больше шваброй орудовала. А тут ввиду важности объекта пылесос: чтоб ни пылиночки! И каждый раз в этой палате добрая Настасья Никитична включала пылесос в одну и ту же ближайшую к двери розетку. А так как, в отличие от других палат, в интенсивной терапии все розетки были заняты, она вытаскивала одну из вилок, включенных в эту розетку, всего-то минут на пять, не больше, чтоб пылесос в нее включить, а потом втыкала эту вилку на старое место, и шла наводить чистоту в следующую палату.

Тут все как то мрачно замолчали.

- Даа... - сказал Толя куда то в воздух... - мать вашу... До нашей доброты чертям надо еще чесать и чесать!
- Чесать и чесать! – повторила, как эхо, Нонна.
- Ну и что же дальше?- нетерпеливо спросила Галина Васильевна.
- А что дальше? И куда дальше? Она такая Добрая, Настасья Никитична, такая добросоветная. У главного даже язык не повернулся ей плохое слово сказать. Он с ней разобраться завхозу поручил. Мы с Главным под под дверью с другой стороны стояли и все слышали:
- Вы, - говорит завхоз, - Настасья Никитична, хуже чем чеховский злоумышленник, который гайки на рельсах отвинчивал. Тот хоть безграмотый был, в мрачную пору царизма жил, а вы у нас на доске почета висите, за политинформации отвечаете. Ну что мне с вами делать, скажите сами?

А Настя Никитична в слезы.

- Я ведь как лучше хотела – говорит – Старалась. Все силы работе отдавала. А если я недостаточно добросовестно полы мою и пыль вытираю– тогда увольте... Ну, и за что же ее уволить, честную беззаветную труженицу, бабушку четырех внуков? – закончила свой рассказ Аленушка. - По какой статье? Она такая добрая, такая добросоветная! И ее всем так жалко!! Если собрание соберут, самое большее за что проголосуют, выговор. На большее ни у кого рука не поднимется.

Всем было интересно узнать окончание этой истории. Которую я записывал в свой дневник день за днем, не имея ни малейшего представления о том, как она будет развиваться. Но к сожалению, что было дальше Берлога так никогда и не узнала, потому что в тот вечер Алenuшка в очередной раз ушла от Онегина. А когда вернулась, в больнице уже об этом случае все забыли. Как будто его и не было. А может, делали вид, что забыли. И в этом нет ничего удивительного. Просто жизнь и смерть вернулись в свою обычную круговерть.

КНИГА ПРЕМУДРОСТИ АЛЕКСАНИ ВЕЛИКОГО

Речи и изречения Сани неизменно производили на меня неизгладимое впечатление. Неоднократно пытался я записывать их, но всякий раз кончалось тем что, я комкал и выбрасывал записи. Сам же Саня никогда не записывал сказанное (уподобляясь Сократу, Христу и Зоратустре), и вообще я никогда не видел в его руках пера или бумаги. Ну и что? Чингиз Хан тоже, небось, управлял своей империей не оставляя на бумаге следов. И ничего, завоевал худо-бедно самую большую территорию, какой когда либо управлял один человек. И Заратустра не записывал сказанного им. Он дождался своего Ницше через две тысячи лет после смерти. Сане можно сказать повезло. Он дождался своего меня значительно раньше.

Когданибудь я непременно издам изречения Сани Великого отдельной книгой. Пока же я приведу лишь отдельные выдержки из неистощимых родников его мудрости, для того чтобы можно было составить о ней хоть какое-то представление.

Наша Национальная Идея

Историк Карамзин – сказал Саня - сделал великое открытие. Он открыл русскую национальную идею. То есть и до него, с самого крещения нас Владимиром и даже до него, все ее, конечно, знали, как до Ньютона все знали, что яблоки на землю падают. Заслуга же Карамзина состоит в том, что он выразил нашу национальную идею словами. Более того – одним единственным словом. Ты знаешь каким. Он написал (не могу сказать где, потому, как и обо всем прочем, я узнал не из книг, а из уст в уста, – проговорил Алексаня не без гордости), что, если задаться вопросом, чем занимаются в России, то можно ответить коротко: *Воруют*. Все знают это высказывание классика и восторгаются его остроумием. Но признать слово ВОРУЮТ русской национальной идеей не решаются. Это как бы унижает наше национальное достоинство и как бы претит. И все ищут, ищут и ищут русскую национальную идею вокруг да около ее, хотя она уже

давным давно известна, открыта, сформулирована и найдена, и в нее каждый упирается носом раз десять на дню, не меньше.

Разве не ясно, что национальная идея это не то, что люди ищут и не могут найти, а то, что они делали, делают и будут делать? Это же так просто и очевидно, как вынуть из скулы бумажник. Если все американцы делают деньги, то, значит, бизнес - их национальная идея. А если все в России воруют, то значит, это и есть наша национальная идея. (*Выпивка, кстати, не является нашей национальной идеей – пояснил Алексаня Великий. - Она - наше национальное хобби. Потому-что воровство это деяние, а выпивка – недеянье. Философ!*).

Так вот: русские люди ищут и не находят свою национальную идею только потому, что боятся себе признаться, что давным давно знают ее и живут по ней. И отцы жили по этой нашей национальной идее, и деды, и прадеды, и все прочие пращурь. А стесняются они признать, что знают свою национальную идею потому, что находятся под магией слов. Их с детства научили, что слово вор – плохое слово. Нужна революция, чтобы они, наконец, стали гордиться нашей национальной идеей. И осознали, что вор – это звучит гордо. Что Вор в Законе – человек стоящий в России высоко над людьми потому что он неизмеримо выше их по своим личным качествам, как ботхисатва. И что воровство намного естественнее для человека как родственника обезьяны, комара и вообще всего живого на земле, чем, скажем, раздача милостыни или гуманитарная помощь.

Можешь ли ты, ученый вроде бы человек, привести хотя бы один пример благотворительности в классе пернатых или, скажем, членистоногих? Наоборот, все жрут друг друга, как только могут. В результате кролик, которого сожрал удав, превращается в удава, антилопа, убитая львицей, превращается в львицу, муха, съеденная пауком, в паука, паук, съеденный воробушком – в воробушка, и так во всем, везде и всегда. Только благодаря тому, что хищники жрут жертв, и что жертвой рано или поздно оказываются все поголовно, в природе нет отходов и свалок, от зловония которых человечество задыхается, и все живое в целом продолжает непрерывно процветать.

Русское общество должно посмотреть в глаза нашей национальной идее, и полюбить ее всем сердцем. Все народы в массе примитивны и находятся под магией слов. Мы не исключение. Русские люди знают, что воровать плохо, потому что их так учили с пеленок, и не могут признать нашей национальной идеей воровство. Вопреки зияющей очевидности. Нужны годы, чтобы они поняли это и открыли нам дорогу к власти.

Народу должны быть возвращены его идеалы. И никто не сделает это лучше нас, ибо этим идеалом являемся мы, воры-профессионалы.

В связи с этим только вопрос возникает и встает ребром: как это сделать практически?

Задумывался ли ты о том, Бешеный, что характер любой нации характеризуется не теми словами, которые в его языке есть, а теми, которых в нем нет? Поэтому у нас есть три возможности.

Первая – приучить народ к тому, что слово ВОР обозначает не очень плохого, а очень хорошего человека. Но для этого мы сначала должны наворовать столько, что жизнь даже самого обыкновенного вора начнет вызывать зависть; это произойдет не раньше, чем коммунисты сожрут сами себя, и в один день не делается.

Вторая – ввести в русский язык для обозначения нашего дела новое слово, может быть с латинским корнем, вокруг которого с самого его изобретения должен гореть огонек романтики. И третье, самое простое: заменить существительное ВОР и глагол ВОРОВАТЬ другим, все знакомым словом в русском языке, которое вызывает только положительные ассоциации.

Например, всем нравится слово *ЖИЗНЬ*. Жизнь – очень хорошее слово с оптимистическим наполнением, которое, если вдуматься, во многих своих русских значениях является синонимом воровства. Например, всем поголовно хочется жить, в этом все готовы сознаться, так же как всем поголовно хочется воровать, в чем признаются, однако далеко не все. Сказать о человеке что *он умеет жить* и что *он умеет воровать* уже и сегодня практически одно и то же. Облегчить русским людям жизнь и вернуть им нашу национальную идею можно одним словом. Заменяв глагол ВОРОВАТЬ глаголом ЖИТЬ – и вся недолга.

Когда мы придем к власти хотя бы частично, мы начнем с того, что изменим русский язык. В частности, вместо того, чтобы говорить *воруют*, будут говорить *живут*. Вместо *наворовал – зажил*. Вместо *воровство в законе – жизнь в законе*. Вместо того чтобы сказать *наворовали* скажут *нажили*. Вместо *воровское дело – дело житейское*. Вместо *проворовался – разжился*. И вместо *умеют воровать – умеют жить*. Если же заменить нашу национальную идею синонимом, и сказать, следом за Карамзиным, что *если задаться вопросом, чем занимаются в России, то можно ответить коротко: Живут!* – такая русская национальная идея засияет всеми цветами нашей радуги и станет неотразимо привлекательной не только во всем мире, но и для нас самих. Не меняя своего содержания ни на йоту.

В мире не так уж и много глобальных национальных идей. Европейская *идея золотой середины* - раз, американская *идея бизнес превыше всего* - два, восточная идея, о которой я знаю только то, что она есть - три. Русская национальная идея, как мы ее только что выразили выразили, является четвертой мировой идеей. И если она будет доминировать в двадцать первом веке, еще больше чем в девятнадцатом и двадцатом, то это будет совершенно естественным апофеозом. Так говорил Саня.

Наша Национальная Дорога

Воровство это больше чем путь. Воровство - это мир. Оно так же многообразно, как жизнь – сказал Саня. - Можно сочувствовать убегающей от гипарда косуле, но залюбоваться в момент охоты тем, кто убегает от смерти, невозможно. Ему можно только со-стра-дать. Красота хищника на охоте поражает воображение. А о жертве помнят только до тех пор, пока ее не сожрали.

Воровство это больше чем путь. В И больше даже чем сеть дорог. Воровство - это мир. – повторил Саня. - У воров, как у хищников, есть множество стратегий. Есть путь паука, путь львицы, путь скорпиона, путь волка, путь орла, путь муравьеда, и еще миллионы путей, которые непрерывно развиваются и совершенствуются. Хищник – творец. Жертва – пища для нашего творчества, не более. Те, кто подставляют щеки и пишут стихи, жертвуют собой и танцуют в Лебедином Озере, водопроводчики и скрипачи, интеллигенты и пахари одинаково обречены быть пищей. Они вроде дерева, которое наслаждается запахом своих цветов и красотой своих плодов. Оно все силы

отдало на то, чтобы вырасти из земли и воздуха, то есть практически из ничего. Но никакого простора для творчества у растения нет, все предопределено при рождении. Напротив, чтобы уничтожить дерево, частями или целиком, есть множество способов: дятел долбит ствол, букашки жрут кору, гусеницы едят листья, птицы свивают гнезда, а слоны сжигают листву целиком вместе с ветками.

Если же сожрать надо не дерево, а, например, зебру, тут начинается настоящий простор для фантазии хищников. И настоящая жизнь. Только жертва может удивляться, что у власти во всем мире находятся хищники. Удивительно другое: что людей, согласных быть пищей, в нашей стране всегда больше, чем тех, чья стихия – атака.

Воровство это больше чем путь. Воровство - это мир. А у жертвы есть только одна дорога: быть съеденной.

Так говорил Саня.

Наше Национальное Хобби

Воровство это больше чем наше национальное хобби. – сказал Саня в другой раз – потому что любителей, которые им занимаются только в свободное от работы время, меньше чем профессионалов. Те кто надеются, что главным занятием россиян рано или поздно будет не воровство а что –то другое, являются западниками и пессимистами.

Рассуждение Алексани Великого о том, Что Слово *Вор* Должно Звучать Так же Гордо Как Слово *Министр*

Как это так получилось, что в школе учат, будто воровство это что-то плохое? Неужели не ясно что воры спасли Россию? Все, что плохо лежало и было обречено исчезнуть, советские люди тащили и пускали в дело. *Ты здесь хозяин а не гость, тащи домой последний гвоздь!* – таково было кредо трудящихся масс. Без воровства Россия погибла бы, по крайней мере под коммунистами, – я в этом глубоко убежден и говорю совершенно ответственно. Только благодаря воровству а вовсе не коммунистической партии, дома стоят и не падают, люди живут и не всегда умирают, в печках горят дрова, крыши не всегда протекают, автомобили сломавшись, нередко возобновляют езду, и так далее до бесконечности.

Так говорил Саня. И продолжал.

- Благодаря тому, что в России все друг у друга крадут, создается невиданное в мире общество и невиданный в истории социальный строй. Воровство так же древне, как человек, но созидательное воровство – это открытие сделано в нашей стране. Каждый берет то, что плохо лежит, и приспособливает украденное так, чтобы оно лежало лучше. Таким образом, повышается качество жизни населения и преумножается валовой национальный продукт. Надо также иметь в виду, что нигде нет столько всего на свете и в таком количестве, как в Советском Союзе. Нет в мире никого богаче, чем мы, бедолаги. Воруя друг у друга, мы, во первых, навсегда решаем проблему безработицы, во вторых, непрерывно что нибудь мастерим, и в третьих, идем своим путем, которым ни один другой народ просто не в состоянии идти.

Воровство – наша генеральная национальная линия и гениальная национальная дорога. Наша патриотическая мысль - если есть что взять, то бери пока есть, и это

величайшая альтернатива западной идее золотой середины, которая нам глубоко враждебна и чужда.

Я тебе больше того скажу, Бешеный: если бы все на Руси только и делали что воровали, это был бы громадный социальный прогресс. Можно только мечтать о таком светлом будущем для нашей прекрасной страны, когда человек будет с гордостью говорить, что он вор. Поверь мне: настанет день, когда перед профессионалами нашего дела, народ будет снимать шапки, как в церкви.

Так говорил Саня, глядя куда то вдаль. А может, в наше недалекое будущее, не знаю.

Саня и Девять Заповедей

- Скажи, Алексаня - спросил я учителя, - вот ты воруешь, а на груди крест. Нет ли у тебя трудности с заповедью НЕ ВОРУЙ, вроде бы совершенно недвусмысленной?

- Ни малейшей трудности ни с этой, ни другими евангельскими заповедями я не испытываю – сказал Саня. – Назови мне хотя бы одного христианского монарха, который бы испытывал когда либо трудность с заповедью *не убий*? И неужели же ты полагаешь, что, например, Франция когда-либо церемонилась с заповедью *не прелюбодействуй*?

Так же и с нами. Но глубже.

Задумывался ли ты, Бешеный, что бывает

“Воровство У”

и бывает

“Воровство Во Имя”

?

Высокое, созидательное воровство!

Воровство во имя общества в целом.

Воровство, как вериги, как крестный путь и звездный час?

Понимаешь ли ты, что мы являемся такими же избранниками в России сегодня, как евреи в Ветхом Завете три тысячи лет назад? И что между императивом *не воруй*, о котором говорится в Евангелиях, и *воровством во имя* не больше общего, чем между *свободой от* и *свободой для*?

- И во имя чего же, Саня? – спросил я, пытаюсь вернуть беседу на землю с философских высот, куда Алексаня Великий столь неожиданно запустил ее, как ракету. – Во имя чего?

А вот этого мы уточнять не будем, – сказал Саня и погрозил мне пальцем.

Три Закона Русского Ньютона

Коммунисты управляют Советским Союзом сверху, с птичьего полета, а мы изнутри. То есть держим каждую ситуацию под контролем и руку на каждом пульсе. Заметь: ни одно предприятие в нашей стране не занимается тем, что написано на его вывеске. То, что происходит на самом деле, снаружи не видно и непознаваемо в принципе. И эта

Непознаваемость

Русской Жизни

есть великий закон, вроде всемирного тяготения, который должны учить в школах. Второй закон который я открыл – сказал Саня Великий - звучит так:

Если какое нибудь учреждение,
будь то птицеферма, пивной ларек,
министерство или завод по производству подшипников,
в России
ни с того ни с сего работает как можно только мечтать и любоваться –
значит его руководство в полном составе можно смело сажать в тюрьму.

Таким образом,

Воровство
является Вечным Двигателем Нашего Общества
к процветанию и непохожести ни на кого в мире.

И это мой третий и последний закон русской жизни.
Так говорил Саня.

Воровская Теория Относительности

Проблема России заключается в том, что каждый начальник хочет воровать как можно больше и при этом делает все для того, чтобы его подчиненные воровали как можно меньше. Для того, чтобы на Руси жить было бы хорошо хотя бы тем, кто крадет, надо избавиться от этого логического противоречия. Надо открыто сделать воровство частью нашей национальной идеи. Например, перестать платить зарплату. То есть не уменьшить ее или, скажем объединить аванс с получкой за те же шиши, а ликвидировать ее вообще. Таким образом каждый будет знать, что должен вертеться и выживать на подножном корму одним из двух способов: либо тем что другие принесут сами, либо тем, что он сам сумеет урвать. Это будет колоссальной экономией общественных средств и воспитанием нового человека! И если, как ты, Бешеный, утверждаешь, князь Меншиков сразу после того, как Петр Первый скончался, предложил именно это, то есть перестать платить зарплату чиновникам, поелику они с незапамятных времен и без того кормят себя сами подношениями, то это означает, насколько глубоко я пров. И мы должны сделать все, чтобы наше с Меншиковым начинание было претворено в жизнь, сначала в отдельных особо важных местах, а причем и во всей стране.
Так говорил Саня.

Клептократическое Большинство

- Готов поспорить, - со страстью сказал Саня однажды - что недалек тот день, когда титул ВОР В ЗАКОНЕ будет более гордо, чем академик и космонавт! (тогда я лишь скептически улыбнулся, ибо это казалось совершенным абсурдом. О, как же я был

недалек, если не мог заглянуть всего лишь на какихнибудь пятнадцать лет вперед!) Ты подумай логически, Бешеный: если в стране все воруют и в любом коллективе, в котором собралось больше двух человек, нас большинство, сколько его ни фильтруй и как из него ни уди, то рано или поздно любителей нашего дела у власти сметят профессионалы. Это же так естественно!

Для того чтобы украсть из кармана пятерку, или из банка миллиард надо быть мастером одного и того же дела. А именно того, где академик – я. И техника кражи, и подход к фраеру в сущности не зависят от количества денег, которые предстоит украсть. А разница в масштабе определяется только одним : в чей карман у тебя есть возможность залезть.

Так говорил Саня.

Программа Искоренения Воровской Безграмотности

Умение воровать должно быть таким же естественным для человека, как умение читать и писать. Наступит день, когда Воровство станет обязательным предметом в школьной программе – поверь моему слову. Мы сделаем вороведение обязательным предметом, как математика и физкультура, и это будет наш первый декрет после прихода к власти.

Человек внушаем. Звучит же со времен Ленина слово *идеализм*, как ругательство. Когда мы придем к власти, слово *Вор* будет звучать более гордо чем космонавт, вот увидишь. Юношы будут стремиться в наши ряды, а самые красивые девушки будут отдавать самое дорогое нам и никому более.

Саня уверен, что воровская безграмотность в России будет окончательно искоренена не позже две тысячи десятого года. Я с ним спорить не стал.

- Мы волки! – говорит Саша. – Мы держим народ в форме – чтоб бегал. Чтоб не жирел. Чтоб форму держал. Мы не должны иметь жалости. Что было бы с зайцами, если бы волки были сердобольны? Они бы за одно лето выродились бы и разучились не только бегать, но даже ушами шевелить. А что стало бы с зайцами если бы волки исчезли вовсе, страшно даже вообразить. Длинные ноги им стали бы мешать, как плохой балерине, а длинные уши у них стали бы артефактом, вроде аппендикса. Воры нужны обществу, как санитары лесу. Я волк. Посмотри на мое лицо. Видишь ли ты на нем хотя бы тень сострадания?

Так говорил Саня. Я посмотрел на него. И ничего не увидел. То есть вообще ничего.

По Ту Сторону Закона

Я никогда не переступаю закон – по секрету признался мне Великий Вор Нашего Времени. – Те, кто переступают через закон, слабые люди, они, как правило, плохо кончают. И фраеры плохо кончают, которые всю жизнь по закону живут и так же, как и я, никогда через них не переступают –

НО
ТОЛЬКО
С

другой стороны

!

Настоящие же люди, те которые принимают решения а не выполняют решения других, закон никогда не переступают. Они живут по другую его сторону. В том смысле, что никогда и ничего не делают по закону. Они то и есть хозяева мира.

- Единственный закон для людей такой породы, как мы с тобой, Бешеный, – мы сами.

Так говорил Саня. Я с ним не спорил.

Русская Саванна

- Мы хищники – сказал Саня в другой раз. – А законопослушные граждане – вроде травоядных. Кто контролирует прерии, джунгли или дремучий лес? Хищник. Так неужели человеческое общество настолько далеко ушло от живой природы, что слабый будет помыкать сильным?

У хищников существует множество способов атаки. У жертвы есть четыре способа выжить: первый: убежать; второй: спрятаться куда хищник не доберется; третий: стать незаметным; четвертый – родиться несъедобным. Вот, кажется и все! Некоторые, правда пытаются раздуться, напугав хищников, но это рассчитано на дураков и в масштабах жизни не спасает. Сравни, сколь многообразно поведение хищников, сколь не похожи друг на друга методы их охоты! Быть хищником – это единственное состояние достойное человека. Антилопа красива и элегантна. Ею нельзя не залюбоваться. Ее бег восхитительно гармоничен. От нее невозможно оторвать глаз когда она мирно пасется. Самцы борются за самку самым благородным из всех возможных способов – скрестив рога, и проигравший уходит, а победитель не наносит увечий.

У антилоп есть только один недостаток:
при встрече с любым хищником
подчеркиваю –
ЛЮБЫМ! –
она
может
только
бежать.

Невозможно умереть красиво, как ни старайся. В лучшем случае можно умереть достойно. А красиво убить – это искусство. Посмотри на львиц на охоте, на гонящихся за добычей волков, на акул, и еще на сотни наших собратьев. Ну разве они не прекрасны в момент атаки?

Все жертвы похожи друг на друга, все хищники охотятся каждый по своему. Мы хищники. - Продолжал Саня Великий – мы должны быть безжалостны во имя тех, кого гоняем и пожираем. И мы будем безжалостны! Чего бы остальным это ни стоило! Так говорил Саня.

Волки и Чернь

Хищникам мораль нужна больше чем травоядным - сказал он в другой раз.- Травоядным мораль не поможет – моральный или аморальный - он в любом случае будет только жертвой. Жертва никогда не знает, когда ее сожрут, поэтому не может строить никаких планов. Хищник же должен не только знать, кого и как сожрать, но и как сосуществовать с другими хищниками. Ибо он – хозяин ситуации. У него должна быть стратегия. Если у хищника неправильная стратегия, например, он сожрет всех кого только можно, детям его будет нечего есть, а может быть, и ему самому. В этом, кстати сказать, была стратегическая ошибка коммунистов, которая их доконает. Они отобрали все у всех. И это плохо кончится сначала для тех, кого они обобрали, а потом и для тех, кто обобрал оборанных. Это же очевидно.

Мораль – это привилегия хищников. А жертвам надо не морализировать, а учиться быть хищниками. Или – второй вариант – научиться жить стаей, пасясь рядом с хищниками, как антилопы под взглядами львиц, которые могут пожрать любую из них в любую минуту, но не обязательно делает это.

Антилопа должна постоянно чувствовать на себе взгляд львицы. А народ - чувствовать на себе нашу руку.

Так говорил Саня.

Марксистский Подход к Краже

Надо быть совершенно слепым или умственно недоразвитым, чтобы не понимать, что вор – это больше чем профессия. Вор – это класс. В России где воруют все, нас больше чем представителей какого либо другого класса, включая класс рабочих, класс крестьян или класс начальников. При Сталине, надо отдать должное этлму нехорошему человеку, все-таки воры в правительстве были в подавляющем, точнее в подавляемом (бандитами) меньшинстве. Но после смерти вождя и учителя, воров во власти с каждым днем становилось все больше. Все таки бандит и вор как ни крути – разные профессии. Залезть в карман или врезать ломом по черепу, украсть миллион или зарезать – кое какая разница есть. Теперь воры в Советском Союзе в подавляющем большинстве куда ни плюнь! Воров в законе мало, а воров над законом и вне его великое множество. Если бы смена власти в России произошла демократическим путем, то наша партия воров выиграла бы любые выборы. Потому что, как ни выбирай, и кто бы ни пришел к власти, в парламенте и правительстве мы в любом случае окажемся в большинстве. Этих выберешь – воры, тех выберешь – опять же воры. Поэтому представляется полнейшей нелепостью то, что, хотя правящим классом в нашей стране являются воры, их лучшие представители слоняются по лагерям.

Братство Антиподов

Коммунисты держат зону снаружи, а воры изнутри – сказал Саня. –Советский Союз - зона, разделенная на много других зон, но все равно – зона. Те кого охраняют, и те, кто охраняет, очень похожи уже потому, что проводят большую часть жизни уставившись друг на друга, как муж и жена. Сейчас СССР - зоопарк, где каждый сидит, стоит или состоит в той клетке, в которую его посадили. Но, как только решетки, отделяющие людей друг от друга, уберут, она превратится в прерии, в которых сотрется грань между

охранником и заключенным, вором и министром, бандитом и губернатором. В ней будут только хищники, которые жрут, и жертвы, которых жрут.

- А народ? – тревожно спросил я, – неужели он навсегда обречен быть жертвой?

Саня махнул рукой.

- Кто думает о народе? Он нужен нам так же, как муравьям тли: его доили, доят и будут доить

Так говорил Саня.

Пророчество Алексани Великого о Будущем Государства Российского

Так уж получилось, - с грустью констатировал Саня - что в 1917 году власть в стране захватили не воры, а бандиты, и удерживают ее до сих пор. Конечно, наглость в сочетании с враньем, идею безграничности которого коммунисты заимствовали от нас – это очень сильная концепция. Большевички будучи бесконечно жестоки, ограбили всех и объявили что все принадлежит всем. Но не бывает так, чтобы страна никому не принадлежала. Все кому нибудь да принадлежит, уж ты мне поверь. Официально все в Советском Союзе принадлежит бандитам, но не поодиночке, а коллективно, всей банде. Бандит в законе получает то, на чем сидит, только переходя в нашу партию, партию воров. В этом смысле у нас давно двухпартийная система, причем теневой кабинет настолько в тени, что даже правительство не подозревает о его существовании. По сравнению с динозаврами, мамонтами и саблезубыми тиграми какими является номенклатура, мы, волки, сегодня кажемся загнанными за флажки жертвами. Но их время на излете. Слушайте мое пророчество, о братья и ученики мои. Настанет день, когда распад в стране достигнет такой степени, что власть придержащим придется разрешить людям жить не спрашивая их разрешения. И первыми этим воспользуются сами коммунисты, которые вдруг вспомнят, что и они люди. А поскольку все в руках начальников, то эти мерзавцы в рекордно короткие сроки разворуют всю страну. Когда же они это сделают и все будет опять принадлежать им, но не коллективно, всем скопом, а поодиночке, настанет наше время. Начав с нуля, в котором мы с тобой сегодня сидим, мы разбогатеем, да так лихо, что сначала Россия, а потом и весь мир только свистнут от удивления. А потом будет Великая Схватка за Кремль между бандитами и ворами. Которая, как совершенно очевидно, в конечном итоге будет выиграна нами. Потому что у бандитов нет русской национальной идеи. У них есть только интернациональная идея. А у нас она есть. Россия и мы – это одно и то же. Поэтому мы придем к власти в России с такой же неизбежностью, как после выпивки надо опохмелиться. И поведем ее по особому пути, не похожему ни на чей другой. Ни на Востоке, ни на Западе, и вообще нигде во вселенной.

Так говорил Саня. И смотрел при этом куда то далеко-далеко, на много лет вперед.

СТРАСТИ ПО-НАШЕНСКИ

Олимпийски Спокойная Дама

Галина Васильевна всегда была очень спокойна. Можно сказать, она была богиней Покоя. Не только нашей квартиры но и вообще. И это не смотря на то, что много читала, любила искусство и ходила в театры на спектакли! То есть ее спокойствие слабо коррелировало с традиционным представлением об интеллигенции, нормальным состоянием которой является перманентная паника. Да и с объективной реальностью, которая окружала.

Ничто не могло поколебать олимпийского спокойствия Галины Васильевны. Например, когда она обнаруживала, что ее холодильник пуст, то не возмущалась, а сострадала.

- Наверное, вчера вечером кто-то в нашей квартире был очень голоден, – говорила при этом она. – Бедный мальчик!

Мне был интересен секрет ее олимпийского спокойствия, которые древние греки ценили в победителях выше победы. И считали, что он даруется богами. А вот только ли богами? Можно ли воспитать покой в себе? Или он снизошел на Галину Васильевну при рождении? А, может быть, он от Геракла, в святилище которого она провела большую часть жизни (хотя последнее предположение в эпоху, когда в олимпийских богов уже никто не верит, кажется шуткой - а все же, почему бы и не задаться им нам, язычникам? Или мы, бесстрашные, до того оробели, что боимся задавать даже вопросы?)?

- Скажите, Галина Васильевна, почему вы никогда не возмущаетесь? Не волнуетесь? Не суетитесь? Это само собой так получается? Или вы себя в руках держите?

- А чего волноваться, Федор Федорович? – совершенно спокойно ответила Галина Васильевна - Все равно, то, что себе представляешь, не произойдет. А то что произойдет, будет совсем не таким, как ты себе представляешь.

- Ну а если все таки произойдет чтонибудь неприятное? Бывает ведь в жизни? Тогда не волноваться надо, а действовать, Федор Федорович. Разве не ясно?

Вот еще одна характерная быль. Однажды, когда мы с Галиной Васильевной практически одновременно заболели гриппом с температурой под сорок, одновременно выздоровели и одновременно пошли закрывать бюллетень в поликлинику (уж не Геракл ли, стоящий в стене между нами, синхронизовал нас?), женщина именуемая врач куда-то ушла из кабинета. Прошло пятнадцать минут. Полчаса. После часа ожидания народ начал шушукаться. После двух часлов ожидания стал возмущаться в голос. После трех часов ожидания загудел и зашебуршил. И я вместе с народом. Одна Галина Васильевна была спокойна. То есть абсолютно олимпийски спокойна.

- Почему вы не протестуете? – возмущенно спросила ее нервно ходившая по коридору туда-сюда и далее везде дама, очевидно, нутром почуяв в Галине Васильевне существо из другого мира, какого то монстра в женском обличье. Очередь затихла, показав тем самым, что ответ небезразличен для всех.

- Наверно, у врачей летучка, – предположила Галина Васильевна, оторвавшись от чтения.

Очередь загудела от возмущения, как паровозный гудок.

- Ничего себе летучка! На три часа летучка?
- Значит, у них собрание. А, может, у врача ребенок заболел, – как бы подумала вслух Галина Васильевна. Причем совершенно безмятежно. И по ее лицу было видно, что ей хорошо. А по лицам остальных было видно, что им плохо, и что по этой причине ее, Галину Васильевну, сильно подозревают в том, что она в очередь заслана. И вообще враг.

Галину Васильевну однако эти взгляды ну совершенно не занимали и она продолжала читать “Королеву Марго”. По ее лицу то и дело пробегали чувства. А по глазам было видно, что она счастлива. Чем не могла, разумеется, не вызвать дружного раздражения. Очередь переглядывалась, перешептывалась и многозначительно кивала головами то друг другу, то на безмятежную Галину Васильевну, как если бы она была инопланетянкой. Но она была хуже чем инопланетянкой. Если бы она была инопланетянкой, с ней стали бы брататься и брать автографы. А Галина Васильевна была из такой же плоти и крови что остальные – в этом было ее преступление. И мимо этого ее покоя пройти мимо было никак нельзя.

Очередь кипела, как чайник. И совершенно напрасно. Точнее, совершенно бесплодно. Потому что права оказалась Галина Васильевна. Если смотреть во времени назад, а не вперед²⁰. Через пару минут после исторической дискуссии о тревоге и покое в подлунном мире врач вернулась и, ничего никому не объясняя, возобновила прием. Народ затих. В результате все, кроме Галины Васильевны, потратили массу нервной энергии. А в обмен на нее получили абсолютно то же самое, что и Галина Васильевна, которая ни о чем не волновалась. Точно такую же пятиминутную встречу с женщиной именуемой врач, закончившуюся письменной регистрацией состояния здоровья вошедшего в кабинет в настоящий момент.

Надо отдать очереди должное. Коллективная справедливость очереди была присуща (вопрос: изначально или начиная с какого-то момента, нетривиален и требует специального изучения). Не смотря на то, что она, Очередь, возникла буквально на глазах как бы из ничего и как бы случайным образом, едва появившись на свет Божий, она уже имела общие чувства и сложившееся понятие о добре и зле. Как если бы вдруг стала одним существом именуемым Очередь. О многих головах и глазах, что, в сущности, теории эволюции не противоречит, а на клеточном уровне имеет биологические аналогии.

Существо по имени Очередь ощутило нутром, что, если Галина Васильевна войдет в кабинет в порядке очереди точно так же, как те, кто боролись за это свое право войти и отдали этой борьбе немало сил, то это будет несправедливо. Более того: что этого просто так оставлять нельзя. И до самого последнего момента жизни, то есть пока она полностью не распалась на составлявшие ее человеческие части и *последний Я* не вошел в кабинет, существо по имени Очередь смотрело на Галину Васильевну не-по добромu. Даже не волком – лернейской гидрой. То есть всеми своими десятками глаз.

²⁰ Продолжая мифологические ассоциации, Эпиметей, смотрящий только назад во времени брат впередсмотрящего Прометея, был вечно прав. И имел все основания быть вечно спокойным. При условии что не думал о том, что может с ним случиться в настоящем. Мудрая фантазия греков не позволила родиться третьему брату титанов, который не смотрел бы ни в прошлое, ни в будущее, а только на то, что происходит вокруг. И это знаменательно.

Увидев которые, Геракл трижды подумал бы, стоит ли ему с ней связываться и совершить над ней подвиг.

Когда я вышел из поликлиники, которая по существу являлась не столько лечебным учреждением, сколько регистратурой здоровья трудящихся, на улице меня ждала Галина Васильевна, живая и невредимая. И я искренне подаровался за нее. Ведь произойди эта история на сорок лет раньше, Галину Васильевну бы по выходе из поликлиники арестовали и расстреляли. Я в этом даже ни на минуту не сомневаюсь.

Смелое Древо Познания

Сижу. Читаю. Размышляю. Вдруг заходит Толя. Сумрачный.

- Что то яблони в этом году расхрабрились. – говорит. - Не к добру это.
- Не понимаю, о чем ты, Толя. Как это может дерево расхрабриться? Это мы с тобой можем – а потом глядишь, и чегонибудь прилюдно ляпнем. А им чего? Живи себе. Никуда не рвись. И помалкивай. По моему, ты это в своей к деревьям любви, немножко загнул.
- Не понимаешь ты, Федя... Деревьям смелость нужна даже больше чем людям. Они ведь если не во время зацветут или листья распустят, погибнут. Так что им каждый год жизненно важные решения принимать надо.
- И что же – тревожно спросил я – рано яблони зацвели в этом году? Так ведь не вымерзают. Выживают, и еще как!
- Первый раз в наших краях такое безрассудство вижу – пробормотал Толя чему-то своему.
- Не понимаю.
- А ты учись у меня – поймешь понимать. Наши яблони ведь как распускаются? И цветы и листья сразу. Не замечал? А теперь заметь. И знаешь почему? Боятся, суется, торопятся успеть. И правильно делают. Климат у нас определяет жизнь. И людей и растений. И правильно делают что боятся. Зато выживают. Храбрые, Федя, погибают первыми. И в бою, и в лесу, и в саду. А на юге иначе. Я когда в Венгрии был...
- С экскурсией?
- Какой экскурсией – с боями. Там яблони распускались иначе. Величаво, неторопливо, с достоинством. Сначала цветы распустятся, потом зацветут, потом отцветут, потом опадут, а потом уже маленькие листочки появляются.
- Может другой сорт? – спросил я чувствуя как во мне заговорил биолог.
- А ты, Федя, тот же сорт человека, что европеец, или не другой? – ответил вопросом на вопрос Толя. – Не в сорте дело, а в задачах, Те думают о том, как бы им получше расцвести, а эти – как бы им выжить. У нас ведь всегда четыре времени года – это четыре стихийных бедствия. И выживать надо а не под пальмами нагишом плясать.
- Ну и почему же это не к добру? – осторожно спросил я. – Может жизнь другой станет?
- Это что, экватор переместится? Или Земля на попу встанет? Говорю, не к добру расхрабрились яблони. Разладилось что то в природе и в мире. Жди катаклизмов, Федя. Может быть даже в политике, – сказал Толя. И грустно вышел.

Прогнило что то в королевстве датском – подумал я.

Сеанс Будизма или Как Закаляют Взгляд

Однажды, выйдя отдохнуть от перепоя из Колиного предбанника в корридорчик, я увидел, что у входа в чистилище стоит Ночная Рубашка и на что-то внимательно смотрит. Стал я за спиной девочки и через ее голову начал смотреть туда же. Перед зеркалом в ванной стоял Вася. Но не брился. Не мылся. И даже не причесывал свои прогрессивно постриженные вихры. А смотрел на самого себя испепеляющим взглядом. Не на переносицу, как гипнотизеры при завораживании. И даже не в глаза самому себе. А куда-то внутрь: сквозь зрачки, сквозь глазное дно, сквозь череп... И лицо Василия, от рождения, как и у близнеца-брата, подвижное и лукавое, было при этом гневное. Такое, какими запомнились и поразили меня профили вождей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина на аттестате зрелости моей мамы тысяча девятьсот тридцать девятого года, хранящемся в нашем семейном альбоме ²¹

Ты чем это там занимаешься? - спросил я приятеля, с которым мы всего за пару минут до этого выпили по сто пятьдесят, и, казалось, дружески дискуссировали о фильме Июльский Дождь а также о положении в Конго. Василий не откликнулся. Черты лица исчезли и оно стало вообще лицом, без черт. На котором не двигался ни один мускул. Особенно неподвижен был взгляд четырех глаз обоих Вась – реального и отраженного – как если бы их соединили проволоки раскаленного проката, только-что вышедшего из доменной печи. Причем, не смотря на неподвижность, взгляд этот становился все более стальным. Но не потому, что твердел с каждой секундой, а именно от постоянства твердости. Так напугало бы отца и мать постоянство их очаровательного трехлетнего карапуза, если бы он оставался трехлетним очаровательным карапузом и через пять, и через двадцать пять лет. Оказывается, в постоянстве живого может быть был вызов природе.

- Дядя Вася взгляд тренирует, – не поворачивая головы, констатировала Ночная Рубашка.
- “Погружен. Весь в себе.” – понял я. “Наш отечественный дзен - буддизм. Но на чем он концентрируется с таким злющим лицом, Господи ж Боже ты мой? И чего ради он жжет сам себя взглядом? У Будды и его последователей, помнится, при концентрации наступало умиротворение и на губах играла улыбка. Очевидно, это наша, советская школа будизма. Противоположная азиатской. Не с двумя “д”, а с одним. То есть от слова *БУДЕТ*.

Будист Вася меж тем смотрел на себя и смотрел, смотрел и смотрел. И взгляд его был тверд и сверхвидящ.

²¹ С годами (не первоисточников профилей, а их общего детища Советской Власти), то есть от генсека к генсеку – эти профили, кстати сказать, как я не без изумления заметил однажды, монотонно добрели.

- У нас особые органы чувств, у тех кто в органах, – вдруг понял я. То есть не лучше и не совершеннее чему у нас, а вообще другие. Они слышат не то, что им говорят, а то, чего им не говорят. Видят то, чего люди не видят. А то что люди видят, наоборот – не видят. Путем постоянных тренировок в будизме в них родился новый человек. То есть генетически Новый. Который произошел от Гомо Сапиенса и может скрещиваться с человеком разумным только глазами. Интересно, что бы сказал об этом Дарвин, если бы встретился с Homo Novus где нибудь на Шпицбергене один на один?

Дядя Вася взгляд тренирует... Ну да, он же Ночной Рубашке дядей приходится! То есть он родился человеком. И теперь этой родословной с нами стыдится. Нам снизу кажется, что рыцари без страха и упрека еще люди, а они знают, что уже нет. Потому что из них бес страха и упрека изгнан. И у них другие органы чувств.

Люди, безнадежно отставшие от будистов на пути к вершине дерева эволюции, должны быть вечно счастливы оттого, что рыцари без беса страха и упрека в душе ведут нас за собой к тому, что Буде (с одним, разумеется Д), причем буде не с кем-то абстрактным, а с каждым из нас. Как одноглазый ведет вперед вереницу слепых на оба глаза в известной картине Бройгеля по дороге к их общему светлому предназначению.

А Вася все глядел на себя будистским взглядом и глядел. А потом вдруг стал на глазах оживать. Сначала одна черта на лице появилась, потом другая... Обернулся. Улыбнулся. И подмигнул. Сеанс будизма закончился. И мы пошли пить. Благо полбутылки осталось.

Отец Серега

То была ну совершенно фантазмагорическая вечеринка.

Тонкая немаленькая Надя (отлищавшаяся крепостью тела и тонкостью речи) которой я полюбился незнамо за что незадолго до этого, внезапно привела ко мне свою первую любовь, Петю, будущего режисера документалиста с громким именем, а тогда простого студента, кстати сказать, Электротехнического института, вина которого была в том, что он женился не на Наде, а на ее лучшей подруге. Состоялось это аморальное бракосочетание не далее как за неделю до описываемых событий. Надю, сверх всех пилюль, которые ей пришлось проглотить, еще принудили быть свидетельницей этого безобразия – то есть свидетельницей не брачной ночи в опочивальне, это бы она еще кое как снесла, а свидетельницей регистрации брака со стороны жениха во дворце бракосочетаний и расторжений – причем принудили самым непорядочным образом: Петя попросил Надю и Надя не смогла ему отказать. В результате всего этого тонкая и немаленькая была полна решимости показать, кого Петя потерял, а заодно доказать Петру его ничтожество, продемонстрировав меня в качестве нового ухажера.

Кроме Пети, у меня в гостях оказалось музыкальное общество, пара-тройка поэтов, а также иеромонах лет двадцати с небольшим, взявшийся неведомо откуда. Служитель культа, расцеловавший при знакомстве всех девушек, включая и тонкую Надю, в обе щеки, придерживая каждую целуемую при этом почему то не за плечи, а за груди, представился несколько неканонично: ОТЕЦ СЕРЕГА.

Дальнейшее поведение иеромонаха также вписывалось в мое представление об ортодоксии с трудом. Судите сами: мало того, что он сплясал еврейский танец Семь

Сорок, поочередно выбрасывая ноги высоко вперед, так что полы сутаны развевались, как на ветру, аки простыни на веревке, так он еще вдобавок, ухватившись за сутану на груди пальцами обеих рук, превратил ее в некое подобие обшлагов воображаемого лапсердака. Глядя на его кренделя, Надя, хоть и не была набожной, украдкой перекрестилась, прежде чем близоруко прищуриться и плотоядно облизнуть пересохшие губы. Потом раскрепощенный монах пил на брудершафт с евреями и мусульманами (последние были представлены в единственном числе контрабасистом Шамилем, северокавказцем по национальности), пел под гитару песни Галича и церемонно приглашал на службу всех присутствующих девушек, обцеловывая при этом каждую троекратно в щеки и губы (а самым высоким из них даже вручал приглашительные билеты, как в театр). То есть не на службу типа конструкторского бюро, которая была бы уготована Сереге, если бы он закончил технический вуз как первоначально планировал, а на заутреню в Парголово, которую без пяти минут батюшка должен был отслужить в качестве последнего испытания перед рукоположением в сан. Последней иеромонах обнял Надю и, к всеобщему изумлению граничащему с озадаченностью, неожиданно отбыл с ней (хотелось бы думать, не в келью), к вящему неудовольствию Пети с (в недалеком будущем) Громким Именем, долго глядевшего вслед им, удаляющимся, из окна – под еще более недовольным оком своей молодой жены.

Но вернемся к вечеринке, она же вечеря. В речах Без Пяти Минут Батюшка был так же свободен и раскрепощен, как в танце, ко всеобщему изумлению временами переходящему в ужас.

“БОГ НАШ БОГ РАДОСТИ ЕСМЬ!”

– лаконично выразил он свое понимание Евангелий.

Это кредо Отец Сережа немедленно подтвердил словом и делом. А именно: запил кагор пивом, произнес двусмысленный тост “За дам!” (с разъяснением, что он, при всей своей лаконичности, имеет ровно три смысла, паки буквосочетание З А Д А М может пониматься либо как существительное с предлогом, либо как глагол, при произнесении которого уместно грозить пальцем, либо как существительное в дательном падеже, отвечающее на вопрос кому?) после чего приступил к описанию своего давешнего дежурства по Духовной семинарии.

- Когда все построились, я скомандовал: “Паства, равнайсь. Смирно. К прохождению мимо отца настоятеля покелейно строевым смиренным шаааагом маршш!” – нараспев проговорил он.

Ничего не скажешь – рассказано было талантливо. А было ли оное в действительности или сочинено было впрок дабы стать частью жития будущего реформатора церкви, который таким образом загодя становился летописцем самого себя – один Господь знает.

Говоря о своих религиозных планах, иеромонах признался, что собирается стать таким же революционером православия, как Лютер – католицизма.

- Господь Наш – бог радости, а не анафем и эпитимий, – говорил он. – Нет в Священном Писании такой заповеди, чтобы во время молитвы не улыбаться. Я говорю совершенно ответственно и с доскональным знанием предмета, дети мои: ничто не запрещает рассказывать в церкви смешные истории, анекдоты к месту, или, например, хохотать. Смех временно превращает в часовню любое помещение, будь то отделение милиции,

хлев или баня. Я вам более того скажу: нету на свете более богоугодного дела, чем рассмешить ближнего.

И сказав это, слуга божий театрально перекрестился, треснул пивка и промакнул губы тыльной стороной ладони.

В ответ на мою просьбу выразить суть своего учения одним предложением, Без Пяти Минут Батюшка подумав, изрек:

- **Все хорошо, что никому не вредит.**

И потрепал по щеке смотревую ему в рот девицу.

Тут Надя поставила на стол блюдо с колбаской, ветчинкой, сальцом и прочим, как тогда говорили, ассорти. После чего, из уважения к Без Пяти Минут Батюшке, сама положила по кусочку каждого деликатеса ему в тарелку.

- Нельзя. Скромное! Великий пост!! – благочестиво произнес молодой батюшка, начав почему-то по-волжски поокивать, хотя до того никакого акцента в его петербургском говоре не замечалось.

- Раз нельзя, так и не ешьте, святой отец, – буднично согласилось Надя и начала было уже менять полную тарелку Слуги Божьего на пустую. Но Без Пяти Минут Батюшка величественно остановил девушку (которая была года на три старше его) словом и жестом:

- Погоди, дочь моя. Не суетись. В пост мясо вкушать, конечно же, воспрещено. Однако, если маленькими кусочками, то можно.

...За пианино, само собой разумеется, посадили меня – не без настояния Нади. Впрочем, меня всегда сажают за фортепиано, когда нужно, чтобы в компании была жизнь, независимо от того, сколько оркестрантов заслуженного оркестра филармонии или лауреатов международных конкурсов музыкантов-исполнителей находится в присутствии.

И я таки себя показал! Импровизировал минут сорок. Во первых, обстановка вдохновляла. Во вторых, без пяти минут батюшка. Петя с Грмким (в будущем) Именем, в третьих. И Надюша, конечно. Был у нее такой дар – создавать нужную ей атмосферу и добиваться своего по женски, то есть совершенно незаметно для окружающих.

Потом я выпил, а, как было замечено еще на первом курсе, пьяный я становлюсь неотразимо хорошим. Я пел свое и чужое, потом плясал, потом (на спор, что если сделаю это, то буду расцелован всеми присутствующими девушками во все ключевые места – на лице и только на нем, а не там, где самые игривые из вас подумали) попрощался с присутствующими, как перед боем, и со словами “если не вернусь считайте меня коммунистом” встал на руки прямо со стула и вышел на лестницу на них, родимых, после чего ногой позвонил в звонок три раза, вернулся и сел на тот же стул, не касаясь ногами земли. Кто-то из лауреатов международного конкурса скрипачей при этом подбацывал на скрипочке, кто-то стучал на кавказских барабанах, кто-то из занесенных на вечеринку после спектакля балерин трещал вокруг меня каблучками и кастаньетами.

- Ктонибудь повторит? Или слабо?! – дерзко спросила Надя, глядя в упор на Петю. Попробовал пойти по моим стопам, то бишь отпечаткам ладоней, однако, не молодожен Петя а монах Серега, и для начала встал уже было на четвереньки, но дальше этого у него не пошло. Петр же гордо повернулся к миру спиной и разглядывал ягодицу моего Геракла так долго и пристально, словно она принадлежала по крайней мере Афродите Милосской.

Тут веселье перешло на новый виток и стало настолько бесшабашным, что возле дверного косяка явилась святая троица без нимбов и крылышек: Алексаня Великий, Витька Робин Гуд и Шкаф Жора. Три криминальных богатыря (из которых самым главным был самый хилый) молча наблюдали за происходящим минут десять, после чего Александр (который редко чему удивляется) взял меня (уже расцелованного и пьющего на брудершафт с какой-то манекенщицей из литрового рога, до того больше года без дела висевшего на стене), за руку – и сказал уважительно: “Ну. Бешеный, ты даешь. Правильную я тебе кликуху дал. Оправдываешь.”

Потом уже пили все вместе, так что грань между физиками и лириками, бабниками и отшельниками, мужчинами и женщинами, ворами и интеллигентами стерлась окончательно.

Честная компания совершенно расслабилась. Особенно Отец Серега, вошедший в раж и танцевавший, как уже было отмечено, фрейлахс, а затем и рок-энд-ролл. Он мощно швыряя немаленькую Надю во всех направлениях, то переступая через нее, то вытаскивая из под сутаны чтобы подбросить в воздух. Берлога ходила ходуном. Наконец, я окончательно уступил место за фортепиано лауреату международного конкурса скрипачей (и зря: он так ничего путного и не сбацал!), сел за стол и завел диалог с иеромонахом, который не придумал ничего лучшего как начать рассказывать сальные анекдоты, очевидно, предполагая таким образом освятить место моего проживания. Сконфуженный, я импровизировал анекдоты в ответ, успевая придумать похожий на рассказанный (но не сальный, а вегетарианский), прежде чем аура прежнего успевала остыть. Состязаясь таким образом с устным народным творчеством, я родил на свет штук пятнадцать импровизаций (две из которых выжили и вернулись ко мне в форме народного фольклера некоторое время спустя).

Замысел Нади удался блестяще. Привыкший быть в центре внимания всюду, блистательный Петя был посрамлен мною, даже не подозревавшим о том, что являюсь мечем в руках Немезиды, а также отцом Серегой. Надя, незаметно для богини возмездия заставившая ее, бессердечную и злопамятную, бескорыстно работать на себя – была отомщена.

И еще было мне в тот вечер видение. Удалявшегося через сад в направлении площади Льва Толского монаха, обнимавшего немаленькую Надю за плечи, и будущего колосса документального кино Пети, обалдело глядевшего им вослед.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ БУДУЩЕГО. Некоторое время я следил за судьбой отца Сереги. К моему необыкновенному изумлению, он не был изгнан из Семинарии сразу²², а напротив – начал головокружительную карьеру. Не сомневаюсь, что до поры до времени он был любимцем у какого-нибудь высокого духовного лица, вспоминавшего, глядя на него, одаренного и ярко окрашенного, свою собственную грешную молодость. Так или иначе, этот Люсьен Сорель *Пармской Обители* в русском варианте был посвящен в сан и вскоре получил престижный приход в Эстонии. Надя с Петей и молодой женой последнего втроем ездили к нему на несколько дней погостить и вернулись полные впечатлений, которыми однако же не делились на том основании, что то, что отец Серега творил в своем приходе, словами описывать бесполезно.

²² Хотя, если вспомнить, что Распутин, не смотря на все свои сексуальные и прочие подвиги, при жизни от церкви отлучен не был, в отличие, скажем, от преданного анафеме Льва Толстого, то удивляться в этом мире не приходится абсолютно ничему.

Вскоре неизбежное свершилось: Отец Серега, наконец, был изгнан из лона церкви с позором. После своего отлучения несостоявшийся революционер православия пил неделю, многократно повторяя как молитву: БОГ НАШ БОГОМ ВЕСЕЛЬЯ НАРЕЧЕТСЯ. Во время запоя он был полон решимости свергнуть церковь в раскол под названием НОВООБРЯДЦЫ, однако когда протрезвел, резко изменил линию жизни и улетел сплавать по горным рекам Алтая. Потом Отец Серега, по слухам, пытался вступить в объединение драматургов при доме Писателя - но вдруг одумался и отбыл жениться в Финляндию. После чего следы Нашего Лютера окончательно затерялись.

Трон с Цепочкой

К юбилею Ньюши Дима На Все Руки с помощью Онегина, работавшего в то время по переоборудованию гостиницы Ленинград и выполнившего функцию снабженца (не гостиницы, а из гостиницы, разница, которую европейцу нипочем не понять) в одну ночь сотворил маленькое чудо. Он преобразил сортир, превратив его в дворцовую залу. Была заменена вся сантехника – с отечественной на импортную (включая последнее достижение американской технической мысли: турбулентный унитаз!), а стены, пол и потолок были покрыты голландским зеркальным кафелем. Таким образом, сидящий (или стоящий) в этом эпицентре цивилизации видел себя утысяченным во всех направлениях, то есть уходящим в сизую даль, сизую высь и сизую бездну одновременно. Театр одного зрителя выглядел вполне сюрреалистически, особенно венец творения, краса всего живущего, которая горделиво смотрела на самое себя отовсюду. Смушала только поза, которую можно было бы определить как брентную и которая портила любой ракурс, особенно когда квинтэссенция мироздания, обтысяченная в небесах и под землей, а также по горизонтали, подтиралась газеткой.

Разумеется, право открыть трон было предоставлено Ньюше. Единственное, что она попросила оставить прежним, был бачок с цепочкой – как напоминание о счастливых днях молодости – и На Все Руки не смог отказать ей в этой настальгии. Так что с того самого дня всяк приходящий в Берлогу приходил еще и в изумление от контраста между жутким Корридормом и сияющим Туалетом, действительно напоминавшим тронную залу. Настолько напоминавшим, что гости, уже бывавшие Берлоге ранее, говорили неопитам как бы продолжая светскую беседу: “Ты уже был(а) в сортире? Нет? Тогда сходи.”

Как Верочка Стала Секретаршей Легкого Поведения

Однажды Верочка (жившая, кстати сказать, на Кировском проспекте в пяти минутах ходьбы от Берлоги) пришла ко мне сама не своя. Оказывается, в их коммунальной квартире (несравненно, кстати, лучше приспособленной быть коммуналкой, чем Берлога, потому что дом был, как тогда говорили, Сталинский, и с самого начала спроектирован для Ленинграда, а не для Петербурга) в комнате прямо напротив Верочкиной подростала девочка Галя. Пока Гале было десять, одиннадцать, двенадцать, даже пятнадцать лет, она вся из себя была такая скромная была девочка, такая

правильная, с косой до пояса и в отутюженной школьной форме. А как перешла в десятый класс, вдруг срезала косы, встала на каблуки и начала водить к себе мужиков. То есть прямо с улицы приводила, иногда по три в день. И что самое неприятное – Верочка при этом сделала круглые глаза – при этом акте мама и бабушка в той же самой комнате находятся.

- То есть как это? – удивился и я.

- А вот так это. Они дверь всегда открытой держат, и видно, что у окна мама с бабушкой телевизор не отрываясь смотрят с утра до вечера, а на переднем плане, между дверью и телеэкраном, если смотреть из нашей комнаты, на кровати Галка с мужиками в простынях барахтаются.

Ну, мы с мамой и третьей соседкой, такой же интеллигентной ленинградкой, как и все мы (ну-ну – подумал я, продолжай, девочка) терпели, терпели, а потом не выдержали и вызвали участкового. Пришел серьезный мужчина, суровый такой, акт составил, пригрозил Галине последствиями, дал повестку чтобы явилась на профилактику и ушел скрипя сапогами. Но с Галки как с гусыни вода. Галка как водила мужиков, так и продолжала. Иногда даже по трое одновременно приводила.

- То есть как это? – удивился я.

- А вот так это. Один в кровати, а два в очереди, на стуле в коридоре дожидаются. Как в поликлинике. Поэтому мы опять участкового вызвали, и он опять акт составил. И так раз десять. А время идет. И Галка растет. Заканчивает школу. И начинает заниматься своим промыслом профессионально. То есть двадцать четыре часа в сутки включая сон. Да да, она даже во сне работать не переставала; в этом смысле ее профессия, конечно, стоит совершенным особняком. А потом вдруг звонок в дверь. Стоит женщина в воротнике из лисицы, и заявляет довольно грозно, что участковый ее муж, и что он в настоящее время по ее данным, источник которых она рассекретить заранее отказывается наотрез, находится в нашей квартире у проститутки Веры Серовой.

Я была так потрясена – сказала Верочка, что даже не сразу нашлась что ответить.

- Я Вера Серова – говорю женщине с лисицей, улыбаясь от растерянности – Я Вера Серова и у меня нет вашего мужа. Мне он как-то ни к чему. И вообще я не проститутка. Вы это напрасно на меня наговариваете.

- Абсолютно и на редкость напрасно – подтвердил я, хотя в этом не было ни малейшей нужды.

Женщина с лисой на плечах пожалала плечами, хмыкнула, оттолкнула Верочку, и войдя в коридор, уверенно открыла дверь в Верину комнату (“она знает расположение комнат в квартире” – с ужасом подумала Вера). И, не обнаружив в ней никого, заметно удивилась. Подумав, прошла в туалет, потом в ванную. Не обнаружив супруга и там, вернулась в комнату Веры, заглянула под кровать, потом в шкаф, потом на всякий случай за занавески на окнах, потом решительно высунулась из окна и посмотрела на асфальт под окнами, где также, очевидно, муж не обнаружился, после чего озадаченно села на стул не спросив разрешения, подперла подбородок кулаком, а-ля мыслитель Родена, и сказала:

- Исчез, мерзавец.

- А с чего вы взяли, что ваш муж в нашей квартире? – спросила я.

- С чего с чего? Да я по пятам за ним шла, вот с чего. Он в вашу парадную зашел. На четвертый этаж поднялся. Постоял постоял. Потом ему открыли и он вошел. Я десять

минут подождала по часам – уж кто, кто, а я его физиологию знаю, на себе изучила. И только тогда позвонила, чтобы наверняка застукать. Черного хода ведь у вас в доме нет?

- Нет.
 - Сама знаю, что нет. Значит, он где то здесь. Не из окна же он по веревке спустился... Тут дама с лисицей по собачьи принялась, и стала тревожно озираться, Но постепенно сдалась, размякла и задумчиво уставилась в даль сквозь открытую в коридор дверь. После чего глаза ее стали медленно округляться, пока не стали круглыми как блины. Потому что взору ее предстало происходящее в комнате напротив нашей. И от того, что увидела (а увидела она, надо думать, не только смотрящих телевизор маму и бабушку) дама с лисицей открыла рот. Потому что увидела она (а за ней и я по ее требованию) на кровати в трех метрах от себя своего собственного голого мужа, над которым наездницей скакала Галка, размахивала воображаемой нагайкой и пела: “Мы красные кавалеристки и про нас былинные речистые ведут рассказ...”
 - Какая прелесть! – мягко улыбнулся я, чтобы не возбудить без нужды и без того находившуюся почему-то на грани плача Верочку. – А она талантливая, эта твоя Галка! Далеко поскачет!
 - Поменьше бы таких талантливых, – пробурчала Верочка. - Проходит недели две. И вот сегодня, почти что в конце рабочего дня, когда закончилось совещание, зовет меня проректор в свой кабинет, закрывает дверь на ключ, вынимает из среднего ящика стола бумагу и дает мне.
 - Тут – говорит –Верочка, на тебя телега пришла. Ты только, пожалуйста, не пугайся. Когда он сказал, чтобы я не пугалась, я уже чуть сознание не потеряла. А потом взяла себя в руки, в руки бумагу, читаю - и чувствую что умираю. Потому что бумага эта из милиции, и в ней черным по белому напечатано, что сотрудница университета Серова Вера Николаевна вот уже более года состоит на учете как женщина легкого поведения. Представляешь? На имя ректора. То есть это позор на весь университет.
 - Так ты теперь проститутка?! – присвистнул я. И нервно захохотал.
 - Слова проститутка там не было, наверное потому, что в нашей стране как всем известно, официально проституции нет поскольку социальная база для проституции уничтожена. но всего остального – выше крыши.
 - Ну, насчет позора на весь университет я бы не преувеличивал. Но что же это все таки значит? Откуда, как говорится, ноги растут?- посерьезнел я.
 - Вот и проректор меня спросил, откуда ноги растут? А я сама не знаю, что же это значит. После работы пошла к жене этого участкового, потому что получается, что мы с ней вроде товарищей по несчастью. А от нее прямо к тебе. Она баба энергичная стала звонить туда сюда, и кое что узнала про нас обеих.
 - Обеих?
 - Ну да, обеих. Нас общее несчастье спаяло. Эта жена участкового меня потом оставила чай с вареньем пить, и долго спрашивала в подробностях, что я еще из своей комнаты видела нехорошего. И после каждого случая, который я вспоминала, говорила очень серьезно: надо будет попрововать. И почему то облизывала ложечку.
 - Сексуальные проблемы этой милиционерши меня как то волнуют не очень сильно, Верочка. Но о тебе-то она хоть чтонибудь узнала? Или все про способы потенциальной жизни с мужем спрашивала и ни о чем более? – нетерпеливо спросил я.
-

- Еще как узнала! Ты только послушай: оказывается, этот участковый муж оправдывал то, что он постоянно ходит в нашу квартиру тем, что в ней живет проститутка, с которой он якобы проводит воспитательную работу. Но в проститутки записал не Галку, с которой он проводил эту самую работу работу весьма специфическим образом, а ... а...
- Кого? – переспросил я.
- Меня.
- Тебя?!!!

Повидавший на своем веку всякого, сознаюсь, даже я не ожидал такого поворота руля.

- Меня. – повторила Верочка и заморгала - То есть каждый раз, когда мы вызывали участкового, он исправно составлял акт о занятии проституцией или как там его. Только не на Галку он составлял эти акты. От Галки он акты по-лу-чал. Или лучше сказать, они их осуществляли совместными усилиями. Но мне от этого не легче. Потому что я теперь вроде как представительница древнейшей профессии. Со всеми вытекающими из нее последствиями. И за что? За что, спрашивается?
- Да уж... – сказал я обалдело. – Спрашивать *за что?* разумеется, глупо. Хуже того: бесперспективно. Было б за что – расстреляли бы. А вот что делать? - об этом надо помозговать. К сожалению, Верочка, бывают в жизни ситуации, в которых сидеть сложа руки, как мы привыкли, нельзя. Пускать клевету на самотек все равно что пускать на самотек воду из батареи. Надо отмываться.
- Вот и жена участкового говорит, надо отмываться. Надо то надо, а как? – сказала Верочка очень печально и безнадежно. – И главное – даже не знаешь в чем отмываться, чем, где и с какого места начать!
- Надо будет поговорить с Колиным братом, – сообразил я. – Они там в КГБ рыцари без страха и упрека, вьются, соколы, орлами, и над милицией, и над судьями, и всей прочим нашим пейзажем, который им сверху как на ладони, а если надо – то и в когтях, и в клюве, так что не бойся, родная. Вася чтонибудь придумает. Как никак не чужие.

И подмигнул ободряюще.

Однако придумать Васе оказалось не так то просто. Он выслушал Верочку чрезвычайно серьезно, записал все ее данные и обещал разобраться. Примерно через неделю Василий пригласил нас в Колину комнату и доложил результаты. Дело было безнадежное. На Верочку были составлены четырнадцать протоколов о занятии сексуальным промыслом и торговлей своим телом на протяжении полутора лет. По всем бумагам выходило, что она матерая проститутка со стажем и опытом.

- Все, что я могу сделать, - сказал Вася – это остановить составление дальнейших протоколов и организовать перевод этого мудака участкового в другой микрорайон. Доказать юридически, что ты, Вера, не занималась торговлей телом очень сложно, потому что тому есть по крайней мере шестнадцать свидетелей с подписями и именами. Включая мужчин, которые с тобой спали. Если мы будем говорить что все акты подложные, то это будет клевета на работу милиции, и они всем министерством встанут за себя горой. А если начать тебя отмывать на высшем уровне, то в процессе этого умывания до того измажем тебя в дерьме, и на работе, и дома, и где бы то ни было, что, даже если тебя отмоем, от запаха вони уж точно тебе будет до смерти не избавиться, а ведь нюхать его тебе.

- Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать – бодро встрял я. – Ты Вася, помозгуй.
- Легко сказать помозгуй. У меня самого похожие проблемы из-за мудака брата были, который... в общем бросил на меня пятно, которое смыть невозможно, потому что оно родимое, – сказал Вася, понизив голос и помрачнев. - Уж для себя я бы постарался, из кожи бы вылез, как ты думаешь? Ан нет ! Все без толку. И ведь что поразительно: чем больше дерьмо с себя стираешь, тем ярче оно сияет! Так что мой тебе совет: живи, Верочка, как жила. Через пару лет, если не будет новых протоколов – а что их больше не будет, я ручаюсь, даже если ты будешь с утра до вечера ябаться в Европейской гостиннице; не будет! – рявкнул он вдруг решительно и стукнул по столу кулаком (“И кстати, советую тебе над своим иммунитетом, который мы над тобой раскрыли, как зонтик, подумать. Потому что данные у тебя богатые, терять уже нечего а приобрести можно много” - тут Вася загадочно подмигнул, но было это позже, примерно через полгода и после пары стаканов), закроют на тебя дело, и ты будешь числиться перевоспитанной. И такой же морально устойчивой, как и все мы.

Так Верочка стала проституткой. До конца отмыться от клейма легкого поведения ей все-таки не удалось, потому что по университету даже спустя много лет поплазли туманные слухи о ее прошлом и настоящем. Но после того, как древнейшая профессия согласно опросу общественного мнения среди молодежи стала самой популярной в стране среди девочек (а для мальчиков, соответственно, рекетир) то есть заняла примерно такое же место в иерархии престижа, как за двадцать лет до этого киноактриса (а для мальчиков, соответственно, космонавт), борьба за чистоту от клейма потеряла всякий смысл. Это клеймо вдруг стало своей противоположностью, а именно знаком приобщения к Сонму, бороться с причастностью к которому было бы так же нелепо, как если бы Элизабет Тейлор на склоне лет вдруг начала отрицать что в молодости была кинозвездой.

Галкина же судьба, в противоположность Верочкиной, сложилась совершенно блестяще. После нескольких лет работы по женской специальности исключительно на дому, она переместилась в рестораны, потом в гостиницы Асторию и Англетер, где трудилась исключительно успешно до тех пор, пока не вышла замуж за француза, которой – надо же случиться такому везению! – кроме того, что был французом, оказался к тому же еще и мультимиллионером, со всеми типичными для них виллами, персональными самолетами и яхтами. Так что Галка теперь живет в Ницце, называет себя Галой, и о своем легкоповеденческом прошлом вспоминает с ностальгией. В отличие от порядочной Верочки

Школа Относительной Правды

- Скажи Коля, а почему твоя дочка не ходит в школу? - спросил я.
- Потому что там учат врать – ответственвал Коля со страстью. – Если бы ввали хотя бы на пять процентов, и то я бы ее не пустил. Но там по программе вранья процентов пятьдесят, не меньше. По математике, физике и химии говорят более или менее правду вроде дважды два четыре и газы при нагревании расширяются. В биологии, рисовании и даже пении уже наполовину врут. А в литературе, истории,

обществоведении и других как бы гуманитарных предметах сплошное вранье! Разве можно ребенка пускать в такую школу? И разве это школа? Лев Толстой в школы не ходил. И ничего, по слухам, очень даже неплохо выучился.

Нудистская Кухня

Направляюсь я как то в Сакральню среди ночи чайник поставить (а я, должен заметить, чаевник, и меньше десяти стаканов в сутки не выпиваю). Свет в Корридоре был почему-то погашен, но я не стал тратить время на поиски выключателя благо дорога знакомая, а то, что тысячу раз пройденно с открытыми глазами не грех хотя бы раз пройти и с закрытыми, это даже как принцип неглупо. Дойдя до кухни, в которой также было темно, прежде чем нащупать выключатель, увидел я над своим столом чьи-то глаза, горящие в темноте, как у кошки, но не зеленоватым, а белым цветом. *Кто сидит на моем столе?* – спросил я самого себя не теряя самообладания и не сразу осознав, что почти добуквенно цитирую сказку *Три Медведя* Толстого. - Домовой? Привидение? Пантера? Дух поэта Кузьмина? Саблезубая тигрица?

Поскольку глаза не двигались, и даже не моргали, я не стал ждать пока принадлежащее им тело исчезнет и решительно включил свет. И не увидел никого из тех, кого ожидал. А кого увидел, узреть ну никак не ожидал. Ибо перед моими очами предстало не привидение, не крыса, не саблезубая тигра и даже не домовой, а чета моих милейших соседей Онегиных, совершенно голая и занимающаяся тем, чем баловался Зевс с Данаей, Персей с Андромедой, Екатерина Великая с Григорием Орловым и вообще мужчина с женщиной после грехопадения. Аленушка сидела на моем столе раздвинув дебелые колени в то время как Николай стоял перед ней (женой) и перед ним (столом) лицом к обоим и как бы молился в храме древнейшей – нет не профессии: религии! - отпуская поклоны, только не верхней частью тела, а средней.

При этом Аленушка, несомненно, видела меня совершенно отчетливо, да и Онегин не мог не слышать и не обратить внимание на то что стало светло, в каком бы самозабвении ни был. Но вместо того, чтобы смутиться или хотя бы сказать АХ!, убежать вприпрыжку прикрывая наготу или извиниться для приличия, муж и жена не прерывали начатого дела. К тому же самозабвенность с моим появлением заметно увеличилась, потому что открытые и смотревшие на дверь, словно они ждали оттуда чьего-то появления, глаза Аленушки увидев меня, не расширились а наоборот – томно закрылись. Причем, как мне показалось, не совсем, а глядели сквозь вуаль ресниц, что было гораздо пикантнее. Слившиеся из двух в одно, тела супругов стали напоминать Амура и Психею какими их изобразил в мраморе Роден. То есть отличие от оригинала было не в положении тел и не в композиции действующих лиц полового акта друг относительно друга, а в том, где находилась вся группа и на каком постаменте. К тому же Амур и Психея Берлоги были живыми, а не высеченными из монолита (хотя, будь на моем месте Галина Васильевна, высечь их обоих ей, живущей без мужчины а только с сыном и ради сына, наверное бы захотелось) и стало быть, сделали выбор места и времени открытия выставки с собой в качестве экспонатов сознательно.

Поскольку лицо Аленушки было все время обращено ко мне, я не мог не обратить внимание на его выражение. Закрыв глаза – но не веками, а всего лишь ресницами, оно расплылось той нечеткостью очертаний, которая вообще характерна для

приближения к счастью. И это расплытие черт говорило об Аленушке больше, чем все рассказы и сказки вместе взятые.

Пить чай однако хотелось. Уйти не поставив чайник значило признать свое моральное поражение и, что еще более важно, показать, что то, что я увидел, не соответствует моим представлениям о нормах поведения в общественном месте вообще и на кухне в частности, а это было бы не по джентельменски. Поэтому я с предельной естественностью взял из-за спины Аленушки чайник, набрал в него воды, поставил на газовую плиту, и со словами ПРИЯТНЫХ СНОВИДЕНИЙ, РЕБЯТА погасил свет.

Когда я, решив вести себя так, слово ничто извне мне не мешает быть независимым от обстоятельств, то есть именно так, как по моим представлениям и должен вести себя *краса вселенной венец всего живущего*, вернулся на кухню взять загудевший чайник, там почти ничего не именилось. За исключением того, что свет был включен и скульптурная группа сменила постамент. Другими словами, сидели Николай и Алена Онегины уже не на моем, а на своем столе, но попрежнему оба в костюмах Адама, словно в предбаннике, причем Онегин болтал ногами а Аленушка рдела, как мне показалось, удерживаемая от того, чтобы убежать, мужем и только мужем, и прикрывала обеими руками срам, точнее все три срама, как Афродита Праксителя. Да и пропорциями тела она, аппетитная и аккуратная, напоминая древнегреческую прототипажницу. К счастью для репутации морально устойчивой жены, супруга прикрывала сакраментальные места на своем теле не только голыми руками, но и вафельным полотенцем, тщетно пытаясь закрыть им все три срамных точки, так что когда закрывалась одна, открывалась другая а то и две, являя собой игривый вариант иллюстрации к сказке Крылова, в которой фигурирует Тришкин кафтан. Супруг был более безмятежен, возможно, по причине естественного преимущества своего пола, у которого запретных мест на два меньше, и потому с легкостью решил проблему напялив на фаллос варежку-хваталку, которой берут кастрюли. Таким образом, кухня стала напоминать предбанник, и я понял, почему комнату Онегиных прозвали именно так. А вот почему они вначале сидели на моем столе а не на своем, который был больше площадью и к тому же не грозил загнать занозу в мягчайшую ягодицу Аленушки, потому что был покрыт клеенкой? – задался я вопросом впоследствии, и не нашел другого ответа кроме того очевидного, что мой стол при входе в кухню был виден сразу а стол четы Онегиных – нет.

Онегин попробовал было завязать со мной светскую беседу, и поинтересовался, правда ли что в Пиццунде между домами творчества писателей и кинематографистов устроен нудистский пляж (что было правдой но не всей правдой, нудистский пляж располагался между домами творчества кинематографистов и журналистов). На провокацию я откликнулся сдержанно, решив, что пожалуй, дальнейший рост гривуазности неизвестно в какую бездну ведет, а я в то время был сторонником русско-европейского принципа, гласящего, что достигнув предела к которому стремился, надо немедленно начать искать золотую середину чтобы из него выбраться, и наоборот. Потому, я лишь несколько секунд постоял с чайником перед Адамом и Евой 1981, недвусмысленно приглашающими меня вкусить плода с древа познания остроты ощущений третьим. То есть ровно столько чтобы меня, как током, ударила пикантность ситуации – и ни мгновением более. Ответив всего лишь что-то вроде *и нудизм у нас разводят и облавы на него устраивают*, я подтянул трусы повыше и ушел писать формулы. Которые по проверке их поутру оказались неверными.

Вожди - Младенцы

В одно прекрасное, темное и промозглое ноябрьское утро (ибо трудно не согласиться с популярным в тот год тезисом: плохой погоды у природы быть не может – в философском смысле любое утро прекрасно), когда почти все население Берлоги было на кухне, по репродуктору начали транслировать выступление Брежнева на торжественном митинге. Вождь передового человечества что-то невразумительно лепетал, запинаясь на каждом втором слове, причмокивая и пришамкивая. Чаще всего в этой речи повторялось словосочетание звучащее как *кому ни сиськи* которое, как ясно было исключительно из подтекста, обозначало идеальный общественный строй и было призвано вдохновлять народ на подвиг.

- Вот ведь мать твою,- сказал Толя, сплюнув в раковину - ну что это у нас за вожди такие дебилные?! Хоть бы один по русски говорить умел! Так ведь нет: лопочут что то нечленораздельное, как грудные младенцы. Бормочет, бормочет, а чего сказать хочет – непочем не понять. И не только из-за произношения, но и из за того, что в голове винегрет. Подумать только: даже по бумажке прочесть крупно написанные буквы не в состоянии! А от себя так и вообще двух слов с третьим в одно предложение связать ни один не способен! Заткнуть бы ему рот соской, нашему дорогому Ильичу, ей богу, лучше бы поняли чего он от нас хочет.
- Разумеется, вы правы, Анатолий Михайлович – сказала Галина Васильевна из проивоположного конца кухни не оборачиваясь. Из-за многолетних споров у них с Толиком в Сакральне была почти телепатическая связь. – Но почему это вас вдруг так задело? Будто раньше не замечали. Будто это большая новость.
- Задело, потому что за родину обидно. Какая ни есть, а мы все таки сверхдержава.
- Вы думаете, это случайность, Анатолий Михайлович, что наши вожди говорить не умеют? – очень спокойно спросила Галина Васильевна. – А я уверена, что это результат естественного отбора.
- Что еще за естественный отбор такой? – тревожно отозвался Толик. - Они что же, по вашему, по дереву эволюции с ветки на ветку скачут, а не только по головам? И начальники, выходит, уже не такие же люди, как мы с вами – а умудрившиеся от нас куда-то по Дарвину произойти?
- Конечно она там наверху не такие, как мы с вами, Анатолий Михайлович. – совершенно спокойно сказала Галина Васильевна, ни на мгновение не прекращая готовить завтрак своему любимому сыночку. - Они принадлежат к совершенно другому виду. Это же очевидно. Их же, начальников наших, если вдруг на собрании или в цеху встретишь, куда они приходят с народом встечаться, с одного взгляда можно от людей отличить. Или я не права?
- Нууу, Галина Васильевна, этак вы договоритесь до того, что члены Центрального Комитета *нашей одной кому не с сисками пати* с женщинами из народа скрещиваться не могут, в смысле дети от такого секса уже не появятся. Как от скрещивания мыши с курицей– подал вдруг голос Онегин, очевидно, провоцируя Галину Васильевну и подражая речи вождя, продолжавшей мерно капать на наши головы из репродуктора наподобие капель на макушку во время известной китайской пытки,
- Да пожалуй почти что и так, товарищ Онегин. Я например уверена, что отбор начальников именно по таким ключевым признакам как косноязычие и

- происходит – сказала Галина Васильевна убежденно. – Поверьте: дебилность речи наших руководителей не только результат специфического образования, когда говорить по человечески *разобучают*... господа, да как же это по-русски сказать? обучают неумению по-русски говорить, и даже экзамены по этому главному предмету сдавать заставляют. Добро бы только себя, так ведь и юношество отупляют, цвет нации, студенческую молодежь. Но приобретенное в зрелом возрасте неумение говорить по-русски, конечно, не так всепобежающе, как врожденное. Подавляющее большинство наших начальников, несомненно, приобрело это эволюционное преимущество генетически.
- О каком эволюционном преимуществе вы говорите, Галина Васильевна? – поинтересовался Онегин, ухмыляясь.
 - Все о нем, родимом. О неумении на родном языке двух слов связать. Тот, у кого это качество органическое и неизлечимое, конечно, имеет гораздо больше шансов выйти в начальники чем, например, сын Ахматовой и Гумилева.
 - Так что же по вашему, в Советском Союзе каждый руководитель дебил? – запальчиво спросил Толя.
 - А разве это не очевидно, Анатолий Михайлович? Достаточно помолчать и радио послушать всего лишь одну минуту... Засеките, пожалуйста, время, Федор Федорович. Ну вот пожалуйста: *одеялы асвятого соси-изьма*. А ведь четырех секунд не прошло!
 - Проще вам надо быть, Галина Васильевна, проще, – посоветовал Толя, впрочем довольно таки дружелюбно.
 - Так ведь и это – лозунг из той же серии Анатолий Михайлович!
 - Какой еще серии? – пробурчал Толя.
 - **ВПЕРЕД К НЕАНДЕРТАЛЬЦАМ.**

Тут всем сделалось почему-то нехорошо и наступила пауза, заполненная впрочем, докладом Брежнева, долженствовавшим определить нашу жизнь на много лет.

- А могли бы вы доказать свою теорию, Галина Васильевна? – вдруг поинтересовался Онегин,
- Какую теорию, товарищ Онегин?
- О вождах-младенцах.
- Так это же проще легкого. Вы человек образованный и может быть слышали, что коэффициент интеллектуальности космонавтов НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ некой цифры, не помню какой, кажется 125 или 135. Это не мы, это американцы рассекретили. А знаете почему? Потому что доказано: слишком развитый интеллект и устойчивость психики в экстремальных условиях – две вещи несовместные. Примерно то же происходит с руководителями нашей партии и правительства. Только в гораздо более выраженной форме. Потому что у нас условия экстремальные везде и всегда. Где, кто, когда видел у нас неэкстремальные условия? Разве что в вечной мерзлоте или в отдаленных барханах пустыни Кара Кум, куда большевики еще не добрались. Нашей страной руководить – это вам не в открытый космос из космического корабля на полчаса в скафандре под контролем центра управления полетом выходить, это кудааааа похлеще. Почему начальство отбирает тех, кого над собой ставит, непрерывно и тщательно? Потому что от тех, кого оно над собой поставит, зависит его, начальства, жизнь. Естественно, до сияющих заоблачных вершин добираются

- только те, кто полностью соответствует правилам отбора. Ни разу в жизни не запятив себя отклонением от генеральной линии, которую провели по линейке. А что является отклонением от генеральной линии партии? Отклонением от мертвечины является любая живая мысль.
- И какой же коэффициент интеллектуальности должен быть у советского руководителя по вашему мнению, Галина Васильевна – спросил впередсмотрящий Онегин, поворачивая рулевое колесо разговора, чтобы вернуть беседу на круги ея.
 - У такого, кто принимает решения на уровне области, думаю, примерно на уровне ноль-восемь от среднего человека. – задумчиво сказала Галина Васильевна. - Но чем выше номенклатура, то есть, чем ближе начальники к Кремлю, тем, разумеется, их КИ должен быть ниже. Все ниже, все ниже, все ниже – почти как в песне, только с точностью до наоборот. Другого просто быть не может.
 - Вы наверно, оговорились, Галина Васильевна – вдруг встряла ни к селу ни к городу вечно веселая Тоня, до того думавшая, судя по пылавшим щечкам и горящим глазкам, о чем то эротическом и мысленно все еще находившаяся в постели. - Вы наверно хотели сказать, что руководителей партии и правительства отбирают не по неумению, а по умению говорить с народом.
 - Именно не по умению, а по неумению выражать свои мысли отбирают тех, кто нами руководить должен, комсомолка ты наша. Я не оговорилась.
 - Господи. Да зачем же это? – ужаснулась Тонечка.
 - Неужели не ясно?
 - Нет.
 - Так и быть, Тонечка объясню. Они ведь там наверху поголовно преступники. Или вы в этом сомневаетесь, Анатолий Михайлович?
 - Допустим. – мрачно сказал Толя. - Ну и что из того?
 - Неужели у нас с вами одинаковая точка зрения на сей предмет? А я уж привыкла, что мы с вами во всем диаметрально, – искренне удивилась Галина Васильевна как бы про себя. И продолжала: Поскольку они там наверху все преступники и у них одна банда, все должны быть повязаны. Все до единого! Логично, Анатолий Михайлович? Или пойти Саню спросить?
 - Вы говорите, а там посмотрим, - откликнулся Толя.
 - Ну вот, стало быть, этим бандитам, правительству нашему, не просто выгодно, а совершенно необходимо иметь таких соратников, которые не могли бы их предать и тайны банды раскрыть, даже если бы очень захотели. А самым верным является тот, кто все понимает, а сказать не может, не смотря ни на какие умственные усилия. Он то и есть лучший друг отдельного человека и Союза Советских Социалистических Республик в целом. Потому они все там, наверху, и являются верными сынами своей коммунистической партии, что изменить генеральной линии партии ну просто не в состоянии. То есть скаать *введем войска* или *наша цель коммунизм* – это они еще осият. Но повторить хотя бы в общих чертах, о чем они только что говорили в прочитанной речи, или вычислить в уме чему равно семь-ю-три – это уже выше их сил. Именно ограничение интеллектуальности сверху является главным тестом на способность к номенклатурной работе. Я своими ушами слышала как лет пятнадцать назад читая по бумажке, тогдашний секретарь обкома двадцатый съезд

коммунистической партии ХА-ХА съездом назвал. Вы вдумайтесь на минуту: может стать предателем таракан или воробей? Нет, дорогие мои, предателем может быть только че-ло-век. Леонида Ильича нашего генерального в плен брать бесполезно: хоть каленым железом пытай – не проболтается. Потому что говорить не умеет. Да и не помнит ничего толком. Одно слово – младенец, как справедливо заметил Анатолий Михайлович. И что еще более важно - ложь от правды нипочем не отличит тот, кто смысл произносимых им самим слов понимает с трудом. Сколько на детекторе лжи такого ни проверь – бесполезно. А им ведь врать всю жизнь приходится, нашим руководителям. Кто же сможет всю жизнь с трибуны врать органичнее, чем тот, кто по своему умственному уровню не отличает правду от вранья? Ответ, по моему, ясен.

Скажи эту антисоветскую тираду ктонибудь другой, не столь цельно скроенный, как Галина Васильевна, она привела бы в ужас всякого, кто ее слышал. Более того: хотя в нашей стране слово и есть дело, при Сталине... да чего все на прошлое спихивать? – и в наши сравнительно свободные времена руки честных советских людей сами потянулись бы к перу, а перо потянулось бы к бумаге – произнеси нечто подобное соплеменница менее уверенная в том, что имеет право на все. Однако спокойствие Галины Васильевны было таким неколебимым и естественным, что передалось остальным.

- Не знаю, Галина Васильевна, - проговорила вечно веселая Тоня. – О партии не знаю. А в ОБКОМЕ КОМСОМОЛА, где, как вы знаете, я теперь работаю, навзгляд очень даже сообразительный и шустрый контингент. И в органах, с которыми я соприкасаюсь по долгу службы, вроде бы тоже.
- Так то партия а то комсомол, - неpedленно отреагировал Онегин. – Комсомольские вожаки - циничные прагматики. Эта молодая поросль себя еще покажет! В органах люди, которые ничего не боятся сидят, это, я вам скажу, тоже совсееем другая порода. А в партии динозавры окопались. И не просто динозавры, а какие-то земноводные. Которые дышат не тем, чем прочие люди. Помяните мое слово: стоит чуть-чуть ослабнуть системе и позволить народу живого воздуха глотнуть разок-другой – и они вымрут. Просто от свежего воздуха. Потому что их жабрам для поддержания жизнедеятельности необходима вода из болота.

А Толя вопреки обыкновению, помолчал. И только через пару минут произнес:

- Ну вы даете, Галина Васильевна. Что-то вы сегодня больно сердитая. Но потом вдруг захихикал, и, прохрипел сквозь кашель: - А ведь неглупо. Очень даже неглупо.

Почесал в затылке. Сказал: “Мда.” Взял сковородку с яшницей и ушел с кухни.

Сопровождаемый своею живою тенью – Нонной. А я уйти не мог, я готовил себе и Верочке котлеты по-киевски по случаю наступавшего праздника, поэтому еще с полчаса вынужден был слушать Нашего Дорогого, обещавшего народу и мне лично светлые *сисисические* перспективы.

Закон Онегина

Раз пили мы с Онегиным и Верочкой у меня в комнате. Вдруг раздается звонок и я узнаю что ко мне едут друзья – композитор и два режисера с четвертого курса театрального.

- Отвернитесь – говорю, - товарищ Онегин.
- Зачем?
- Как зачем? Мне штаны переодеть надо – вот зачем.
- Онегин смотри на меня молча, что то соображая. А потом светлеет и с своей обычной хитровой усмешкой говорит:
- Не понимаю, зачем мне отворачиваться? Ты при мне можешь переодеваться?
- Конечно могу.
- А при Вере?
- И при Вере могу.
- Так переодевайся!

Верочка зарделась, и я вместе с Верочкой.

Ай да свободный Онегин! Я потом с психологами и сексологами советовался в чем секрет этого феномена смущения, но они так толком и не объяснили. Все сексологи и психологи дружно чувствуют что, если переодеваться в присутствии друга и дамы, или подруги и мужа, что то возникает при этом между теми, кто не раздевается, и что раздевание раздеванию рознь. Они при этом вглядываются внутрь себя и передают свои ощущения – такая у них наука. Но объяснить Онегина явление научно никто из них мне так и не смог.

Думаю, в теории раздевания еще много белых пятен. Не удивлюсь, если эффект, обнаруженный Онегиным, окажется новым психологическим и сексологическим законом. В таком случае необходимо беспристрастно сохранить для Истории, кем и при каких обстоятельствах он был открыт.

Мне чужой славы не надо. От своей бы какнибудь отбояриться.

Тайна Покрытая Совестью

Как то среди ночи Верочки пошла на кухню, и мгновенно вернулась сама не своя. Так быстро вернулась, что как бы и не уходила.

- Что с тобой, милая? – спросил я осторожно.
- Там такое, такое... - и она заморгала глазками, что бывало у нее признаком крайнего возмущения или испуга.
- Да что же там такое, Верочка? Что ты там увидела?

Верочка раскрыла губки, чтобы что то сказать, но опять закрыла их и вместо слов заморгала.

- Ну хоть намекни. Ну хоть примерно. Что там? Что ты увидела?

Верочка закивала головой, заморгала и сделала вторую попытку высказаться, но не смогла. Как будто невидимый дух зажимал ей рот кляпом.

- Господи, да что ж ты там могла такого увидеть, что и сказать не можешь? – начал предполагать я, ненавязчиво облегчая Верочке чистосердечное признание подсказкой, как следователь в советских фильмах давая подследственному папиросу. - Голую бабу? Голого мужика? Мышь? Крысу? Топор, с которого капала кровь? Леонида Ильича Брежнева произносящего речь? Половой акт?

Верочка улыбнулась, и сделала еще одну, на этот раз очень решительную попытку сказать правду. Она наклонилась к самому моему уху, вдохнула воздух – и сказала:

- Нет, не могу.

И больше ничего.

- Почему не можешь? Страшно?
- Стыдно. – сказала Верочка.

Пришлось вспоминать, кто из нас мужчина, надевать штаны и идти в Сакральню самому. Там ничего и никого не было. То есть абсолютно ничего необычного. Добиться от Верочки объяснений ни тогда, ни после, ни прямыми, как на профсоюзном собрании, вопросами, ни окольными, как на том же профсоюзном собрании, ответами мне не удалось. Так для меня и осталось тайной, что же такое запредельное видела Верочка на кухне. Что поразило даже ее, бывалую и закаленную нашей славной действительностью. Да так сильно, что и сказать то нельзя. А когда я встретив ее недавно, то есть спустя много лет, в метро -

и все мгновенно вернулось на круги свои,
прямо там, в вестибюле станции Нарвская,
как будто мы все еще лежим в объятьях и с тех пор не вставали - в Берлоге нашей молодости,

которой давно уже нет ни в Ленинграде, которого нет,
ни в СССР, которого нет,
ни во вселенной, которая пока есть и по слухам, все еще расширяется,
и которая Въехала к нам из туннеля впереди приближающегося поезда в виде кровати и ягодиц Геркулеса на противоположной стене,
и кровать эта сама легла под нас, а Геркулесова мякоть вдруг размножилась и прилепилась ко всем скульптурным группам, изображавшим рабочих и крестьян,
и белела на них, почерненных, на какую ни глянь,
спросил я Верочку еще раз, что же такое увидела она в ту ночь на кухне, она засмеялась, и хотела совсем было уже признаться, и даже раскрыла для этого ротик в котором все так же белели два ряда неправдоподобно блестящих и ровных, как у голливудской кинозвезды, зубов, но вдруг осеклась, поперхнулась и переменялась в лице, словно какой то не то злой, не то просто игривый дух не то срочно прилепший по вызову, не то постоянно следящий за одним из нас, все еще затыкает ей рот невидимым кляпом. Она только и смогла выговорить:

- Нет. Не могу. Стыдно.

Так что теперь уж точно что именно Верочка увидела на кухне и почему ей стыдно сказать об увиденном останется тайной для меня навсегда.

Паника

Как то, когда, как нередко бывало, двери обеих берлог - И Большой и Малой – были открыты для проветривания после очередного светопреставления, нараспашку, ко мне вдруг является Иван Александрвич собственной персоной. Я сразу понял что случилось нечто неординарное и предложил пенсионеру сесть. Иван же Александрович не сел, а вместо этого положил на стол передо мной лист бумаги и автоматическую ручку.

- Это что это? – удивился я.
- Написать надо – сказал Иван Илександрович с дрожью в голосе. - Очень надо написать.
- Да что же написать то, Иван Александрович? – спрашиваю – написать то недолго, да только что?

А вот что. В крестах (не тюрьме, а в квартире напротив, хотя и в тех, которая тюрьма, тоже) помещение освободилась. Иван Александрович пробовал получить комнату себе

как ветерану уж не знаю чего, но ему это не удавалось. То есть он все пытался и пытался, и продолжал пытаться (хотя, возможно, недостаточно энергично. Ах, если бы он только знал, к чему эта его нецеленаправленность приведет!) когда вдруг узнал, что комнату эту райисполком отдал. И кому? Человеку, отсидевшему! И не гденибудь, а именно в Крестах! И не по какой-нибудь статье, а за убийство! И отсидел человек в Крестах в ожидании суда полтора года. После чего, не смотря на длительность предварительного заключения, был судом оправдан, то есть не оправдан, конечно, а получил срок равный отсиденному, потому что настоящий убийца, нет, конечно, не с покаянной пришел, такие дураки только в фильмах об уголовном розыске бывают, а просто: не то из честолюбия, не то из каких-то совершенно уже потусторонних побуждений сознался в седьмом убийстве, которое в приговоре к высшей мере ничего не меняло, и сам на следственном эксперименте показал, где зарыл труп. Таким образом, этого отсидевшего полтора года за убийство падлу, даром, таким образом, жвавшего тюремный хлеб и все прочее, пришлось отпустить, и ему теперь, как ленинградцу, дают жилплощадь эквивалентную отобранной, и прописывают на ней. Но не куда-нибудь прописывают, а именно в квартиру Ивана Александровича, такая вот везуха. Причем именно в смежную с Иваном Александровичем и вместе с ним его достославной супруги комнатой комнату прописывают. И отделять теперь будет Ивана Александровича от человека, за которым он надзирал полтора года, не железная дверь с глазком, и даже не кирпичная кладка, а тонкая перегородка. Которую только тронь ломом – обрушится.

Более того: вроде бы он, этот оправданный убийца, уже получил ордер и должен въехать по нему в кресты, то есть буквально из одних крестов в другие, со дня на день. Так что даже добиваться аннулирования ордера, вроде бы уже поздно. И потому не суетиться теперь надо, а коллективно предпринимать.

- И чем же я могу быть вам полезен? – спрашиваю.
- Вы образованный человек – говорит Иван Александрович, - институты кончали. Напишите им туда наверх в горисполком, и в другие руководящие инстанции, что я старый- заслуженный...
- Старый заслуженный кто? – быстро переспросил я, уточняя.
- Вообще старый- заслуженный. И что много лет беспорочно работал в системе, и что меня никак нельзя селить в одну квартиру, а тем более через тонкую стенку с человеком, которого я надежно охранял от общества, потому что теперь мы с супругой на пенсии и охранять нас от этого бандита, особенно по ночам, некому.

Когда я понял суть проблемы, я извинился и вышел якобы в туалет. И, уединившись в ванной, долго хохотал до упаду. Такое, право, ни в одной стране мира не придумаешь, да и в нашей если рассказать – не поверят!

- Иван Александрович – сказал я, воротясь из непродолжительной ссылки – такие вещи с бухты барахты не делаются. Вы сначала соберите подписи жильцов по месту жительства, то есть вашей, а не нашей квартиры, а потом глядишь, и мы примкнем. И я вместе со всеми. Так как всегда, как и вы, стою на страже закона и спокойствия под его сенью. Потом глядишь - весь дом за нами потянется, А там поди и улица, как один человек, на вашу защиту грудью встанет. Но начать надо с вашей квартиры. То есть по месту прописки. Уверяю вас.
- Да чего с них взять, с моих соседей? Несерьезный народ. – Иван Александрович неопределенно махнул рукой. – А вы вот, Федор Федорович, образованный человек, воззвания всякие там пишете, вот бы и эту петицию накропали. А? Христом-Богом

прошу. Ведь убьет он меня. Точно, убьет. Чего ему? Он ведь за то время что у меня сидел, уж поди, смирился с тем, что убийца. И что это у него на роду. И тут вдруг я под боком. Нехорошо получается.

- Да за что ж ему вас убивать, Иван Александрович, - как бы удивился я.- Вы ведь всего лишь честно выполняли на нем свой долг перед обществом.
- Эх.Федр Федорович, - безнадежно махнул рукой надзиратель на пенсии. И вдруг резким борцовским движением, какого я от него ну никак не ожидал – ни в его годы, ни по повадкам - схватил со стола лист бумаги с авторучкой и строевым шагом пошел к Толе.

Что Толя кричал Ивану Александровичу, цитировать не рискну. Зная его не хуже чем я, вам и без меня это примерно ясно. Скажу лишь, чем дело кончилось. Кончилось дело, как и следовало ожидать, можно сказать ничем. Этого никого не убивавшего убийцу таки поселили в квартиру с Иван Александровичем. После этого голова последнего долго не появлялась в дверях с крестами, так что мне стало без нее как-то даже скучно и даже чуть-чуть тревожно, как художнику-нонконформисту после того, как наступит свобода творчества к которой он всю жизнь стремился и его искусство не будет интересовать никого, то есть совершенно никого, вплоть до тех, кто за ним раньше внималенько наблюдал. Несколько месяцев из квартиры напротив не приходило никаких вестей, как с дрейфующей льдины. Потом понемногу стало ясно, что никого не убивший убийца оказался сравнительно мирным, и дал Ивану Александровичу по морде в общей сложности всего раз восемь, не более того, да и то в трезвом виде, то есть тогда, когда он не был смертельно опасен. Потом этот никого не убивший убийца влюбился в какую-то проводницу и стал мотаться с ней по всей стране, так что комната его большей частью пустовала. Ивану Александровичу, однако, это решение проблемы казалось временным и генерального успокоения не принесло. Судя по всему, он чувствовал себя мышкой в клетке, в дверцу которой сует лапы и морду котяра, так что его эксперимент на лестнице по поддержанию своих чувств в форме был в некотором роде пророческим. Хотя голова Ивана Александровича все же через некоторое время вновь стала появляться в дверях с нарисованными на них крестами, но не с той регулярностью как прежде. И главное – она, голова эта, навсегда перестала быть говорящей.

К О Н Е Ц Н А Ч А Л А

Всемирный Потоп

Однажды в три часа ночи я проснулся оттого, что моросил дождик. Я лежал с закрытыми глазами, обняв Верочку, и явственно слышал перестук капель. Странно – подумал я лениво и плохо чего соображая – вчера был мороз за тридцать, и вдруг оттепель.

- Ты слышишь, Федя? - спросила чуткая Верочка.
- Что, милая?
- По моему, вода с потолка капает.
- Успокойся, Верочка, это за окном, - сказал я и повернулся на левый бок.
- Федя, Федя, - вдруг запищала Верочка, как если бы увидела мышь - да ты только погляди.
- Куда я должен глядеть?
- На потолок.
- Зачем?
- Там... там...
- Что там...
- Там Амур писает.
- Он уже сто лет как писает, - говорю сквозь сон – на то он и Амур чтобы писать. Спи, Верочка.
- Да, но он водой писает.
- Только чуда нам не хватало, – пробурчал я, - Чудотворные амуры на нашу голову.

И вдруг в самом деле услышал, что с потолка - не из за окна, а совершенно определенно с потолка - льется струйка.

- Что за чертовщина? – вздрогнул я, не открывая однако же глаз - неужели духи шалят? – отлично понимая, что дождь с неба может лить на третьем этаже пятиэтажного дома только в сказках. Однако в тот же момент, как по заказу, почувствовал влагу на своем лице, и с гримасой отвращения утеревшись, открыл один глаз. Что такое? С того самого места амура, с какого ей обычно и полагается у мальчиков, текла струя. Что за дела в самом деле? Не возвращаются же к нам, язычникам, боги Греции и Рима! Не может же быть, чтобы у них там наверху произошел венный переворот! Не находя рационального объяснения этому феномену, я проснулся. Холод в комнате стоял страшный и вылезать из-под одеяла не хотелось. Поэтому я меланхолично наблюдал, как капли переместились по потолку, словно ими управляла с небес злая сила, и закапали непосредственно нам с Верочкой на головы, так, что игнорировать их было уже невозможно, ибо они действовали, как первая стадия аналогичной китайской пытки. К тому же из того угла, где под потолком летал хулиганчик Амур, явственно послышалось журчание уже не струйки, а изрядной струи. Дождаться, пока на нас обрушится водопад, а возможно и потолок, не позволял здравый смысл.
- Федя, ты слышишь?- спросила Верочка, зажмурившись и в испуге прижавшись ко мне.

Вспомнив, кто из нас двоих мужчина, я мужественно прошел через комнату и включил свет. Тут все прояснилось. В комнате был маленький Бахчисарайский фонтан: капли падали с потолка на чемодан, с чемодана на шкаф, со шкафа на коврик, с коврика на пол, с пола в щели между паркетинами и в них исчезали из виду.

- Как красиво! – сказал Верочка с восторгом, спросоня слабо соображая. Я лег назад в постель, стуча зубами от холода и согреваясь чем попало. Но тут в другом конце Берлоги, а именно в том, где стоял замурованный в стену Геракл, с потолка обрушился водопад. И полил, и полил...

Мы вскочили и обалдело уставились на будильник. Было половина четвертого ночи.

- Надо бежать наверх, – решил я – Если у них там народное гулянье в парке, то это не значит, что из квартиры этажом ниже надо устраивать Версаль.

Квартира наверху всегда была для меня загадкой. Из нее никогда не доносилось никаких звуков, и честно говоря, я просто забыл о ее существовании. Наше королевство имело пол и потолок. Что там наверху? Может быть пальмы и море? Может быть тундра и олени с нанайцами? Может быть, инопланетяне? Может быть, древний Египет? Берлога была страной, имеющей крышу и входную дверь. А наверху была ойкумена, неведомая земля, в которую мне, Колумбу поневоле, надо было войти, да еще срочно и в самый неподходящий момент суток, когда начинаются, как сказал бы Меркуцио, все эти шутки королевы Маб.

Я поднялся наверх и позвонил. Дверь открылась мгновенно, как будто меня ждали. В коридор высыпало по крайней мере человек десять, всех мыслимых возрастов и полов. Никого из них я не запомнил, осталась лишь в памяти общее общущение чрезвычайной экстравагантности и пестроты, а также то, что одеты аборигены страны ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ были по последней моде сороколетней давности. Мелькали бескозырки, френчи, бушлаты, а также алые платочки повязанные на шейках и головах. Мне показалось даже, что среди встречающих меня был один генерал и два клоуна, но поручится за это я бы не мог. Не слушая моих объяснений, все эти фигуры, которые, как мне показалось спросоня, двигаясь, как восковые, то есть перемещались не двигая ногами, исчезли из коридора по своим комнатам, даже не открывая дверей. Последним дематериализовался – я мог бы поклясться - худосочный и совершенно голый господин, вольяжно прогуливавшийся до того меж обитателей королевства на один этаж выше нашего, то прикрывая цилиндром самое интимное место на своем теле, то раскланиваясь с его помощью, словно он дефилировал по Невскому Проспекту времен Гоголя.

- Вот они, духи – подумал я сквозь дрему.

Однако торчать в чужой квартире среди ночи было неуместно, да к тому же и зябко. Что-то надо было срочно предпринимать. Засим я постучал перстом в дверь комнаты располагавшейся над малой Берлогой – что было совершенно логично. Дверь эта была дубовая, старинная, с горельефом изображавшим танцующих дев и чудом сохранившимся стеклянным витражом в духе зрелого Бакста. За дверью было темно, и на все более настойчивые мои удары в нее – сначала костяшкой пальца, потом тыльной стороной ладони, а потом и кулаком - также не было никакого ответа. Я прислушался. Не было никакого сомнения, что в комнате из лопнувшей батареи лилась вода, потому что сквозь щели изнутри в коридор выходил пар. Это бывает сплошь и рядом, а особенно часто – когда морозы за тридцать держатся чуть ли не месяц. Но почему именно над моей берлогой? Почему несчастье капает на мою, сравнительно невинную, голову? Это было несправедливо и наводило на мистические ассоциации.

Я прошелся по коридору. За исключением звуков падающей воды и свиста пара, всюду было совершенно тихо. Ночь была на редкость тиха. Ни одна комната не подавала признаков жизни. Стояла полумертвая тишина. Ни души. Ни шороха. Что впрочем для без малого четырех часов утра не было удивительно. Удивительно было другое - что так много народа бросилось открывать мне дверь. Поразмыслив, я спустился вниз, в берлогу. Верочка сидела, зажавшись в углу кровати, поджав под себя ноги и укутавшись одеялом, так как вода уже залила пол по щиколотку. Часть Амура ниже пояса обвалилась на кровать, так же как и примыкавшая к ней заштукатуренная область на потолке. Ситуация ухудшалась с каждой минутой и надо было что-то срочно предпринимать. Твердым шагом я подошел к телефону в Корридоре, набрал милицию и сделал срочный вызов в квартиру над нами, решив проникнуть в злополучную комнату не иначе как с помощью органов власти, чтобы не дай бог не нарушить закон о неприкосновенности жилища. После этого, на всякий случай захватив разводной ключ и молоток, а также набросив рубашку, я опять поднялся наверх и стал ждать властей в Корридоре. Вдруг из комнаты, размещавшейся над толикиной, потягиваясь, вышел мужик в тельняшке, напевая под нос матросский Тонец яблочко и приплясывая. Нимало не удивившись моему присутствию, он дружелюбно спросил:

- Тебе что, парень?

Я объяснил. Матрос нахмурился.

- Труба твое дело. Они только вчера в Сочи уехали.

И загоготал. Но вдруг посерьезнел. Без всякой промежуточной эмоции между этими двумя состояниями.

- Да ты не дрейфь. Я сейчас.

Он ушел на в комнату и вышел из нее чрезвычайно сосредоточенным, с топором на плече, напоминая дровосека из сказок братьев Grimm. А у него там тоже лестное царство – мелькнуло у меня в голове. Театрально одетые персонажи – или духи, не знаю, все как один вновь материализовались, с интересом наблюдая за действиями моряка, причем ближе всех стоял голый с цилиндром, висевшим на его центре тяжести, как на вешалке. Матрос между тем поплевал на руки, примерился, и прикрикивая при каждом ударе Ээээ! Мать честная... принялся остервенело рубить дверь, в несколько минут искромсав ее в щепки. Войдя через образовавшийся пролом в комнату, он включил свет, вытер пот, ловко всадил топор в паркетный пол, как дровосек в пень, на мгновение засиял улыбкой и загоготал, но потом опять резко посерьезнел – и исчез. Вместе со всеми остальными ирреалиями.

Этот хлопец точно из песни *Широка страна моя родная* вылутился – подумал я почему то. Как там поется? *Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать – улыбка до ушей. Но сурово брови мы насупим...* - и сразу рождается непреклонность к врагам и ненависть. Без всяких золотых середин и промежуточных эмоций.

Я вошел в комнату с топором сквозь образовавшийся проем и осмотрелся.

Горячая вода хлестала из лопнувшей батареи, напоминая о водах в Древнем Риме, которые как известно текли свободно ибо кранов одетые в тогу не признавали из высших соображений. Пары поднимались к потолку, придавая апартаменту совершенно мистический вид. Я попробовал представить, кто же на этой жилплощади проживает, но это было нелегко, ибо в комнате мирно уживались славянский шкаф, барочное кресло, три табуретки и сервант красного дерева в стиле ампир. Было, однако, тепло, а дышалось легко, как в бане по белому. Разомлев, я вытащил из пола топор и,

машинально поглашивая обух, сел было на минуту в кресло, по русской привычке раздумывая: *Кто виноват?* и *Что делать?* одновременно. И вдруг понял, что первое что надо сделать – это смыться. В самом деле: я, свободный художник мысли, за которым уже по этой одной причине по пятам ходят компетентные органы, находился в квартире к которой не имел ни малейшего отношения (и даже в квартире внизу официально прописан, разумеется, тоже не был), и в нее, в квартиру эту, вот-вот должна приехать милиция - по моему между прочим собственному же вызову! - и нахожусь я вдобавок в неизвестно чьей комнате с разбитой вдребезги дверью, до пояса голый и с топором.

Особнав это, я сделал шаг к лестнице – но поздно. В квартиру ЭЙ, НАВЕРХУ через уже входили два милиционера, при появлении которых восковые фигуры лишь на мгновение материализовались – и опять дружно исчезли, оставив после себя запах духов *Красная Москва* и водочного перегара.

Однако опасениям моим не суждено было сбыться (лишнее доказательство верности изречения мудреца сказавшего: *События никогда не развиваются так как мы того хотим или опасаемся*). Есть в моем лице что-то такое русское, что заставляет всех – от полковников и продавщиц до дворников и академиков - принимать меня за своего. Вот и эти милиционеры тоже: ничуть не удивился они ни мне, ни разбитой двери, ни хлещущей из батареи воде, ни топору - ничему.

- Это уже семнадцатая за дежурство, семнадцатая, – сказал один из них другому, не уточняя, что именно он нумеровал.

Не спрашивая у меня документы и вообще ни о чем, парни в форме вызвали по телефону пожарную после чего деликатно поинтересовались, нет ли чем согреться (что было совершенно понятно по человечески, учитывая холодину на улице, с которой они заявили всего пару минут назад). Я жестом предложил стражам закона поискать в в буфете самим. Они быстро что-то нашли, разлили это что-то по стаканам и мы дружно выпили это что-то. Остальное я помню в тумане. Не то пары сгустились, не то я окосел. Помню, что мы трое как то мгновенно сдружились. Помню двух пожарников в касках и с брантсбойтом, какую то даму в бигуди и чулках на босу ногу и домового Кузю невесть откуда взявшегося. В конце концов, когда уже рассвело, вода была намертво перекрыта кем-то, кажется все тем же матросом, а не домовым Кузей, который пил вместе с нами принесенный им же одеколон. Водопад из *батареи-огонь* прекратился, а с ним и спасительный пар, без которого скоро стало очень холодно. Я вернулся к себе и заснул. А когда проснулся, было уже одиннадцать. Вода в Берлоге стекла вниз, и дальнейшей ее судьбой никто не интересовался – по крайней мере нас никто снизу не потревожил, ни тогда ни вообще. Но вместо этого все квартиры по вертикали – и наша, и те что наверху – две недели жили в тридцатиградусные морозы без парового отопления. Что впрочем также никого не удивило. Настолько, что никто даже не спросил меня о том, почему отключены батареи и что было ночью. Вот только потолок был совершенно изуродован. Больше всего пострадал амур, у которого на пол упали целые куски тела, в том числе очень важные для его художественного восприятия. И я понял, что придется раскошелиться на серьезный ремонт.

Происшествие это при всей своей тривиальности и обыденности много лет заставляло меня возвращаться к нему мысленно вновь и вновь. Дело в том, что Берлога представлялась мне вселенной, которая однако благоразумно не расширялась, ибо у нее

были стены, пол и потолок. И вот я оказался в другой вселенной, в другой ойкумене, которая при всех отличиях было до безумия похожа на нашу. В сущности, побыва на другой планете, я увидел то же самое, что вижу на нашей, хотя и абсолютно другое. И это было удивительно.

И пригрезились мне квартиры, составленные из одинаковых и в то же время совершенно непохожих друг на друга жильцов, дома из одинаковых, хотя на первый взгляд совершенно различных квартир, город из одинаковых в сущности домов, а страна из одинаковых городов. То есть структуру повторяющую себя саму во всех масштабах.

И представил я далее, что в каждой квартире есть свой мужик, в тельняшке или без тельняшки неважно, который может вот так запросто раздолбать топором все что попадет, будь то старинная дверь, библиотека, страна, вселенная, и будет увеличиваться в размерах до тех пор, пока не охватит всю землю, а за ней и весь мир, и ему просто некуда дальше будет распространяться.. Для которого нет предела никаким масштабам – ни масштабам воровства, ни преступления, ни насилия, ни страсти, ни скорби, ни сострадания, ни любви – ничему...

И что же будет дальше? Что будет дальше? - спрашиваю я вас

Обломок, Который Прекраснее Целого

Пройдя в ванную мимо ночной рубашки, после чего, успев раздеться, стать под душ и намылиться, пофыркивая под струей, услышал (как если бы звук до меня летел со скоростью ветра, а может просто дошло не сразу, что, в сущности, одно и то же) фразу, сказанную Ночной Рубашкой, когда я проходил мимо нее:

Когда я буду девушкой...

Я не сразу сообразил, что меня поразило в этом обломке мысли. Ну да, конечно, несостыковка времен. Господи, какое это счастье, когда можно думать о молодости, как о чем то, что ждет впереди.

Обломки греческих статуй, как утверждают знатоки, столь же прекрасны, как и целые статуи. Которых, впрочем, никто из них не видел и никогда не увидит.

Ледниковый Период

После того как домовый Кузя перекрыл краны парового отопления забыв спустить воду, отчего в доме полопались трубы, в Берлоге наступил *период всеобщего обледенения*. Так его окрестил Онегин, и произносил он слово *обледенение* раз по сорок на дню, с видимым удовольствием и делая ударение на букве 'Я' во втором слоге. Которого там до того отродясь не было. Пещера встретила ледниковый период, как будто ждала его, так что когда он наконец пришел, ни для кого, по крайней мере если взглянуть со стороны, это сюрпризом не было. А к чему мы, собственно не готовы? Ко всему мы готовы. Кроме, конечно, нормальной жизни ²³.

²³ То есть когда мы говорим, что готовы, как юные пионеры или космонавты, не уточняя к чему именно (эту нашу особенность отметил еще Михаил Евграфович Салтыков Щедрин, тонко отметивший, что важна даже не столько сама готовность, сколько изъявление готовности), имеется в виду, что мы готовы к любому апокалипсису. Но не нормальной жизни. Если же эта нормальная, милая, благополучная и

Отопление, как я уже говорил, было перекрыто домовым Кузей в шестом часу утра. В восемь в квартире стало холодно. В десять утра – очень холодно. К полудню нестерпимо холодно. А когда к двум часам дня на потолке моей малой берлоги образовались сосульки, я оторвал глаза от формул и понял что надо действовать. Вот тут-то и проявились лучшие качества нашего народа: смекалка, коллективизм и взаимовыручка. Хотя каждый действовал по принципу *спасайся как можешь*, ни у кого не было сомнения что выживем все. И выжили! Причем никто не заболел не то чтобы воспалением легких, а даже насморком. Что, честно говоря, оборотясь во времени назад, и приняв во внимание, что в течение двух недель температура на улице не поднималась выше минус двадцати, было совершенно загадочно и может быть объяснено только таинственными свойствами русской души.

Первым, как и следовало ожидать, стал действовать Толя, как наиболее приспособленный к обитанию где бы то ни было. В половину четвертого, заметив, что становится холодновато, он встал со своего верстака, одел ватник и куда то исчез. А через полчаса притащил на кухню автоген, листы железа и выломанные откуда-то секции водосточной трубы. Затем топором открыл дверь на черную беломраморную лестницу и приступил к сварке. И уже меньше чем через час сварил. Нет, не суп. И не кашу. Печку - буржуйку! Галина Васильевна, Аленушка, Нонна и Ночная рубашка, интерес которых в данном случае был усилен холодом, внимательно смотрели за тем, что делает Толя, с кухни, греясь у газовых плит, но вопросов не задавали.

- Что это вы мастерите, Анатолий Михайлович? = спросила Галина Васильевна без малейших признаков волнения, когда Толя выключил автоген и снял маску.

- Буржуйку, разве не видишь, – ответил Толя не оборачиваясь.

- Мне кажется, что вы не имеет права ставить в нашей квартире буржуйку – сказала Галина Васильевна, впрочем, совершенно спокойно. – Она представляет опасность в отношении возгорания и возможности утечки углекислого газа. Даже на установку печки требуется архитектурный проект и письменное разрешение пожарной инспекции. А тут – буржуйка.

- А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею, – ответил Толя не оборачиваясь. Закончив сварку, он спихнул остатки железа в пролет лестницы – и они упали где то далеко внизу с грохотом, отдаленно напоминающим звук литавр. Потом он взял печку в руки, трубу в под мышку, и потащил агрегат в свою Тайгу. Галина Васильевна, Аленушка, Нонна и Ночная рубашка беззвучно последовали за ним.

- Не делая ни одного лишнего движения, Толя вынул оконные рамы. Вырезал стеклорезом в стеклах в левом верхнем углу каждой фрамуги по круглые дырке. Да так точно, что, если бы эту его работу увидел великий живописец итальянского возрождения Джотто, прославившийся тем, что в доказательство своего мастерства одним движением начертил окружность, которую современники не могли отличить от проведенной циркулем, Толик бы немедленно был причислил уже за один этот шедевр к сонму великих мастеров.

безопасная жизнь вдруг свалится нам как снег на голову, мы сделаем все, чтобы условия опять стали экстремальными. Мало того – добьемся этого! Победим катаклизм! И выживем!

Затем Толик примерил заранее сваренную из водосточных труб вытяжку к отверстиям в стеклах. К моему изумлению, они оказалась прилегающими друг к другу так плотно, что между ними не пролетела бы и муха. Да, пожалуй и комар бы не прополз, разве что по пластунски. Чудеса, да и только. А с другой стороны, а кто бы сомневался!

- - Какой там Джотто! – с восхищением подумал я, и вспомнив, что Ренуар гениальность прачки ставил выше гениальности художника, немедленно провел русскую параллель. В которой Толя становился просто богоподобным.
- Вы не имеете права, Анатолий Михайлович, ставить буржуйку - повторила ответственная съемщица Галина Васильевна.
- А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею,- не оборачиваясь и не отвлекаясь от работы ни на секунду сказал Толя и вставил рамы в окна. Затем, приспособив более короткий и загнутый (две части конструкции были сварены под правильным углом и в точности там, где это было нужно!) конец вытяжной трубы к дыркам в стекле, а более длинный к буржуйке, вывел трубу наружу. Все элементы устройства подходили друг к другу, как части автомобиля Мерседес. Но там над такой феноменальной точностью работали тысячи рабочих и инженеров и вкладывались миллиарды долларов, а Толя произвел чудо в одиночку, с первого раза, и практически голыми руками если не считать стеклореза и автогена. С одной стороны, русское чудо. Но с другой – а кто бы сомневался!
- Вы не имеете права, Анатолий Михайлович, ставить буржуйку, - повторила ответственная съемщица Галина Васильевна в третий раз, так же холоднокровно как и в первые два.

А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею,- в третий раз сказал Толя. Затем он, не делая ни одного лишнего движения, наколол из заранее принесенных дров и досок чурки нужной длины, присев на корточки запихал их в буржуйку, положил в топку прямо с пола стружек и щепок *сколько надо*, и чиркнул заранее заготовленной спичкой о коробок. Стружки мгновенно вспыхнули. То есть стружки в печке, а не на полу, разумеется.

- Вы не имеете права, Анатолий Михайлович, разжигать буржуйку, - повторила ответственная съемщица Галина Васильевна в четвертый раз, так же холоднокровно как и в первые три. – Вы ведь этак, поди, весь дом спалите.

А вот сейчас посмотрим, имею я право или не имею,- сказал Толя. Закрыв дверцу. Затем только один раз стрельнул глазом вдоль трубы, очевидно проверив, не идет ли дым в комнату (разумеется, ни о каком дыме не могло быть и речи!). Удовлетворенный результатами эксперизы, сел к верстаку. И возобновил прерванную работу над фигой. Галина Васильевна, Аленушка и Ночная рубашка поняв, что смотреть и обсуждать больше нечего, ушли на кухню греться у газовой плиты.

- Он не имел права ставить буржуйку, - сказал я Галине Васильевне, ищущая.
- Ну раз поставил, наверно имел, - совершенно спокойно сказала Галина Васильевна. И больше к этому вопросу не возвращалась.

Себе Галина Васильевна купила электрическую печку. Которая, конечно, была не столь эффективна, как буржуйка – просто смешно сравнивать! - но ее мощности хватало на то, чтоб обогреть приставленную вплотную кровать. Геракл Саня днем разогревался выжиманием гирь, ночью же спасался под вербьюжьими одеялами, а также шерстяным водолгазным свитером, который я одалживал ему на ночь.

Кухня была внезапно переоборудована Онегиным досками и фанерой в стиле-тяп-ляп, но с практической точки зрения исключительно рационально. Она была поделена им перегородкой на кухню и кухню таким образом, что две газовые плиты, окно и стол Галины Васильевны образовывали одно замкнутое помещение, а остальные столы и холодильники – другое. В результате, в Малой Сакральне возле газовых плит можно было греться, как в пещере каменного века у вечного огня, и в кухне установилась тесная дружественная обстановочка, временами до того тесная, что Ночной Рубашке было негде почитать Библию.

Колин предбанник был переоборудован для выживания в экстремальных условиях Димой На Все Руки. Сообразив, что замурованный с незапамятных времен камин когда-то работал, он разобрал кладку, прочистил уж не знаю каким молитвами дымоход, восстановил инкрустированный кафель и триумфально зажег в камине антрацит, который Коля тем временем успел притащить в ведре из кочегарки дома напротив. Уголь в камине загорелся так же, как и Толина буржуйка – с первого раза (А кто бы сомневался!). И тепло распределялось по комнате очень приятно и равномерно. И вытяжка работала безукоризненно. И угольки мерцали, да так призывно, что Ночная Рубашка переместила табуретку с кухни к камину, и часами смотрела в него, не читая. Так что в предбаннике в экстремальных условиях стало, пожалуй, даже теплее и уютнее, чем до того, как эти экстремальные условия возникли.

Я спасался: днем - верблюжьим свитером который был выдан мне в вечное пользование после работы водолазом-спасителем (кстати сказать с декабря по март!!) , верблюжьим же одеялом, которое на английский манер использовал, как плед, и обогревателем одолженным мне первой виолончелью второго состава оркестра филармонии; а ночью - в пуховом спальнике, в котором я где только не спал? - разве что под снежной лавиной.

Нюша и Валентин, Витька и Саня обогревались преимущественно русским народным способом, а последние двое сверх того и интернациональным, то есть в паре с юной Нюрой и одной из ее отзывчивых подруг. Для них условия и не были экстремальными в русском смысле этого слова, которые наступают тогда и только тогда, когда опохмелиться нечем. Лишь изредка, когда условия становились действительно экстремальными (смотри предыдущее предложение), забегали они на огонек то к Толе, то к Коле, то ко мне, то на кухню. Где нередко и засыпали – то есть то там, то сям, то днем, то ночью.

Что касается старой женщины, то как не замерзла она, осталось тайной. В комнату свою она, как всегда, никого не впускала и помощи ни от кого не просила. На кухне она не оставалась ни одной лишней минуты и порой исчезала за своей дверью по несколько дней. Однако то, что она была все время жива, не вызывало сомнения, так как из ее комнаты почти непрерывно доносились звуки рояля. Так как было непонятно, чем она могла согреться, то все решили, что музыкой – потому что, вроде больше нечем. Это предположение вызывало у греющих руки над газовыми конфорками обитателей Берлоги уважение к интеллигенции и таящихся в ее недрах резервах.

В экстремальных условиях переставших быть экстремальными жизнь в берлоге текла не менее бурно, чем в полевых. Я бы даже сказал, что стала напряженнее и острее. Потому что у всех, наряду с личными проблемами, желаниями и стремлениями появилась общая цель. Только пространство внутри Большой Берлоги из никакого превратилось в русское, и, еще недавно однородное, расщепилось на две части: тепло, оно же дом, и холод, он же улица (даже если эта “улица” – Корридор), которую надо пробежать как можно быстрее, чтобы прийти к теплу очага. Ну и кто сказал что это плохо? Может быть это наоборот: замечательно. Может быть в этой нероднородности русского пространства секрет незападной цивилизации, которую никогда не понять тем, у кого бананы растут на пальмах сами по себе и кто может лежать на пляже хоть сто лет подряд прямо у своего бунгало. А неоднородность нашего пространства-времени стимулирует взаимовыручку. Коллективизм. Смекалку. И вообще жизнь в ее высшей форме – борьбе за общее счастливое выживание, а не друг с другом.

Ледниковый период закончился так же внезапно, как и начался. Сначала температура за бортом, то бишь на термометре за окном, вдруг снизилась до нуля. А через пару дней вообще стали топить. Что было неожиданно и как бы уже не очень то и нужно, так как все обитатели Большой Берлоги прекрасно приспособились к новым экстремальным условиям и продержались бы в них столько, сколько необходимо.

А перегородка на кухне, кстати, простояла еще много лет – то ли по безалаберности жильцов, то ли на всякий случай. Так же как, впрочем и буржуйка. И то верно: если никому не мешают, зачем ломать? Пусть будут!

Мощная Интеллигентная Настя

Настя, девушка грандиозных русских габаритов и тонкого петербургского ума, регулярно забегала ко мне на огонек чтобы согреться всеми доступными ей способами – включая беседу. Получив диплом филфака университета (название этого факультета, кстати, всегда забавляло меня, так как при первом же взгляде на его выпускниц оно невольно понималось не как образованное механически путем сокращения двух слов, а как вполне самостоятельное сложносочиненное слово, состоящее из древнегреческой приставки и ядра на современном английском) пошла работать экскурсоводом по, как тогда говорили, Историческому Центру. После чего эта богато одаренная душой и телом горлица, как пищу разевающему рот птенцу, стала приносить мне в клюве свежие впечатления.

Проводя свою первую экскурсию, на улице Герцена (во времена оные Большой Морской), как и положено, Настя указала туристам на дом, где жил товарищ Герцен. При приближении к Исакиевскому собору она напоявила о восстании господ декабристов. А напротив Медного Всадника, в полном соответствии с циркуляром, подробно рассказала о ходе восстания, показывая пальцем сквозь открытое окно автобуса (дело было летом) где и что происходило и кто куда двинулся, после чего с горечью поведала о трагическом завершении правого дела. Однако же в заключение, дабы не убавлять, а прибавлять оптимизма экскурсантам, в полном соответствии с инструкцией, Настя успокоила их канонической Ленинской цитатой, в которой

говорится о том, что декабристы разбудили Герцена и Герцен развил революционную агитацию.

Какие будут вопросы? – строго спросила Настя, в полном соответствии с инструкцией, прежде чем дать сигнал шоферу тронуться в дальнейший путь.

- Так что же, восстание декабристов ночью было, что ли? –

Нахмуря брови до опущенного им природой предела и явно пытаясь проникнуть в историю сквозь плотную временную завесу, спросил Настю мужчина с повадками политинформатора.

- Почему ночью? – не поняла Настя.

- Потому что вы так сказали.

- Что я сказала?

- Что декабристы разбудили Герцена.

- Ну и что?

- То есть как это ну и что? Это, может быть, если вас, девушка, внезапно разбудят, вам это по фиг! Декабристы же, как было отмечено Лениным, пошли другим путем. Они пошли не куданибудь, а вон за тот угол, пришли в дом, где жил Герцен, разбудили колокол революции, и пока их стреляли и вешали на сенатской площади, Герцен уехал за границу и развил революционную агитацию. Результаты которой налицо.

В другой раз Настя везла по Ленинграду группу передовиков с Украины. Все сидели тихо и смиренно, как положено. Несанкционированных вопросов не задавали. И только когда подъехали к Медному Всаднику, раздалось незапланированное восклицание. Это сидевший на переднем сидении усатый и упитанный староста группы передовиков вдруг округлил глаза, и, уставившись на статую Петра Первого, упруго распрямил ноги, словно они были в стремях, выбросил руку вперед, но не зажатую в кулак, как если бы держал ней шашку, а с открытой ладонью а-ля вождь пролетариата, и непроизвольно воскликнул, в едином порыве обращаясь и к возглавляемому им коллективу, и к самому себе одновременно:

“Гляди! Чапай!”

... В Исаакиевском Соборе, неподалеку от отсутствующего иконостаса (о котором, тем не менее, Настя добросовестно рассказала, какую невероятную художественную ценность он некогда представлял, равно как и о том, что в этой крупнейшей в России церкви до Великого Октября молились не только члены царского дома, но и придворные, и офицеры гвардии, включая гвардейцев конногвардейского полка, манеж которого, кстати сказать по сей день находится на Исаакиевской площади), неким рабочим парнем с вихрастыми волосами и такими же вихрастыми мыслями был задан вопрос:

- Так значит, центральный собор российской империи потому построили таким здоровенным, чтобы в нем не слезая с коней молиться?

- Не слезая с коней? – повторила Настя, опешив. И продолжала, оправившись от потрясения:

- Вашей гипотезе, товарищ экскурсант, нельзя отказать в свежести. Можно смело сказать, что, если она подтвердится, вы сделаете недюжинное историко-культурное открытие. А в чем вопрос?

- Вопрос в дверях. Они потому такими высоченными запланированы, чтобы Царь и его свита не слезая с коней в божий храм въезжали? Или еще для чего?

Настя внимательно взгляделась в лицо молодого человека с вихрастыми мыслями, пытаюсь понять, шутит он или нет. Но в лице юноши не было и тени юмора. На нем была написана любознательность и ничего более.

- Двери Исаакиевского собора, товарищ экскурсант, вполне соответствуют общему замыслу архитектора Монферана. Частью которого было дать адекватное представление о величии российской державы, - сказала, как отрезала монументальная Настя. - И кони тут ни при чем. Хотя придуманная вами картина – признаю! – может претендовать на величие.

- Тогда при чем тут кони?

- Это я вас спрашиваю: при чем тут кони?!

- Да вы же сами только что сказали.

- Я?

- Вы!

- О конях в соборе?

- О конях в соборе.

- Товарищ экскурсант, я совершенно уверена, что вам послышалось. Ни о конях, ни о кобылах в соборе я не говорила. Ни словом ни намеком. Конногвардейский манеж упомянула, конногвардейский полк упомянула, а о конях в соборе – ни ни.

- Как так не говорили? Да у меня тут почитай целая группа свидетелей, что говорили.

И вихрастый молодой человек с мыслями набекрень обернулся к одноклассникам за поддержкой. Народ выжидательно безмолствовал.

- Нууу, так мы с вами далеко зайдём, товарищ. Ответственно говорю вам: ни кони в соборе, ни кони в сенате в российской империи приняты не были.

- Да что вы из меня дурака делаете? Я же за вами записывал. Кто сказал, что царь, высший свет и офицеры гвардии перед иконостасом молились – вы или я?

- Перед иконостасом молились? Говорила. Признаю. Ну и что?

- Вот. А говорите не говорили.

- Но кони то при чем?

- Как при чем? Иконостас – и не имеет к коням отношения?!!

Десятки пытливых глаз были устремлены на Настю. Народная масса напряженно ждала ответа.

- То есть они решили, что слово иконостас происходит не от слова икона, а от слова конь, – со вздохом закончила Настя свой рассказ. – А ведь потомки христиан, вроде бы!

Летом Настя подрабатывала на экскурсиях по городу Пушкину, до наступления эпохи диктатуры пролетариата именовавшегося Царским Селом. В лицее, Настя, воспитанница школы легендарного профессора русской литературы Бялого, обычно задерживалась не менее чем на полчаса, с энтузиазмом повествуя о юношеских годах великого русского поэта в том самом месте, где они проходили. В результате женщиной средних лет, в очках, похожей на учительницу из глубинки, Насте был задан такой вопрос:

- Интересно узнать, какова была судьба Пушкина после лицея??

- После лицея Пушкин стал великим русским поэтом, товарищи, -

громко ответила Настя. – Какие еще будут вопросы?
Больше вопросов не было.

При пешем прохождении через Летний сад, в строгом соответствии с утвержденной Управлением Культуры диспозицией, после того, как Настя слегка просветила собравшихся, перечислив походя статуи аллегорий Искренности, Павосудия, Истины и Милосердия, а указав также на Сатурна, пожирающего детей, она скорее почувствовала чем увидела, что кто-то тянет ее за рукав. Монументальная Настя поглядела вниз и узрела, как ей показалось, далеко внизу, старушку. Божий Одуванчик, задержавшаяся на этом свете (по ее собственному утверждению) намного дольше положенного, указывал трясущейся дланью на стоящий на постаменте бюст (при ближайшем рассмотрении Настей оказавшийся Нероном), табличка возле которого отсутствовала. Убедившись, что внимание официального лица ею привлечено, святая простота перекрестилась и благоговейно прошамкала:

- Милая, а здесь кто похоронен?

До того Анастасия и подумать не могла, что кто-то может воспринять Летний Сад как кладбище. Однако, начиная с этого самого вопроса, Настя стала глядеть на памятник садово-парковой архитектуры, с разбития которого, в сущности, началось прорубание окон в Европу не выезжая из дома, новым взором. И в самом деле: смотря на мир объективно и непредубежденно, расставленные вдоль дорожек через равные интервалы скульптуры на пьедесталах и постаментах, а также таблички, воткнутые в примыкавший газон, что-то такое навеивают. То есть не то, чтобы Настя вспоминала набожную бабушку (у которой с кладбищем, как выяснилось из последовавшего разговора, ассоциировалось решительно все) совсем без от улыбки. Но будучи девушкой начитанной и воспитанной на легендах и мифах Древней Греции, в частности, на мифах о Ниобее и Галатее, а также на метаморфозах Овидия и Божественной Комедии Данте, для себя Настя решила, что в этой хтонической ассоциации есть доля сермяжной сакральной правды. Прошу не путать с Ленинградской и Комсомольской правдами, а также с газетой Правда – главной правдой государства трудящихся.

По прошествии первых ста дней работы на новом поприще яркие впечатления Насти померкли, подобно тому как изначально яркие, по слухам, краски некоторых картин Рембранта со временем превратились в мягкие, какими видим их мы. То есть задававшиеся Насте вопросы, несомненно, неординарностью ничуть не уступали процитированным выше, просто на фоне предшествующих они стали казаться обыденными и уже не столь поражали. Как не могла бы сразить наповал турецкого султана красавица номер одна тысяча двести шестьдесят три после одной тысячи двухсот шестидесятью двух ей предшествующих, какой бы сексопильной последняя ни была.

За все последующие годы работы, вплоть до ухода в Новые Русские Девушки, Настя рассказала мне только одну свежую историю. К сожалению, только одну. Остальные, боюсь, навсегда канули в лету вместе с Настей, которой, по слухам, уже давно нет в живых. Взорвали ее в мерседесе, нашу Настю. Вместе с ее новым русским ухажомом, очумевшим от Настиных рекордно монументальных ног на Настину же утонченную голову. Но это было позднее. А в 1981 году все мы были еще живы и сравнительно молоды. Дело было зимой, и морозец был знатный. Прелестная могучая

Настя, прискакала ко мне в цигейковой шубке, едва прикрывавшей бедра ее феноменальных ног, и рассказала, что во время автобусной экскурсии по Историческому Центру только что произошло Нечто.

Настя сидела по правую руку от водителя, вещая в микрофон окологкультурную околесицу и, по обыкновению, не оборачиваясь к тем, к кому она обращалась. А говорила она примерно так:

- Посмотрите направо. Перед вами Медный всадник.
- Посмотрите налево. Перед вами Сенат и Синод.
- Посмотрите направо. Перед вами Адмиралтейство.
- Посмотрите Налево. Перед вами река Нева.
- Посмотрите направо. Перед вами зимний дворец.

При приближении к резиденции русских царей, она же цитадель Великого Октября, в Насте заговорила ленинградка. Она почувствовала, что, как бы ей ни было холодно, опускаться ниже дозволенной интеллигентностью лаконичности негоже. Засим она обернулась к народу, машинально продолжая нескончаемое *посмотрите направо... посмотрите налево...* - и тотчас рефлекторно, по женски, обнаружила в салоне нечто необычное, причем почувствовала она *это* примерно на полминуты раньше, чем уразумела умом, что именно *это* было. А было вот что. Головы экскурсантов продолжали дружно поворачиваться направо и налево, как будто они принадлежали солдатам в строю. И в этом, разумеется, не было бы ничего необычного. Если бы не маленькая деталь. Все окна в автобусе были покрыты сплошным слоем инея, сквозь который не было видно ничего. То есть абсолютно ничего, кроме самого инея.

Эта картина одновременно поворачивающихся, чтобы уставиться в никуда, голов была такой страшной, что Настя еще пару раз скомандовала: *посмотрите-направо-посмотрите-налево* (причем головы поворачивались так дружно, как если бы они были механическими, на шарнирах, соединенных общим карданным валом, или напротив - принадлежали одному многоголовому живому дракону, туловище которого скрыто сидениями) и только тогда отдала приказ: *Протрите окна, товарищи.*

- После того, как окна как по команде... да что я такое говорю: *как по команде?* Разумеется по команде и только по ней! – были дружно протерты, головы продолжали синхронно поворачиваться направо-налево как прежде, но уже с осмысленностью, присущей не роботам, а человекам разумным, елико пред органом зрения всякий раз представала новая явь.

- И что было дальше? – спросил я.

- А ничего. Экскурсия продолжалась в полном соответствии с программой ознакомления с Городом Трех Революций и одного Петра Первого...

Если кто-нибудь подумает, что я клевету на наших дорогих экскурсантов, а также на Простого Советского Человека, частью которого является Наш экскурсант, то этот Ктонибудь глубоко заблуждается. Они же мне как родные! Так бы и расцеловал всех вместе и порознь!! Да я и сам такой, плоть от плоти, особенно, когда трезвый, но и когда кирну тоже. К тому же, в качестве неоспоримого доказательства нашего превосходства над Западом приведу несомненный факт:

*При том, что валовые площади
экспозиций Эрмитажа и Лувра
примерно одинаковы,
очередь в Эрмитаж
в среднем в семь раз длиннее чем в Лувр!*

Кстати, именно в Лувре я при первом же посещении с удивлением обнаружил, что европейские люди перемещаются по этому чудо-музею потоками. Едва поднявшись на второй этаж по центральной лестнице, на вершине которой, как бы в благословении, распростерла крылья Ника Самофракийская (этаким протосерафимом, ибо обладала не шестью, а всего лишь двумя крыльями), я был немедленно вовлечен в мощный поток людей, текущий перпетуумом мобиле в некоем направлении. Приглядевшись к стене, мимо которой меня несло, я притормозил, ибо мне померещилась фреска Боттичелли. Приложив невероятное психологическое усилие, я вырвался из бурного потока на пустынный берег реки человеческой. Так и есть: Боттичелли. Но почему ни один человек не наслаждается этим шедевром? Почему всех несет мимо в какую-то сизую даль, Ника Самофракийская их дерит? Уж наверно, не зря. Уж наверно, Европа знает, куда прет – на то она и Европа! Засим я переместился в центр зала – и меня опять понесло. И тащило еще залов пять, пока я, как пассажир скорого поезда в фильмах о войне не соскочил на ходу, так как мог бы поклясться что меня в этот момент пронесло мимо “Святой Анны с Марией и младенцем Христом” Леонардо да Винчи. Эту картину ни с чем нельзя спутать даже при беглом взгляде: Мадонна на коленях у матери, Христос на коленях у мадонны. Приблизился: точно. Леонардо! И ни одного человека перед шедевром! Ни единого! Всех куда-то несет!

Я осмотрелся по сторонам. Батюшки! Еще один Леонардо. И еще. Да их вокруг как грибов! А вот и Рафаэль. Чудо какое!! Что за волшебная зала?! И куда же все таки несет этот бурный поток европейцев через ее центр, Боже ж ты мой?

Я осторожно приблизился к человеческой реке – ровно настолько чтобы не быть увлеченным, и увидел, что бурный поток европейцев несется вдаль вдоль длинной галереи, чтобы внезапно прекратить ламинарное течение в ее расширенной середине. В ней, середине этой, река людей образовывала человеческое озерцо. Что там такого невероятного в середине этой Луврской лоджии, что разом останавливает толпу, и позволяет каждому ее члену с удовлетворением сказать: *Лувр я повидал?* Ну да, разумеется. Все и вся устремлялось к Моне Лизе. Не видя и не желая видеть ничего кроме во время своего паломничества.

Так что процесс, нашедший свое отражение в наблюдениях Насти, царствие ей, красавице, небесное, всемирный. Просто интеллигенция является сообществом, везде и всегда находящимся в меньшинстве и одинаково чуждым большинству в любой части света, а не только в России. Будучи привитой к любому народному телу, она отторгается от него с вероятностью единица, как пересаженное больному чужое сердце.

И наши отечественные дуболомы, на фоне европейских не так уж и плохо смотрятся. Более того: расцвечивают толпу в любой части света всеми цветами нашей радуги.

Теория Русского Поля

Неисповедимы пути гения. Ньютон вывел закон всемирного тяготения сидя под яблоней. Менделеев открыл периодический закон переключая карточки. Онегин вывел три Закона русской жизни глядя на поставленную им на кухне перегородку. Которая к тому времени простояла около двух лет (и выглядела, прямо скажем, неказисто). Это очень по-человечески. Только глубоко заглядывая в конкретное можно вывести что то общее. Например, понять всех женщин, живя с одной. Или, понять, почему у нас все наперекосяк, вытаскивая грузовик из колеи.

Так или иначе, Онегин сначала долго смотрел на перегородку и о чем то напряженно думал, что было видно по лицу. Потому он взял лист бумаги и минут сорок работал над чем то, как Эйнштейн над общей теорией поля. И в конце концов, удовлетворенный, последовал он за мной в мою Малую Берлогу и прикрепил четырьмя кнопками к двери изнутри лист, на котором было начертано:

ТРИ ЗАКОНА РУССКОЙ ЖИЗНИ

ЗАКОН ПЕРВЫЙ: ПОКА КИРПИЧ НА ГОЛОВУ НЕ УПАДЕТ, НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ПОТОМУ ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО ОН НЕ УПАДЕТ НИКОГДА.

ЗАКОН ВТОРОЙ: ЧЕМ БЕВЫХОДНЕЕ СИТУАЦИЯ, ТЕМ СКОРЕЕ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НАЙДЕТ ИЗ НЕЕ ВЫХОД.

ЗАКОН ТРЕТИЙ, ЕСЛИ ЧТО ТО УЖЕ ЕСТЬ И НИКОМУ НЕ МЕШАЕТ, ТО ПУСТЬ СТОИТ.

Законы Онегина привели меня в состояние экзальтации, так что только спустя несколько лет я понял насколько они противоречат краеугольным постулатам европейской цивилизации. Тогда же меня почему-то особенно заинтересовал третий закон Онегина и я попросил прокомментировать его на какомнибудь примере, являющимся следствием из этого общего принципа. Онегин ничуть не затруднился с ответом:

- Например, - говорит – не замечал ли ты, Федя, что у нас нет ничего более долговечного, чем временки и более долговременного, чем временные меры?

А пришел в такое теличий восторг, что поцеловал Онегина. Склонности к чему прежде за мной не наблюдалась.

В самом деле: нет почти что ни одной старой гравюры Петербурга, на которой рядом с дворцами не красовались бы временки, строительство которых с самого начала было запрещено петром. И которые по этой причине как бы не существовали.

И вспомнилась мне еще выставка литографий времен Екатерины, проходившая как раз в это время в Эрмитажею Там почти что на каждом изображении царствующих особ – будь то картеж или галантное празднество – гденибудь в уголке, а то и на переднем плане, лежат трыхнувшие крестьяне. Очевидно, придававшие изображению народность и характер буколки.

Последняя ассоциация, впрочем, требует некоторой модификации третьего закона Онегина. А именно: если кто-то существует и пребывает в безделии, никому не мешая, то пусть его.

Натуральный Человек

Когда прошел ледниковый период, я обнажил, что необходимо немедленно делать ремонт. Потому что убранство берлоги, а точнее ее дисубранство, превысило некий порог за которым жить хотя и можно, но совестно. Это выразалось в том что:

1. с потолка и стен штукатурка рухнула кусками, некоторые из которых могли и убить;
2. лепнина большей части потолка обвалилась на пол;
3. с одного из вечно писающих на пол невидимыми струями Эротов (а именно с того кто занимался этим возле окна) упали отдельные части лица и тела, от чего первое совершенно потеряло нос, рот и подбородок, а последнее могло бы претендовать на пенсию по инвалидности по семи параграфам сразу.

Если бы не это, мелочи вроде отсутствия нескольких паркетин в палу или отошедших от стены обоев на всем протяжении их примыкающго к потолку крае еще можно было бы терпеть год-другой.

Приходилось срочно принимать одно из двух кардинальных решений: либо попытаться восстановить дворцовую лепку в первозданной прелести, либо соскоблить все и замазать как не было к чертовой матери.

Разумеется о том, чтобы кто-то официальный занялся или хотя бы заплатил за реставрацию незримо охраняемого государством шедевра архитектуры девятнадцатого века не было и речи. Впрочем, и государство можно понять: как оно может охранять город, в котором дворцов как грязи? Тут не то что реставраторов и сторожей – лампочек в канделябры на мраморных лестницах вставить и то никаких бюджетов не хватит.

Засим я стал советоваться со знатоками, первым из которых счел не главного хранителя скульптуры эпохи возрождения Эрмитажа Сережу, в высшей степени квалифицированные советы которого были заранее обречены на бессмысленность ввиду полной финансовой невозможности их выполнить, а Диму На Все Руки.

Дима зашел в Берлогу, глядя на потолок. Потом он пытливо осмотрел Геракла, как доктор тяжелоатлета перед выходом на помост. Потом залез на стул и подергал обои шваброй, от чего штукатурка упала еще с половины стены, обнажив дранку. Покачал головой Дима, помозговал, почесал в затылке и сказал: тут я тебе не помогу. У меня слишком широкий профиль. А для этого искусства очень узко специфической профиль требуется.

- Твой профиль, Дима, меня и раньше устраивал, и сейчас устраивает – говорю. - И фас твой мебя устраивает. И весь ты меня устраиваешь. Так что беристь.
- Не. – говорит, - ЭфЭф, не возьмусь. Тут нужен очень узко спицифиский профиль.
- И когда это ты за что либо браться боялся, Дима? – удивился я. - Это как то не по-нашему. Западником стал, что ли?
- Спасибо, говорит, ЭфЭф, за уважение. Но и то понимать надо, что универсал он и есть универсал. Вроде водоплавающей утки, которая и летать может, и нырять

может, но в и то и другое делает далеко не так потрясающе как узкие специалисты, такие как дельфин и альбатрос.

- Дима, – говорю – Не дури. И оставь эти свои комплексы в предбаннике. Я в тебя верю. И я тебя уважаю.
- А ты думаешь я в себя не верю или не уважаю? Потому и не возьмусь я за твой потолок, что в себя верю и себя уважаю. Чтобы другие тебя уважали не только по пьяне, надо для начала самому себя уважать.

И заметив по моему лицу, что я закип, подбодрил:

Но ты, ЭфЭф не дрейфь: есть у меня один большой специалист узкого профиля: Михалыч. Он тебе не то что потолок восстановит, а музей из него сделает.

- А башлей у меня на этого твоего Михалыча хватит? – спросил я с еле сдерживаемым страхом.
- Ты что? Михалыч он же натуральный человек! – обиделся Дима. И этим определением былос казано все.
- Только, - говорит, - как всякий настоящий русский талант, Михалыч имеет одну особенность. Которая делает его среди нас непохожим.
- Пьет, что ли?
- Если б пил, разве я б тебя предупреждал? И на кого это, интересно, он был бы непохож? Разве что на Василия Блаженного. Да и то сомневаюсь. Тут другая заковырка. Дело в том, что Михалыч трезвый работать не может. То есть вообще не может. Сидит и смотрит по сторонам. А вот когда выпьет – тут на него и находит гений. Такой бурный – не удержать.. Мастерок как бы сам собой двигаться начинает, и без единой ошибки, как будто его не человеческиа рука, а дух двигает. Да чего я события опережаю, сам увидишь воочию. Вот только перепить ему не давай.
- А чего? Гений зашкаливает? Слишком бурный становится? И Микельанжело выпирать начинает из Леонарды да Винчи?
- Наоборот, слишком тихий. А тихий Михалыч опасен.

Ну с тихими, говорю, мы какнибудь совладаем. Сами, говорю, в тихом пребываем. Так что тащи своего Михалыча. А я полбанки к его приходу приготовлю.

Боже, какой же я оказался самонадеянный, если, прожив тридцать с гаком лет на Руси, все еще не понимал – ну словно ребенок! – что с тихими совладать труднее чем с буйными. Ибо их есть царствие земное.

Провели мы с Верочкой подготовочку. То есть подергали, следуя начинанию и совету Димы на все руки, обои, после чего кое где обнажились газеты тридцатых годов (со времен которых обои, стало быть, не наклеивали) а в основном рухнуло все. И полдня выносили мусор. И как раз к приходу мастера узкого профиля завершили процесс и вытерли с лица друг у друга пот.

Михалыч пришел сильно после полудня. Тихий такой. Широкий. С чемоданчиком, ведерком и лестницей. Которые занес по частям. Сел. Посмотрел на потолок, как на небо, ясным взором.

- Ну как говорю – возьмемся?
- Попробуем, хозяин, – говорит Михалыч скромно.
- И сколько это будет стоить? – говорю.
- А сколько поставишь, хозяин?

Толковая, думаю, постановка вопроса. И ставлю на стол полбани.

- На двоих маловато - говорит.
-

- Так это я ж тебе.
- Один не пью. Тащи еще три полбани. Плавленный сырок. И огурец.
- А может, деньгами? – спросил я в ужасе не столько от водки которую, как было совершенно очевидно, предстояло выпить, сколько от ее количества.

Михалыч обиделся.

- Я говорит – деньгами не беру.

Я прикинул. Денег было в обрез. Но хватало.

- Хорошо – говорю, - закончим работу и купим.
- Нет, хозяин, - говорит Михайлыч, - так работа не пойдет. Мне надо, чтоб я их видел.
- Конечно, - говорю – Михалыч,- об чем речь. И кладу на стол красненькую. Михалыч скривился.
- Это что говорит, такое?
- Как что? Десять рублей. Мало?
- Разве я тебе не говорил, что я деньгами не беру?
- Так и я не даю. Это я просто так, чтоб ты видел.
- Да разве ж я о деньгах? Я деньги видеть даже в гробу не хочу.
- Почему ж так сурово?
- Потому что даже когда они есть, их уже как бы и нет. А я человек натуральный. Дуй в магазин, а то сердце стучит, волосы растут, а время уходит даром.

Что тут подделаешь? И ведь как запросто меня в шестерку превратил, в молодого. Тихо-тихо, без шума!

- Я – говорю, сейчас вернусь, Михалыч. А ты пока без меня начинай.

То есть я, конечно, имел в виду работу, а он меня неправильно понял.

- Обижаешь – говорит. - Я - говорит, - один не начинаю. Тащи стаканы.

И разливает по двести пятьдесят.

Ну мы и стартовали. Как ракета с Гагариным. И даже сказав, как первый космонавт перед полетом в неведомое: “Ну, поехали”.

- А теперь – говорит Натуральный Человек – дуй. И пожалуйста, ураганом. Потому что в семь мне надо быть уже дома хоккеем смотреть.

После старта – не низкого и не высокого: крепкого - я побежал, не замечая мороза, как молодой. До магазина было метров пятьсот, а я рванул как на стометровку (почти как в песне Высоцкого, в которой тот при сходных обстоятельствах рванул на десять тысяч как на пятьсот), так что до прилавка добежал, как говорил классик, спекшись. Купил еще три родимых, а на оставшиеся – закуски под завязку, чтобы все-таки не совсем опьянеть. И поспешил назад, переходя с рыси и иноходи на галоп и обратно. Когда вернулся ну совсем квелый и чуть дыша, Михалыч сидел в той же крепкой позе, как сказали бы искусствоведы, по-веласкесовски, то есть положив на стол локти и оперевши голову об ладони, и, как мне показалось, мечтательно глядя на потолок. Ну прямо Илья Муромец, первые тридцать три своих года своей бессмертной жизни, как известно из канонических жизнеописаний, сидевший сиднем.

Большую часть принесенной закуски Михалыч забраковал не обнюхивая, оставив, только то что просил: плавленный сырок и огурец.

- А он эстет, – с уважением подумал я, глядя на то, как аскетически Михалыч сервирует стол. – Ничего лишнего не признает. Прямо дзен-будист какой-то. Будит с одним Д. В смысле то ли еще будет.
-

И еще я подумал, что, чем больше я выпью, тем меньше натуральному человеку останется, и, стало быть, это мое питье во благо, во первых, здоровья Михалыча, а во вторых, всеобщее, в том смысле что чем меньше примет на грудь краса и гордость Петроградской стороны, тем дольше в рабочем состоянии продержится. По настойчивой инициативе Михалыча выпили еще по стакану. И вдруг: гляжу и глазам не верю. Встает сидевший до того Ильей Муромцем натуральный Михалыч на ноги, нетривно глядя на задницу Геракла расправляет плечи, и, как загипнотизированный, готовит раствор и идет по этом взгляду к центру тяжести полубога, после чего с невероятной скоростью закидывает мастерком дранку вокруг нее, образуя гладь стены такую плоскую, что хоть линейкой меряй. Затем начинает работать руками и создает над ней не то нимб, не то венчик из псевдо-лавровых листьев, который как бы уходит в стену, и таким образом, как бы опоясывает искомую задницу между бедром и поясницей (если принять во внимание, что ягодица у Геракла существовала не сама по себе, а в соединении с, хотя и невидимым, но телом) наподобие небольшого кольца называемого хула-хуп.

Вокруг затылка Геркулеса – напротив, натуральный человек создал ребристую поверхность, так, как если бы он выступал с поверхности взволнованного ветром моря. Потом Михалыч возвращается за стол и принимает на грудь еще стакан. При этом священнодействии взгляд его, как прожектор, устремляется через всю комнату к амуру-инвалиду, да так остро, что мне показалось, что сквозь пыль я вижу след от этого взгляда не смотря на дневной свет. Занюхав очередной стакан пальцем, даже не закусив огурцом, натуральный человек, как лунатик, ставит лестницу, лезет наверх (по прежнему не отрывая взора от бога любви, пострадавшего от стихийного бедствия) и с дикой скоростью, почти не глядя, начинает мастерком кидать раствор на стену. Потом разгладит, поковыряет, опять разгладит, опять поковыряет, потом пальцем приминает, с лестницы вниз слетает, опять взлетает, кидает, гладит, ковыряет, кидает, гладит, ковыряет – и так часа два без передыху! Может, конечно, мне эта скорость показалась такой сверхъестественной, потому что и сам я куда то на поезде Эйнштейна поехал. Но только в жизни ничего подобного я не видел, даже в старом кино. Не работает человек, а летает под потолком. Прямо Икар какой то. Но тут, конечно, и сам я стал куда-то улетать вместе с стулом на котором сидел. И потому не сразу понял, где я, когда услышал дикий грохот, напоминающий землетрясение. Открываю глаза с усилием – лежат они все трое - то есть Михалыч, лестница и мастерок - на полу.

Попробовал поднять – куда там! Лежит Михалыч, как русский богатырь, распластавшись во всю свою ширь. Так широко, что шире, вроде бы, и невозможно – да и некуда. Если хотите себя представить лежащего Михалыча, раскройте Тараса Бульбу и прочтите, как он описывает лежащего запорожца, получится один к одному! В другое время и в другом месте я бы, наверное залюбовался. Но тут Михалычу натурально стало плохо, и мне стало не до эстетики. И даже не до икэбаны. Поднимал я его на диван, поднимал – пока сам не грохнулся. Полежал, оклемался и пополз к Михалычу по-пластунки.

- Чего тебе дать, Михалыч – спрашиваю, подползая, как человек к человеку – чтоб полегшало?
 - Ничего – говорит не давай. В метро посади и все. У меня – говорит – в семь часов хоккей.
-

Да так проникновенно говорит. В душу проникает. Никогда я больше в жизни такого проникновенного голоса не слышал. Когда еще не знаешь, что попросят, но уже знаешь, что просьбу исполнишь.

Лежим мы с натуральным человеком на полу, как два богатыря, и я умиленно думаю о том, что если не я помогу ему, то кто же. И такой симпатией к своему порыву спяну проникся, знаете ли, что чуть не разрыдался.

- А может – говорю – сегодня без хоккея проживем? Может на диванчик полежим, оклемаемся и еще поработаем?
- Ты что, - говорит тихонечко. То есть с каждым словом все тише и тише, так что хочешь-не хочешь а прислушиваться начинаешь. Этому мастерству Михалыча проникать в душу позавидовали бы и корифеи системы Станиславского артисты МХАТа. - Я – говорит – ни одного матча по телевизору вот уже десять лет не пропустил. Так что помоги ты мне до метро добраться, мил человек, а там уж я какнибудь сам.

И так, знаете ли, проникновенно шепчет! Ну никак нельзя человеку отказать. Просто нет никакой возможности. Тут я быстренько оклемаюсь, потому что понял: если не я, то кто же Михалычу поможет? Беру под мышки. Ватник на надеваю. На себя тоже что-то такое верхнее. Кладу две оставшиеся полабники в полиэтиленовый пакет. А руку Михалыча – себе на плечо. И пытаюсь начать движение, как с раненым, в нашем русском стиле взаимовыручки. У нас ведь как? Пока стоишь, с места не сдвинуть. Но как пошел – не остановить. Вот так и Михалыч. Как пошел, так и не останавливался, пока опять не упал. А я между прочим, хоть и здоровый бугай и в прошлом гимнаст и культурист, но после полбанки на нос, конечно, бицепсы и разгибатели спины не те, что на трезвую голову. Поэтому мы с Михалычем пару раз, пока до метро Петроградская шли, об лед, конечно, приложились. Причем натуральный человек сразу во всю ширь располагается, перекрывая тратуар. Чем привлекает к себе ненужное внимание прохожих и других гуляющих там и сям органов. Однако же кое как дотащили мы друг друга до входа в метро. Шарю по карманам – а денег то и нет. До копейки все что было на закуску потратил! Со свойственной мне порядочностью. Такой уж я дотошный, на свою голову! Выпросил я у какой то сердобольной бабуся, цветы продающей, сразу два пяточка (и кстати, отдал таки долг назавтра плюс пачка виолы в знак уважения) и отправляю Михалыча вперед, а сам сзади контролирую ситуацию. А там перед турникетом, как известно, милиция дифе... вот именно: дифелирует и пьяных в метро не пускает. Но Михалыч молодец. Настоящий русский гений! Внутренне подобрался, сконцентрировал вестибулярный аппарат и, держась за турникет, проскользнул к эскалатору мимо сциллы и харибды. Обманул таки бдительность милиционера и тетки, что за турникетами наблюдает. Тут и я собрал волю в кулак. Тычу монетой в щель – и все не попасть. Что за напасть? Может щель отменили? Может ввели бесплатный проезд? Тычу я, тычу, и тут меня за локоток кто то сзади останавливает.

- Идите ка сюда, гражданин.- говорят довольно вежливо - Вы – спрашивают - твердо уверены, что на своих ногах держитесь?

Вижу – сержант серьезно настроен. Ну я в таких случаях сразу на автопилот перехожу. И начинаю импровизировать.

- Да что ты – говорю – о ногах! Тоже мне, тему выбрал. Ты – говорю, посмотри лучше что у меня в авоське.
 - А что у тебя в авоське?
-

- А ты посмотри.

Смотрит он в мою авоську и видит то что там есть.

- Ну и что там такого? – спрашивает.

- Как это что? Ты видел что там лежит?

- Ну, видел.

- И что же там лежит?

- Две бутылки. А что? Взятку дать хочешь?

- Взятку не даем по причине неумения давать, – говорю. – А ты посмотрел, какие там бутылки лежат?

Он опять в сумку смотрит. А потом мне в глаза.

- Столичная говорит. Водка.

- Ну!

- Что ну?

- Ребята же ждут! Душа у них мается. А ты меня тут задерживаешь! Как не русский.

- Ну езжай, - сказал сержант рефлекторно. А когда сообразил почему так сказал, совсем потеплел и проникся. Взяла у меня милиция, которая меня бережет, пятак и своей рукой помогла вставить его куда надо. Так я сквозь турникет просклизнул. Эх, - думаю, ну где еще есть такой отзывчивый народ, как у нас? Если к нам правильный подход найти, мы просто ангелы. И пятак в долг без расписки дадим, и миллиард. По себе знаю. Это я таким образом размышлял, пока стоя на эскалаторе вниз спускался.

Ищу по станции Михалыча – нет его. Исчез! Уехал, а в какую сторону – неизвестно.

Тут я как то быстренько протрезвел. Вернулся я домой с мрачными предчувствиями.

Которые меня не обманули. Оказывается, в вагоне натуральный человек Михалыч лег по своему обыкновению – во всю ширь. И его, конечно взяли и посадили на пятнадцать суток вместе с его ширью. Если бы я рядом с ним был, я бы конечно, с милицией общий язык нашел. Потому что я со всеми общий язык найти могу, если надо. Как говорил мой дальний родственник, внук великого детского поэта Саша, если найдется такой гаишник, которого я не уболтаю, я – то есть он - ему своей рукой орден на грудь повешу. Я – в смысле я а не Саша - конечно не до такой степени корифей по контактам, но безусловно правильное ощущение обстановки есть. А уж чтобы друга не отмазал – такое даже представить невозможно. А тут – обстоятельства. Которые как известно выше нас.

Включая меня.

Однако же памятник по себе Михалыч таки оставил. Причем не нерукотворный, а очень даже рукотворный. За те два или три что он натурально под потолком икаром летал, натуральный человек успел

А) починить ангела.

Б.) перелепить заново половину ручной лепнины,

С.) поправить бардюры

Д.) заделать половину стены. И что всего важнее –

Е.) увенчать центр тяжести Греческого героя, превратив мою опочивальню в святилище Геркулеса. Точное не всего Геркулеса, а его части, что, несомненно, еще самобытнее и не имеет прецедентов ни в истории, ни в искусстве, а только отдаленные реминисценции в религии. Этаким антифаллический культ. Который, между прочим, значительно более соответствует стране, в которой как было метко замечено, секса нет, зато в неисчислимом изобилии есть прямая его противоположность, которая дает надежду что культ части тела, столь успешно рожденный в моей берлоге, обещает стать

массовым. Хотя, если задуматься, он и без того уже до такой массовой что можно сказать практически поголовный. Но теперь люди, идущие по стопам натурального Михалыча, будут знать, что они это делают не просто так, по зову сердца, а в порядке священнодействия. В таком случае, я, скромный летописец, честно констатирую, что роли в возникновении культа, буквально противоположного фаллическому, я лично не принимал никакой, и был разве что лишь орудием в руках провидения, своего рода Меценатом, только не на древнеримским, а на третьеримский манер. Истинным же предтечей новой религии – поклонения Ягодице – был Михалыч. Вечная слава ему, безымянному.

Эпилог этой истории таков. Закончить работу я нанял двух (как мне их охарактеризовали) “опытных в таких делах” девушек из реставрационных мастерских (не мог же я жить в музее с полуобваленным потолком и стеной, местами обнаженной до дранки, в самом деле). Опытные девушки провозились над завершением работы недели две. Оставив после себя массу мусора и ощущение непрерывного щелчка. А вот и эпилог эпилога. Михалыча я больше не видел никогда. Пока он был в вытрезвителе, как выяснилось, седьмой раз в течение одного года, терпение начальство лопнуло и оно уволило его по собственному желанию, после чего след натурального человека затерялся. Однако память о себе Михалыч успел таки о себе оставить. Не как метеор, оставивший на небе след, а как неизвестные создатели храма Преображения в Кижях без единого гвоздя²⁴. Стенки и потолок, над которыми реставрационные девушки трудились две недели, уже через месяц начали трескаться и коситься, а половина комнаты, сделанная Михалычем за пару часов и как бы совершенно небрежно, много лет стояла неколебимо. И как сделанная! Особенно потрясал амур у окна, выражение лица которого чем-то стало напоминать ангела работы помянутого мною выше всеу Леонардо, того самого, которого гений итальянского возрождения в юном возрасте изобразил на картине своего учителя Вероккию.

Что же касается стены с вмурованными в нее мощами, слух о святилище Геркулеса на Петроградской разнесся так быстро и так далеко, что интерес к этому персонажу перебрался даже на литературу. До сих пор пор по Васильевскому острову бродят смутные легенды о якобы устраивавшихся в светлую пору Андропова неким подпольным обществом античников мистериях и вакханалиях, имевшие свои корни, несомненно, в Берлоге. В святилище, в котором я проживал, стали приходиться экскурсанты, как званые так и незваные, нередко прямо из той комнаты Михайловского дворца, в которой убили Павла Первого, и в которой тоже стояли рабочие столы какого-то учреждения, но кто составлял маршрут их ознакомления с тайным Петербургом осталось тайной. Публика приходила совершенно разная, от игриво настроенных друзей друзей до глубокомысленных философов и искусствоведов,

²⁴ Впрочем, в церкви преображения в Кижях, по крайней мере один гвоздь в стене я таки наблюдал собственными моими глазами. Кажется в том самом 1980 году, а может годом раньше или годом позже, поехал я в свое любимое паломничество в Кижы на корабле. Как назло, во время экскурсии пошел дикий ливень. Экскурсовод, скомкав экскурсию, добежала впереди группы до укрытия, каковым оказалась церковь Преображения, скинула насквозь промокший плащ, повесила его на гвоздь в стене и сказала: “Товарищи. Мы с вами находимся в уникальном памятнике русской архитектуре – церкви Преображения. Она построена без единого гвоздя.”

которые разглядывали произведение с лупами чуть ли не по миллиметрам и цикали языками. Несколько язычески ориентированных мадмуазель даже пытались впасть перед вмурованным в стену персонажем в экстаз, но я им не позволил.

Приходили поклоняться возлюбленному ими фетишу Геракла и мужчины нетрадиционного сексуального направления. И даже пытались ему чего-то такое воскурять.

Святыня вообще навеивала на раздумья. Никогда за последние тысячу лет, думаю, человеку не приходилось наблюдать эту часть тела у кого бы то ни было так часто и подолгу, как это посчастливилось нам с Верочкой. И мы мало помалу невольно проникались мыслями о ее совершенстве, о том, насколько место и роль ее на теле человека соответствует двум казалось бы противоречащим друг другу задачам, которые эта часть призвана выполнять, а также о том, насколько в человеческом теле функциональное прекрасно и прекрасное функционально. И тому подобной ахинее.

При желании, я мог бы, как Остап Бендер при входе в провал, собирать за вход в мою Малую Берлогу деньги, которых с лихвой хватило бы на пиво, а может на чтонибудь и покрепче. Когда же в бессонные ночью я возвожу очи к небесам и вижу Амура, воссозданного натуральным человеком, на меня снисходит умиротворение. И я вспоминаю Михалыча, имя и фамилия которого так и осталось для меня и моих потомков навсегда неизвестными – только отчество. И тогда я думаю о том, как же все таки талантлив, самобытен и в то же время натурален бывает русский человек.

Чудотворяя Ягодица

Ягодицы Увенчанные Лаврами, созданные гением древнегреческого скульптора и Михалыча, висели на стене скромно и неброско, не привлекая немедленного внимания. Однако если уж взгляд на них падал, то задерживался надолго. Редко кто удерживался от комментариев в отношении этой части интерьера. Одни воспринимали ее как произведение искусства, другие – как символ, третьи – как атрибут культа, которому следует воскурять фимиам. К сожалению, я не записывал сказанное моими гостями по этому поводу и запомнил только несколько отзывов, да и то не более чем в общих чертах.

Двое держащихся за руки юношей долго смотрели на попу с нимбом в молчании. А потом одновременно поцеловали ее, как бы в едином порыве. Один в правое полушарие, другой в левое.

Кажется, с тех пор по городу пошло поверье, что если двое влюбленных поцелуют ягодицы Геракла одновременно, то это у них надолго. И ко мне зачастили. А также в Александровский сад. Задница Геркулеса стоящего в нем, по слухам, в те годы сияла как новая. Хотя желающих лизать зады у нас и до того было достаточно, так что интерпретировать этот феномен предоставлю историкам города.

- Если бы Гоголь жил в наше время и, блуждая по Петербургу, забрел к тебе, Федя, он бы написал вторую часть Носа. О заде, который сменил местоположение на теле поручика Ковалева и стал головой на плечах. По моему, сегодня это даже не казалось бы аллегорией, – прошептала Люда Захарова, девушка с ярко выраженной литературной ориентацией жизни.

Театральный художник, ученик Акимова, долго в молчании крутил головой и так и этак, примеряясь. А в следующий приход прикрепил в соответствующих местах мраморной формы пышные брови, прихваченные из гримерки, а также сделанный из губки, которой я всего за час до того мыл посуду, рот, после чего сходство бюста, особенно в темноте, с лицом генерального секретаря по прозвищу ЖОПА С БРОВЯМИ стало совершенно поразительным.

- Это символ очищения авгиевых конюшен – решила специалистка по античной поэзии Нинель.– Однако я бы отнесла его создание не к архаике, а ко времени Флавиев. Геркулес пятого Подвига весь как на ладони.

- Гениальное начинание. Необходимо подхватить. Надо при вошествии каждого нового начальника в должность после инаугурационной речи снимать слепок с этого его места и вешать над входом в кабинет, чтобы под взором секретарши входящие целовали в знак верности: единоначалию и единству команды. (Прозаик, пожелавший остаться неизвестным).

Можно я за нее подержусь? – неожиданно попросила томная дева с балетным уклоном. – Говорят, в Риме все суют руку по локоть в открытый рот какой то круглой каменной рожи. Если та не откусывает, значит ты еще не безнадежная сволочь. Поскольку в Риме мне в ближайшие десять лет побывать не светит, так хоть за эту.

- И то и другое – части одного древнего культа, ныне почти забытого – изрек я без тени иронии. И сказав, почувствовал, что произнес откровение. И что по телу распространяется – от пупа к перефирии - священный холодок. – Святилища Геркулеса издревле почитались более близкими к человеку, чем Гелиоса. Возможно поэтому в эпоху эллинизма они были распространены повсеместно во всей империи Александра. Считалось, что, для того чтобы ягодица уберегла, паломнику достаточно приложить к ней ладонь и подумать о том, в чем именно нужна поддержка покровителя ищущих подвига. Но чтобы ягодица дала силу совершить подвиг, надо было засунуть руку как можно глубже. Тот кому это удастся по локоть, станет бессмертным. Дева слушала меня, раскрыв рот. И долго держалась рученкой за мрамор с закрытыми глазами, о чем то шепча.

Так родился обычай держаться за композицию и искать более глубокого контакта с ней. Для этого добрый Толик соорудил даже особый табурет с резными фигурами (вроде химер, отпугивающих неведомо кого от стен собора Нотр Дам) которые по замыслу его Творца должны были отпугивать от моей комнаты злых духов.

Известный в богемных кругах поэт-конструктивист, поклонник раннего Бунуэля, надел на мраморный зад раму, прикрепил к ней скрещенные нож и вилку и повесил под композицией табличку с названием: Ум, Честь и Совесть Нашей Эпохи. Что, откровенно говоря, звучало недостаточно сюрреалистически и до Дали не дотягивало.

Великий Режисер, привезенный в Берлогу двумя искусствовицами, долго и молча стоял возле фрагмента псевдоантичного горельефа, о чем-то напряженно размышляя. Что-то ему эта сюрреалистическая ягодица, кажется, навеяла и на что то, вроде бы, вдохновила.

Он ее потом, как мне говорили, сублимировал в нечто вневременное, хотя я так и не узнал, во что именно. Потом режисер, казалось, так и не вышедший из своего внутреннего мира в наш, вдруг улыбнулся чему-то своему, как будто на него снизошло озарение, попрощался со всеми за руку, а меня, сверх рукопожатия, удостоив словами БЛАГОДАРИЮ ВАС, и ушел, ничего и не сказав более.

- Данный горельеф стоит особняком в мировом искусстве, – после получасового исследования дал экспертную оценку специалист по скульптуре возрождения Сережа, которому я ничего не сказал о той части композиции, которая стояла с противоположной стороны стены. - Тем не менее он мне что то композиционно напоминает... Что то мне он отдаленно напоминает... Ну конечно: бюст Калигулы в лавровом венке!

- Ээх! - такую бы скульптуру да в красный уголок! – воскликнул доцент научного атеизма Семен. В совершенном, впрочем, подпитии. Так что не вполне ясно, что предстало пред его затуманенным взором.

- Сию композицию (то есть *Ж..у увенчанную Лаврами*. Примечание автора) можно считать символом современной науки, – тихо проговорил мой грустный друг, работавший в то время, будучи выгнанным даже из младших научных сотрудников третьестепенного института за несоответствие, оператором газовой котельной сутки через трое, а после того, как его выперли не только из научных кругов, но и из самая Мать-России, ставший одним из признанных лидеров физики твердого тела в мире. – По обломку, фрагменту или детали воображение и интеллект восстанавливают целое. Другими словами, будит. Что и требовалось...

- Доказать? – подсказал я завершение фразы.

- Может быть даже и доказать. Среди прочего. – сказал оператор газовой котельной с ученой степенью.

Я с ним не спорил.

- А можно на нее помолиться? – спросила крупная студентка из Тулы без тени иронии.

- О чем? – удивленно спросил я.

- Чтоб не оскудевала, – ответила студентка совершенно серьезно.

А Толик долго смотрел на совместное творение Михалыча и неизвестного автора 4 века до нашей эры, и изрек:

- Классная жопа. А если этому культуристу вместо хера поллитру вставить символом неиссякаемого источника жизни, то получится вообще герб.

- Чей? – переспросил я, восхищенный видением мастера. - Страны? Рыцарского ордена?

Общества говнюков. Вроде нас с тобой, – ответил Толя.

Вознесение Вечно Веселой Тонечки

После того, как Вечно Веселая Тонечка ушла в комсомол, она исчезла из берлоги. Ибо берлога и жизнь советской страны были двумя вещами несовместными. А может сентенция Толика подействовала. Нагрянула Татьяна Семеновна внезапно года через

два, как оне изволили изъясниться, попрощаться. Как вошла, так и прослезилась. (Вообще я заметил, что комсомольские работники почему то как на подбор чрезвычайно слезливы. В противоположность партийным. Которые все больше целоваться тянутся.) Обняла всех по очереди. Говорить не может, а только повторяет, как позывные московского радио с интервалом в минуту:

- Это вообще черт знает что. Это вообще черт знает что...

Оказывается, пару недель назад у них в обкоме был какой-то междусобойчик. И Тонечка приглянулась (детали Тонечка, ранее словоохотливая, уточнять не стала) некоему *старому пердуну* из Москвы, настолько высокопоставленному, что Тонечка даже имя его упоминать не стала, только в небо, оно же потолок, пальцем тыкала. Который по завершению междусобойчика пригласил Вечно Веселую Тонечку в номер-люкс поработать над молодежной тематикой, и в ответ на ухаживания которого, Тонечка, девушка естественная и следующая чувству а-ля Кармен, якобы повторяла только одну фразу, дергая высокопоставленное лицо за нос.

- Девочки тебе захотелось?

- Захотелось, Тонечка. – отвечало высокопоставленное московское лицо в сильном подпитии. И так по кругу раз десять.

И вот теперь, – перешла Тонечка на шепот, меня забирают в Москву. Квартиру дают. Прописку. И вообще, я теперь номенклатура.

Меня удивило, что Тонечка за два года в обкоме не поумнела и позволяет себе те же трюки, что и будучи медсестрой. Но она объяснила, что, как она поняла еще в клинике для руководящих, они грубое обращение любят даже больше, чем обыкновенные мужики, потому что для них это давным давно забытое старое и балдеют и молодеют.. Потому как показала жизнь (на моем примере и вообще – глубокомысленно добавила Татьяна Семеновна) чем больше я себе позволяю, тем больше они меня обожают. После этой тирады Тонечка опять прослезилась (может, эти слезы у них как воспоминание о человечности?) и в друг попросила у кроткой Аленушки разрешения провести с Колей последнюю ночь. Аленушка хотя и заметно обалдела, потому что за два года отвыкла от заместительниц, но не протестовала и вообще ничего не сказала, только по обыкновению напряглась, надела пальто и ушла куда то, не взяв предложенный ей ключ.

Утром провожали Тонечку в облака всей Берлогой. Как космонавта. Только Толя не принимал участие в общей выпивке.

Сказал лишь:

- Ну ты, Тонька, и блядь! Теперь в небесах твою пизду искадь будем, как созвездие.

Большая медведица ты наша... – и, даже не пригубив, вышел вон из предбанника.

Остальные же лобызали Тонечку, понимая, что скорее всего никогда мы больше в жизни уже не увидимся. Ибо уходила она в такие заоблачные выси, из которых до смертных не опускаются и на землю не возвращаются.

Посидели на дорожку. Поскольку Коля был в сильно в расстроенных чувствах и обессилел, помог Тонечке вынести чемодан я.

А помнишь, Федя, как я тебе в первый раз запрещенный массаж делала? - внезапно спросила меня богиня перед вознесением. – Так теперь это у меня больше не хобби.

- А часть обязанностей? – продолжил я, осененный внезапным озарением.

Ничего не сказала Тонечка, только слезинки кулачками утерла. Что то в ней изменилось за эти годы. И не только интонация, ставшая идейной и твердой. А она стала как бы

скачкообразной. От бесшабашности к слезам, от наглости к тоске – причем без всякого перехода. Потом села на заднее сидение в открытую для нее шофером дверцу. И я долго смотрел вслед черной Волге, увозившей Вечно Веселую Тонечку в направлении Московского вокзала по Кировскому проспекту, который, как мне показалось, по мере ее удаления загибался в облака, как трамплин, с которого прыгают лыжники.

Больше Вечто Веселую Тонечку Берлога не видела. Мы ведь теперь для нее все равно что рыбы: существа из другой стихии.

Русский Народный Диагноз

Прихожу я как то домой за полночь уж не помню откуда – столько лет прошло! - и в темном Корридоре натякаюсь у своей двери на что-то мягкое. Думаю – пальто упало. Пытаюсь поднять – шевелится. Включаю свет – Толя.

- Привет, Толик – говорю, - что ты здесь делаешь?
- Отдыхаю – говорит непринужденно, как будто мы на светском рауте беседуем, – А тебя что давно видно не было?
- Да так. Работа. Развлечения. Вихри жизни...А может, тебя на диван в моей комнате положить?
- Не надо. Мне тут хорошо. Я тут очень счастлив без вас, сволочей. Ведь русскому человеку что для счастья нужно, Федька? Знаешь?
- Скажи, буду знать.
- Чтоб людей вокруг не было, которые друг другу жить не дают – и заплакал, очевидно от прилива абсолютного счастья, да так горестно, что голова об пол стукнулась – А положи ка ты мне, Федюша – говорит повелительно сквозь всхлипы - стружек под голову, и тогда будет вообще как на том свете, в смысле полного покоя и земли пухом.

Поглядел я на гения русского искусства (из вышеизложено вы уже, я думаю, поняли, что это не ирония, а моя искренняя оценка места Анатолия Михайловича в российской культуре) оценил ситуацию, прикинул, что если Толик останется на ночь наслаждаться покоем на этом месте, то у меня покоя не будет и в помине, потому что в мою берлогу мне будет нипочем не войти и придется заночевать на полу рядом с вторым Микельанжело, а кроме того, очень возможно что и пол за ним мыть придется, а заодно и себя, подумал, представил себе все это, и оттащил гения русского дерева под мышки к его верстаку, на стружки, приговаривая при этом, что если гора не идет к Магомету, Магомета надо оттащить к горе – и там, на самом дорогом ему месте на земле, оставил гордость русской культуры наслаждаться предвечным покоем.

Закончив такелажные работы, направил я стопы свои, оставляющие на полу следы, ибо были они обуты в сапоги а на улице стояла мерзкий Ленинградская ноябрь, на кухню, где в ящике моего стола вперемешку со спичками, вилками и прочей разностью хранился ключ от берлоги. Галина Васильевна, как будто ждавшая меня, с заговорщицким видом закрыла за мной дверь кухни (что происходило исключительно редко) и зашептала:

-Вы видели?

Что?

Там, у вашей двери, Анатолий Михайлович лежит.

Уже не лежит.

Вы его подняли? Напрасно, Федор Борисович, напрасно. Так он пить никогда не бросит.

В другой раз, может годом раньше, может двумя годами позже, не помню – на кухне лежала Нюша в лужице какой-то жидкости. Около нее, прямо, можно сказать, у ее ног, и даже отчасти между ногами, за своим столиком сидели на табуретках Толя с Нонной и ели сосиски.

- А что это Нюша пролила? – участливо спросил я.

Толя встал, наклонился к Нюше, провел указательным пальцем по мокрому полу, затем протасил палец мимо носа, обнюхал его со всех сторон, как розу, и, распознав запах, удовлетворенно сказал:

- Это она не пролила. Это она обосцалась.

И добавил: портвейн она нипочем не прольет. Сколько бы ни выпила. Это у нее в подсознанке сидит, глубже чем любые рефлекссы.

Нечто подобное произошло с Нюшей еще только один раз, и было это совершенно точно после описанного выше превращения ею кухни в опочивальню, а не раньше его. А почему я, обычно по-русски надеющийся исключительно на свою память, которая, среди прочих метаморфоз, запросто и исключительно убедительно переставляет порядок событий, что является гигантским преимуществом перед Западом, частью нашего достояния и нашего оптимизма, вдруг ни с того ни с сего столь определенен по части хронологии этих двух происшествий, сейчас поймете.

В один прекрасный морозный день позвонил я Толе из Москвы от знакомого эксперта из Третьяковки, узнать нет ли у него ложек без фиг, потому что я – добрая душа – вконец заинтриговал этого искусствоведа рассказами о русском народном Толе и его прикладном искусстве (не в смысле искусства прикладываться, такого прикладного искусства у нас как грязи, а прикладного в смысле того, что к нему надо прикладывать не ноги, как в балете, не инструмент, как в симфоническом оркестре, и не организационный талант, как в кинематографе, а свои собственные руки и ничьи более).

- Ты меня не отвлекай – говорит Толя. – Я сейчас пью. Но о тебе помню.

- Ладно - говорю безнадежно – пей, Толенька, так уж и быть, только ваять-строгать не переставай, у тебя это по пьяне оно даже еще самобытнее получается, уж ты мне поверь, - и искусствоведа показываю знаками: подождать мол, надо, запил мастер. И он тоже знаками, отвечает, понял мол, какой вопрос, тут и из Москвы в Петербург без бинокля видно - наш человек.

- Скажи хоть, чего в квартире нового? – спрашиваю Толика для приличия.

- Чего у нас может быть нового, Федюша? Ничего у нас не может быть нового. Все уже было. Так что ничего нового у нас не было, нет и не будет. Только Нюша умерла. А больше ничего нового.

Я похолодел.

- Когда это случилось?

- Этого никто не знает.

- Ужас какой. И когда похороны?

- Завтра. А больше ничего нового.

- Как же это произошло? – спросил я, чувствуя, как покрываюсь потом.
- Обнаковенно. Сидели мы вчера с Нонкой в райке втроем и пили с Нюшкиным Валентином. С полудня засели. А Нюшка взяла бутылки и в сортир ушла песни петь. Под утро пошел посцать – гляжу, а она мертвая.
- Где?
- В сортире, где же еще? Ноги по ступенькам раскидала, как будто сойти хотела да не успела. Одной рукой унитаз обнимает, а другой бутылку своего портвейна – три семерки на счастье – держит и лежит в лужице, как королева.
- И как же вы там узнали, что она мертвая? Может, она еще живая?
- Обнаковенно. Галина Васильевна, дура, выходит и спрашивает:
- Анатолий Михайлович, а что это за лужа в которой Нюша лежит? Неужели опять обосцалась?

Зачерпнул я ладонью из лужицы, понюхал – портвейн. Лизнул по ладони языком, чтобы продегустировать – точно, портвейн. Выпил пробу для точности диагноза – стопроцентный портвейн. Диагноз я сразу поставил. Но для контроля все таки наклонился и пару раз дал Нюше по щекам. Диагноз подтвердился. А Галина Васильевна, дура, все глядит на меня и глядит. Ответа ждет, не диагноза.

- Нет говорю, Галина Васильевна. – ответил я, и руки о фартук вытер
- Это она не обосцалась. Это она умерла.
- Да как же ты узнал, что она умерла?
- Неужели она живая свой любимый портвейн пролила бы? Да никогда в жизни. И ни в каком состоянии. У меня глаз алмаз. Но Галина Васильевна-дура конечно неотложку вызвала. И неотложка мой диагноз, поставленный – заметь Федя, в две секунды, голыми руками, по русско-народному, без всяких там лабораторий и уколов в жопу. полностью подтвердила.

Нюша умерла с бутылкой в руке. Как актер на сцене. Мгновенно. Безболезненно. И до последней минуты не переставая петь русские песни. Достойная смерть! О такой, наверно, она и мечтала.

Повесил я трубку, и не секунды не медля и ничего более не объясняя искусствоведу из Третьяковки, бросил все дела и помчался из Москвы в Петербург.

А искусствовед этот больше не проявлялся. То ли ждет, пока Толик пить перестанет, то ли сам запил, врать не буду. Потому что не знаю.

Нюша Королева Говна

На похороны Нюши я поспел во-время. То есть как раз к тому моменту когда накрывали стол. Оплакивали Нюшу, разумеется в Райке – где же еще? Конечно же, вся берлога была в сборе, даже старуха-француженка и молчаливый Саня-гребец сидели в общих рядах. Со стороны Витьки пришло десятка полтора бандитов и хулиганов. Со стороны Сани сидела более серьезная публика, воры, а также шестерки. Выпивку-хоть-залейся (как вначале казалось), ассортимент которой был по спартански ограничен: только водка и портвейн с счастливым номером семь-семь-семь – обеспечил, разумеется, Саня. Оформление документов в Салоне Похоронных Принадлежностей на улице

Достоевского ²⁵ также добровольно взяли на себя он и его армия. Со стороны покойницы неожиданно пришло человек шестьдесят, люди совершенно разные и на первый взгляд ничего между собой не имеющие (у семи или восьми из Ньюшиных гостей кстати сказать лики были на удивление благородные и породистые, в то время как физии остальных не были отмечены печатью мудрости, и золотой середины или хотя бы намек на нее между этими двумя группами пришедшими проводить Ньюшу в последний путь, который, как будет видно из дальнейшего, оказался не последним а предпоследним, не наблюдалось). Большинство провожающих было между собой незнакомо, что впрочем на похоронах не редкость а скорее правило, ибо мир человека объединяется в единое целое лишь на мгновение – и то на его похоронах, чтобы после них рассыпаться в прах. Семь или восемь гостей заявили, как мне показалось, не столько на поминки, сколько выпить и провести время, против чего – уверен, покойница и при жизни не возражала бы. Ньюша лежала в дубовом гробу с кистями в красном углу созданного ею райка под старинной иконой, которую Санина гвардия в главе с Шкафом Жорой, назначенным Саней старшим по похоронам, где-то раздобыла и которую их атаман собственноручно повесил на гвоздик, с которого предварительно снял Витькин ватник. Покойница была прекрасна даже без ретуши. Лицо ее было спокойно и гладко, и на нем, с уходом суетности, явственно проступили черты величия и благородства, начертанные в ее генах Богом. Витька собственноручно положил матери в гроб бутылку портвейна с счастливым номером три семерки, с которой все поочередно чекались, прежде чем поцеловать покойницу на прощание в лоб или губы – кому как хотелось.

Не смотря на кажущееся изобилие водки и портвейна, бухало закончилось уже к полудню, что вынудило Саню послать своих шестерок на охоту и строго наказал им без добычи не возвращаться. Тут, чтобы не прерывать процесса, была распита бутылка с тремя семерками, взятая с изголовья Покойницы (против чего она бы, безусловно и при жизни не возражала) а после успешного возвращения саниной армии из похода на ее место немедленно была положена новая, полная и нераскрытая.

Я захмелел вместе со всеми, но, машинально разговаривая с гостями, мало помалу к своему удивлению составил себе представление о жизни Ньюши, возможно ложное и в любом случае фрагментарное, но совершенно неожиданное и такое о котором при ее жизни не имел и не имел права иметь ни малейшего представления и которое мало соответствовало моему пониманию Ньюши, хотя мы и прожили бок о бок несколько лет.

Оказалось (в меру того, насколько верно в моем пьяном мозгу воспроизводилась картина событий, а потом спросить или скорректировать ее было уже некому и спросить не у кого, так что за ошибки и исторические оплошности прошу меня не винить)

²⁵ Который кстати сказать, был в то время единственным салоном в Ленинграде, если не считать салонов парикмахерских, причем в тех и других “салонах” на стене висел совершенно одинаковый бодрящий плакат, изданный массовым тиражом: “Герои Советского Союза и Кавалеры Орденов Славы Трех Степеней обслуживаются без очереди”. Тут же – как сейчас помню - сидели и бесцветные личности, предлагавшие за скромную мзду организовать все необходимое для похорон быстро и складно. Не исключаю что некоторые из них были Героями Советского Союза и Кавалерами Орденов Славы Трех Степеней, которые имели право на внеочередное обслуживание на законных основаниях, но в основном, несомненно, услуги оказывали самые обыкновенные проходимцы. Название *Салон Похоронных Принадлежностей* могло показаться странным и даже кощунственным людям, воспитанным в салонах Парижа и Вены, но не гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Не помню, чтобы кого нибудь в то время удивляло эта вывеска, или хотя бы тот несомненный факт, что в Советском Салоне продаются гробы.

родилась Нюша на Колыме. Там, где плевков на лету замерзает. Папу своего она не помнит, а маму помнит, но плохо, потому что она ушла на лесоповал и не вернулась с него, когда Нюше было четыре года. Первое, что помнила Нюша, была добрая тетя, которая показала ей три картинки, на одной из которых был изображен рабочий, на другой ученый, а на третьем принцесса в маленькой короне с драгоценными камнями и в платье с длинным шлейфом, который за ней нес паж. Добрая тетя предложила маленькой Нюше выбрать, какая картинка из трех ей нравится больше всего. Нюша не колеблясь выбрала принцессу – и ошиблась. Не на минуту, не на день – на всю оставшуюся жизнь. Потому что по этим картинкам добрая тетя определяла классовое нутро ребенка. Тех, чьему сердцу ближе всего был рабочий у станка, отправляли в образцовый детский дом, из которого прямая дорога вела в партию и далее везде. Тех, кто мечтал стать ученым, еще можно было перевоспитать, и их обучали престижным высоко техническим рабочим специальностям вроде ткачихи или бульдозериста. Тех же, кто выбирал в качестве своего идеала классово чуждый образ, надлежало перевоспитывать по всей строгости закона, а также голодом, холодом и трудом, и самое большее, что страна разрешала этим маленьким выродкам в будущем сделать для себя – это отдать за нее жизнь.

В детском доме усиленного режима, в который помещались только неисправимые дети, Нюша была самой неисправимой из неисправимых. Не смотря на то, что ее непрерывно воспитывали и убеждали последовать примеру Павлика Морозова (портрет которого повесили над Нюшиной кроватью без сетки и простыни) и проклясть злейших врагов народа – родителей, Нюша упрямо повторяла:

Я ЛЮБЛЮ ПАПУ И МАМУ. Я ЛЮБЛЮ ПАПУ И МАМУ.

За это воспитательница заставляла Нюшу садиться на ведро, заменявшее горшок, в присутствии всех остальных детей, включая и мальчиков.

= А мне не стыдно! Не стыдно! – кричала маленькая Нюша, и шла писать и какать не как на публичную казнь или изощренную пытку, а с улыбкой и с высоко поднятой головкой – и в четыре года, и восемь, и в четырнадцать. То есть даже тогда, когда ее делать это уже никто не заставлял. За эту ее особенность Нюшу прозвали Королевой Говна – прозвище, оставшееся за ней на всю жизнь.

Еще Нюше, как и остальным детям Гулага, некоторые из которых пришли на ее похороны и охотно делились со мной своими воспоминаниями, запомнился главный воспитатель Иван Антонович, бывший по совместительству и директором. Он очень следил за гигиеной воспитанников, точнее воспитанниц, поэтому раз в неделю, по субботам, заставлял девочек раздеваться и лично внимательно осматривал все части их тела, чтобы убедиться что на них нет вшей. Однажды, когда Нюша подросла и стала что то понимать в жизни, она наотрез отказалась снимать трусики перед Иваном Антоновичем. Тогда Иван Антонович позвал двух других, уже частично перевоспитанных старших воспитанниц, которые насильно раздели и крепко держали рвавшуюся из их рук Нюшу, а сам надел очки, и, ткнув в то место на Нюшенем теле, которое она до того никому не позволяла трогать, толстым шершавым пальцем, отчего ей стало нестерпимо больно, сказал: “Можешь одеваться. Вшей у тебя пока нет. Ни внутри, ни снаружи.”

Еще запомнилась Нюше одна встреча, которая произошла вскоре после этого эпизода. Когда девочек строем вели мыться через двор, к Нюше подошла какая то, как показалось маленькой Нюше, очень высокая и необыкновенно красивая женщина в

полушубке и шапке-ушанке, от которой пахло (как Нюша, запомнившая этот запах, узнала через много лет) помадой и одеколоном, вывела ее из строя, присела к ней, маленькой, на снег, так что они стали как бы одного роста, и спросила:

Это ты, Нюша-Королева-Говна?

- Я сказала маленькая Нюша гордо. Я королева Говна. А ты, кто?
- А я Аня, принцесса Гавна. Не веришь? Зря. Вот уже много лет я не только живу в говне, но и хлебаю его полной чашей. Так что мы с тобой, милая, родственницы.
- Очень приятно – сказала маленькая Нюша.
- А скажи ка ты мне, сестренка: тебя ктонибудь обижает? - вдруг посерьезнев спросила принцесса Анна.
- Никто – сказала Нюша.
- А если честно?
- Никто - повторила Нюша твердо.
- Тебя никто здесь больше обижать не будет. Не будет! Не будет!! – сказала Принцесса Аня очень серьезно и, повторив троекратно свое не то обещание не то предсказание, смахнула, точнее сорвала со щеки слезинку, которая успела за те несколько секунд, которые отделяли ее от момента рождения в глазу, превратиться в льдинку.
- Ты добрая волшебница? – спросила Нюша.
- Да, я волшебница. – сказала принцесса. – А добрая или не добрая, не знаю. Не до того.

Тут она оглянулась, и, как будто увидев кого-то, торопливо поцеловала маленькую Нюшу в обе щеки, стала на ноги и почему то очень быстро ушла, почти убежала.

С тех пор, как мама ушла на лесоповал, никто еще не говорил с Нюшей так искренне и ласково одновременно. И она запомнила волшебницу Аню. И часто искала ее глазами, глядя в окно. И, увидев друг друга, они махали друг другу и слали воздушные поцелуи. И улыбались. И им обоим от этой бесконтактной любви в мире, где тела покрываются снегом, а слезы преращаются в лед, становилось теплее.

Вскоре после этого случая Антон Иванович исчез. Его долго искали с собаками, пока не нашли его труп, привязанный колючей проволокой к дереву, с то ли отрезанным, то ли откусанным, то ли оторванным органом, находившемся на его теле как раз на том самом месте, в которое он ткнул Нюшу пальцем. В детдом прислали нового директора, Афанасия Ивановича, который, в противоположность Антону Ивановичу, совсем не заботился о гигиене воспитанников, и даже воспитанниц, а больше думал о том, чтобы в помещениях было не очень холодно и чтобы хотя бы один раз в день детям была еда. Нюшу же вдруг, почему-то перестали обижать. То есть все и дружно, как по команде: и дети, и взрослые. Даже за косички не дергали, когда после смерти Сталина партия разрешила девочкам их отрастить. И прикасаться к ней как бы даже боялись, так что вокруг нее образовалось пространство, которое в другое время и в другом месте назвали бы аурой. И слова *Королева Говна* все стали произносить уважительно. Как титул.

А новый директор сказал Нюше по секрету, что Родители ее самые страшные враги народа, какие только бывают, потому что мама вела свою, как он выразился, *родословную* прямо от каких-то Гедеминовичей. А папа является дальним родственником главному врагу русского народа – царю в тридцать втором колене.

Поэтому Ньюша не должна знать фамилию, которую получила в наследство от папы, и обязана с гордостью носить новую, которую ей подарила Советская Власть.

Что такое родословная и кто такие Гедеминовичи маленькая Ньюша, да кажется и директор, не знали, но она поняла, что это что-то очень плохое и очень страшное, вроде змея Горыныча. И как у человека с кем бы то ни было, даже с осьминогом или сороконожкой, не говоря уже о царе, который хоть и враг советского народа, но все таки на картинках изображен с двумя ногами, может быть общее тридцать второе колено, и даже всего лишь третье, в ее головке тоже никак не укладывалось. Но странное дело: от того, что ее родители были жутко плохими, хуже чем баба яга из сказок, и такими ужасными, что и представить себе невозможно, отвратительнее Змея Горыныча, Ньюша не стала меньше любить их. Наоборот – она стала еще горделивей держать голову. И еще громче кричать: Я ЛЮБЛЮ ПАПУ И МАМУ. Утверждение, да еще произнесенное публично (если принять во внимание к чему были приговорены ее родители) в то время даже для ребенка было большим преступлением, а для взрослого гарантировало как минимум пятнадцать лет без права переписки.

Все вдруг как по волшебству изменилось. Все, и кажется даже включая и нового воспитателя, почему-то стали бояться маленькой Ньюши, безобиднейшего создания, которая за всю свою жизнь никого пальцем не тронула. Все почему то вдруг стали считать что ее кто то оберегает. И это, несомненно, было очень даже к лучшему. Вот только добрая волшебница Аня, которой Ньюша махала ручкой из окошка, куда то исчезла, и больше Ньюша ее никогда в жизни не видела. И исчезла она почти сразу после того, как нашли в тайге старательно изуродованное тело завхоза Антона Ивановича, столь рьяно заботившегося о Ньюшиной гигиене. Такое вот совпадение...

Потом я смутно помню, как кто-то передал мне ходящую вокруг стола поблекшую фотографию. Это была обычная фотография обыкновенной группы обыкновенного ПТУ, каких у нас тысячи и миллионы, на которой был изображен класс с мальчиками и девочками, стриженными наголо. В первом ряду сидели учителя в мундирах и без мундиров, с лицами, словно отштампованными сургучными печатями. А третьей слева во втором ряду стояла девочка с одухотворенным лицом мадонны, которая отличалась от остального класса и учителей, как береза от пня. В лице этой девочки было несомненное сходство с Ньюшей, ее теплый взгляд, ее божественные черты славянской красавицы, и только твердый не по годам подбородок и упрямо сжатые губки укалывали на то, что перед нами не ангел, которого занесло с небес на фотографию людей с лицами истуканов непонятно каким злым ветром.

Я все еще слушал кого-го, и кому-то кивал, когда заметил, что из комнаты выносят гроб. Оказалось, что за разговорами и выпивкой все забыли, что на кладбище тоже работают люди и потому к могиле надо успеть до его закрытия. Шкаф Леха откуда-то привез новые автобусы, Икарусы, по которым все дружно разбежались, а в один из них умудрились даже занести гроб, и картеж, возглавляемый катафалком с королевой Ньюшей тронулся. Провожающие в последний путь ни на минуту не переставали пить и поминать покойницу. Ньюше, кстати сказать, напоследок выпала большая честь: преставиться как раз перед Днем Советской Армии. Поэтому на улицах на все пути траурного картежа были развешены государственные флаги, а от здания напротив входа в кладбище имени Девятого Января, через дорогу наискосок, на веревках повесили громадный портрет Владимира Ильича Ульянова-Ленина с цветочком в петлице,

покручивающего в приветствии всем нам полусогнутой ладонью возле уха; под портретом красовалась подпись: ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ, казавшаяся особенно многообещающей, если учесть направление и конечную цель нашего движения вперед.

Подъехали к конторе. Выгрузили гроб. И тут возникла проблема. Оказывается, документы на похороны Нюши были оформлены на Северное кладбище, а привезли ее, как уже было отмечено, на кладбище имени дня Девятого Января, то есть на самый юно-восточную оконечность. Что делать? Начальства нет, могильщики без оформленной накладной хоронить боятся. Или делают вид что боятся.

- Нам, говорят – левые покойники не нужны, мы и правых то закапывать не успеваем.

А на Северное кладбище через весь город, да еще зимой и по гололеду, часа два чесать, не меньше, там к тому времени никого кроме ночных сторожей не останется.

Санька как назло, пьян в дупель, он бы конечно в момент разобрался, а без его команды шестерка Жора делать что либо кардинальное не рискнул (И это было очень по нашему: тут не то что какие-то пацаны, а вполне половозрелые помощники президента, когда он выпьет изи заснет в самолете, потревожить боляться. А он, ни как человек, ни как авторитет, Сане, разумеется не чета). А мороз между тем, скажу я вам, будьте-нате – под тридцать. С четверть часа каждый согревался, как мог и чем мог. Вдруг смотрю – и глазам не верю. Гроб с Нюшенькой заколачивают, обратно в катафалк под предводительством Жоры Шкафа несут, и весь картеж к воротам, над которыми Ильич с бантиком на ветру болтается, назад, к выходу едет.

- Вы куда, мужики? – кричу.

- Домой! – ответил Витька с подножки, утирая кулаком заплаканные глаза – Раз не судьба маму сегодня похоронить, значит, на один день дольше прощаться будем... Автобусы уехали, их скрежет постепенно затих вдаль, а я еще долго стоял один среди опустевшего кладбища и смотрел на Ильича. Который с транспаранта, то и дело помахивал мне рукой на холодном февральском ветру. Время от времени покручивая пальцем вокруг своего бессмертного уха и хитро улыбаясь.

Закончено Мая 27, года 2000. Ф.Т.